АНГАРА

А. ШАСТИН

В. ГУСЕНКОВ

М. БОРИСОВА

Е. ЖИЛКИНА

И. ЮШКОВ

Ю. САМСОНОВ



4
1965

АНГАРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

Орган Иркутского и Читинского отделений
Союза писателей РСФСР



№ 4 (69)

**октябрь
декабрь
1965**

СОДЕРЖАНИЕ

На вклейках репродукции с картин художника *И. Е. Юшкова* и фотографии *Б. В. Дмитриева.* Обложка *Б. В. Дмитриева* и *А. И. Аносова.*

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, Отделение Союза писателей РСФСР
Телефон 56—76

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1965

Анатолий МЕРКУЛОВ

СТАРИК И МОРЕ

Очерк

Старик готовился к выходу в море тщательно. Давно уж вот так не уходил он из дому надолго. Ему не было раньше в этом нужды, а теперь она пришла и заставила снова идти в море. Тем, что он опять становится рыбаком, старик опечален не был. Это даже как-то бодрит его. Он с наслаждением втягивает ноздрями аромат Байкала и уверен, что каждый, кто почерпнет в ладони воды и понюхает, непременно почувствует тонкий запах фиалки и необыкновенной свежести.

А вот дух у старика упал. Об этом красноречиво говорят его сурово сдвинутые брови на продубленном морским ветром и шероховатом от мелких морщин лице. Чуть выцветшие синие глубоко посаженные глаза его погрустнели, и в уголках рта, где всегда таилась насмешливо-добродушная улыбка, появились глубокие скорбные складки.

Лодка, в которой старик вышел в море, большая. На средней банке он, при нужде, мог вытянуться во весь рост, а когда надо было зачерпнуть воды, делал это всегда на корме: нос слишком высоко задирался кверху. На такой посудине не страшен шторм, и когда в середине дня на глянцевой, словно отутюженной поверхности моря появились морщины, старик не заторопился, как другие, к берегу. Потом ветер будто гигантской щеткой размашисто прошелся раз-другой по этим морщинам, углубил их, и в воздухе запахло пылью, которую принес он с собою с гор.

Пятнадцатилетний Анатолий и тринадцатилетний Валерий привыкают к морю. Анатолий тоже, как дед, поглядывает, сощурив темные миндалевидные глаза, то на море, то на высокие горы Прибайкальского хребта, словно сахарные головы, торчащие прямо из воды.

Анатолий давно заметил небольшую лодчонку, в которой два парня копаются в моторе, а когда приблизились к ней, сказал:

— У них что-то случилось, дедушка.

— Сам вижу, — ответил старик. — Что там у вас? — громко крикнул он.

Парень лет двадцати трех устало разогнул спину и, опершись рукой о мотор, крикнул в ответ:

— Начисто винт обломали о камни! Возьмите нас на буксир! — и замахал руками, подзывая к себе.

Старик подошел к ним почти вплотную. Сбавив обороты мотора, внимательно оглядел лодку и камень, на который она выскочила сходу.

— Не стащу я вас, — покачал старик головой. — Ждите. Схожу в Бугульдейку, возьму свой большой мотор и вернусь.

— Но ведь шторм может разыграться, — сказал мужчина постарше, прилаживая весла.

— Ничего, — сказал старик, — успеем.

И не оглянулся больше. Зачем? Ведь сколько не рассказывай, что вернешься часа через три, быстрее лодка от этого не пойдет. Да и подумывают они, наверное, что старик не вернется. «Ну и пусть, — мысленно говорит себе он. — Только зря это они. Разве я их брошу?»

А Бугульдейки все еще не видно. Наверное, километров двадцать до нее. Там, на стане, лежит большой мотор. Вчера он капризничал и сегодня старик его нарочно не взял с собою в море. А зря. Если бы лежал он вот тут, в лодке, старик дорого бы за это дал.

Сам старик из поселка Лиственичное. Поселок притулился на узкой кромке берега там, где, разрезая Прибайкальский хребет, мчится

из Байкала к Енисею Ангара. Вдоль поселка, у самой воды, идет асфальтированное шоссе. Каждый год его укрепляют, отсыпают в воду вдоль кромки берега каменные глыбы, а Байкал во время штормов снова отвоевывает у человека прежние рубежи. И так из года в год жители Лиственичного воюют с морем. Живут в этом поселке судостроители, да рыбаки-поморы, постоянный в своей любви к сине-зеленому морю народ. В третьем от края большом шатровом доме живет старик Носков.

Байкальские поморы ширококостны, немногословны, но настойчивы и неустрашимы в деле. За внешней суровостью у них скрыта широкая, отзывчивая и щедрая, как Байкал-море, душа. Лет восемь назад старик подсел на попутную машину — добирался от рыбоучастка домой — да и попал в аварию. Ребра ему поломало, позвоночник. Думали, не вытянет. Но вылечили старика.

И снова без моря старик жить не может. Что бы он стал делать, если бы вдруг куда-то пропал Байкал? Старик усмехнулся своим мыслям и сказал сам себе: «Тогда, пожалуй, не надо бы мне было и за мотором спешить. А Шурка—Шурка, наверное, дома бы сидел». И нехорошо как-то у него на душе стало от этих мыслей.

Сын Шурка был весь в отца: кряжист, могуч, длиннорук. Один сын — одна радость. Лицом Шурка в мать: широкоскулый, с лучистыми карими глазами, а костью и силой — в отца. Возьмет, бывало, весло от баркаса и точно тростинкой играет. А весло подлиннее, да и потолще доброй оглобли будет. И характером Шурка в отца: норовист, неуемен в делах и все, за что бы он ни взялся, получается у него ладно и быстро.

Что ухваткой Шурка пошел в отца, это уж точно, и кое-кто не без зависти говорил: «Шурке что не починить мотор — инженер». Инженер не инженер, а после техникума не один год проработал мастером на машиностроительном заводе. Да только рыбацкая душа не вынесла городской жизни и бросил Шурка свой завод, подался опять на Байкал, к отцу.

Старик был и рад и горд. Как-никак, а все-таки приятно, если дело твое продолжает сын. Шурка и Байкал были главными для старика привязанностями в жизни. Там, за этими привязанностями, находились все остальные люди. Много лет так думал, а вот случилось большое горе — и только на людях, даже среди чужих, ему бывает легче.

Больше полвека проплавал старик, побывал и в летних, и в осенних злых штормах. А сколько он выловил за свою жизнь рыбы — трудно и подсчитать. Повадки рыб старик знает лучше, чем собственные, и не помнят на Байкале случая, чтобы кто-то «обловил» Носкова. О своем знании моря говорит всегда сдержанно, словно само собою разумеется, и считает обычным делом в сентябре, когда уже начинаются осенние шторма, уйти до самого ледостава в заливах на своей небольшой лодчонке куда-нибудь в Заворотную или Онгурены, за пятьсот километров от дома, и рыбачить там до конца ноября.

Несколько лет назад старик уходил на пенсию. Целыми днями возился он по дому, на огороде, но море все равно тянуло к себе, и по ночам, под утро, стали сниться лодки, доверху наполненные серебристым омулем. Идут эти лодки по гребням волн, как утки.

— Рыбу видеть во сне худо, — говорила жена. — К болезни.

— Будет тебе, старая, — отмахивался Федор Иванович. — По-твоему верблюдов надо мне во сне видеть? Нужны они. Рыбак я, думаю о рыбе, потому и снится.

А Шурка ходил тогда в море с товарищами без отца. Возвращаясь с удачной рыбалки, он приносил самого крупного сига или тайменя, бутылку водки, и мать быстро жарила им рыбу на большой чугунной сковороде.

Отец и сын садились в прихожей рядом на деревянный диван, пододвигали его к темно-коричневому крашеному столу, наливали по стопке и не торопясь вспоминали рыбацкие были. Старик внимательно слушал сына, а когда тот заканчивал первый рассказ, спрашивал:

— Часом, больше твоего звена никто не поймал?

— Нет, — с достоинством отвечал Шурка.

— Нашу родову море любит! — гордо произносил старик, не торопясь наполнял стопки.

А теперь нет Шурки. Жизнь будто взамен оставила вот этих темноголовых хлопцев, сидящих против него на банке. Это из-за них, как хочет себя уверить старик, он опять взялся рыбачить. Анатолий-то как вымахал! Скоро настоящий парень будет. И хочется ему, старику, чтобы они не хуже других обуты и одеты были и ничего чтобы не напоминало им о гибели отца. К чему? Детство есть детство, оно бывает раз в жизни и очень обидно, если его, по сути, не окажется у внуков.

«А у тех ребят, что остались на камне в море, тоже, наверное, дети есть?» — вдруг подумалось старику. Он непроизвольно качнулся вперед, точно хотел помочь своим телом лодке быстрее идти к стану.

Волнуются, наверное, там сейчас парни. А как же? Сам-то старик не боится моря, хотя

за свою долгую жизнь так и не научился плавать. Когда напоминают ему об этом, он сердито отмахивается. В Байкале даже в летнюю пору вода так холодна, что и умеющий плавать долго в ней не протерпит. Уж лучше иметь добрую лодку и мотор, чем числиться чемпионом по плаванию.

И опять с назойливой настойчивостью вспомнилось, как последний раз прошлой осенью уходил Шурка в море. Зашел он в дом и еще с порога заговорил:

— Хариус, говорят, за Бугульдейкой хорошо идет. Да и по времени уж пора...

— Погода стоит теплая. Иди, — разрешил старик.

И ушел Шурка в море, а с ним еще трое молодых крепких парней.

Недели через три вечером кто-то сильно постучал в калитку. Но старик не слышал, потому что Байкал с грохотом бросал на асфальтированное шоссе, под окнами, косматые гривы прибойных валов. Только когда уж надрывным хриплым лаем залилась собака на крыльце, старик услышал.

— Никак стучится кто-то... — Накинув на плечи ватник, широко распахнул из сеней дверь наружу и громко крикнул в темноту:

— Кто?

— Нефедьев, Федор Иванович.

Старик подошел к калитке, отодвинул засов и пропустил гостя вперед.

— Добрый вечер, — сказал тот, стирая с лица ледяные брызги.

— Какой черт добрый, — хмуро бросил старик. — Вон как разгулялось море. Заходи. А где Шурка-то?

Нефедьев вздохнул и переступил порог.

— Поговорить зашел я, Федор Иванович, — сказал он, снимая шапку.

— Ну? — равнодушно бросил старик. — Садись, говори.

Нефедьев помял в руках шапку и сказал:

— Шурка с Гошкой Вещевым пропали...

— Как так — пропали? — нахмурил брови старик. — Ты мне тут не темни, Борька.

Нефедьев вздохнул и потупился.

— Две недели назад Шурка и Гошка повезли рыбу сдавать. И все...

— Что все? — стрельнул косым взглядом старик.

— Утонули стало быть, не вернулись раз...

— Не могли утонуть! — покачал он головой. — Лодку я сам делал, а в моторах Шурка лучше моего смыслит.

— Они обещали, Федор Иванович, вернуться через день, а мы их двенадцать ждали.

— А какого черта ждали?! — рассвирепел старик. — Почему раньше не сообщили? Почему на розыски не пошли? — Он зажал в горсть подбородок и остановился в раздумье посреди комнаты.

«Как это так — пропали? Куда?» — размышлял он. А вслух сказал:

— Что еще тебе известно?

— Вот, собственно, и все... — нерешительно ответил Нефедьев и стал собираться.

Старик не удерживал гостя. Молчаньем ответил на его прощанье и тщательно, как всегда, закрыл на засов калитку. Когда снова вернулся в дом, жена сидела в прихожей за столом и, уронив голову на руки, тихо плакала.

— Молчи, старая, не может море запросто, так вот, ни за что, ни про что...

А за окнами грохотал Байкал. С оглушительным шипением, будто гигантские змеи, наползали на берег волны и после каждого удара их о ряжи, которыми укрепляют от размыва дорогу, в окнах звякали стекла, и жалобно поскрипывал, видимо плохо притянутый крючком, ставень.

— Молчи, Клаша, молчи, — и непривычной к ласке мозолистой, твердой, как доска, ладонью погладил жену по спине. — Чего прежде времени убиваться... Не плачь.

Жена вытерла изнанкой передника глаза и встала.

— Может, и правда зря... А болит у меня, Федя, сердце, чует... Погода... Видишь какая... Так за сердце и берет.

А Байкал ревел, отвоевывая опять у людей ту узенькую полоску земли, которую они так тщательно укрепляли все лето. Море смывало труд людей, будто недовольное тем, что они мешали ему окончательно расправиться не только с шоссе, но и со всем поселком.

Чуть не всю ночь не спал тогда старик, слушая могучий рев Байкала. И чуть не всю ночь, боясь пошевельнуться, чтобы жена не догадалась, что он не спит, все думал и думал о море, о себе, о сыне. И только под утро, на рассвете, когда шторм начал немного стихать, старик забылся коротким и тревожным сном.

Всю зиму потом искал он сына. Поднял на ноги и милицию, и прокуратуру, но все оказалось напрасным — Шурка и Гошка как в воду канули. А может и правда? Но нет, в это старик не хочет верить даже сейчас, когда прошло уже так много времени.

Ветер, почти незаметно, все крепчал и крепчал. И когда из-за поворота показалась Бугульдейка, старик на время забыл обо всем. Сейчас его беспокоило только одно: не подвел бы в море большой мотор. Вдруг заглохнет во время шторма?

Как только лодка ткнулась носом в берег, старик почти бегом принес мотор и за несколько минут поменял его местами с маленьким. С первого же рывка мотор легко завелся и заработал ровно, мощно, будто никогда и не капризничал.

На западе солнце задернулось хмарью. Попутный ветерок торопил лодку и старик чувствовал, что она идет чуть не вдвое быстрее. Но как ни ходко шел он к оставленной в море лодке, а солнце катилось еще быстрее.

Далеко заметил старик лодку и обрадовался: торчат из нее две головы, значит живы. А когда подошел вплотную, увидел, какой радостью светились у парней глаза. Но старик и виду не подал, что заметил их волнение. Как будто ничего не случилось, он чуть суховато бросал короткие фразы:

— Цепляй буксир!

Но мотор не потянул сразу. Лодка сидела крепко.

— Толкайтесь веслами! — снова крикнул он.

И лодка стронулась: медленно, сантиметр за сантиметром сползла она с банки и, наконец, закачалась спокойно на воде.

— Ура-а!!! — закричал Анатолий.

— Цыц! — прикрикнул на внука старик. — Вот увидишь дома бабку, тогда и ори на радостях.

Старик взялся покрепче правой рукой за руль, а левой оперся сзади о борт лодки и словно замер, он понимал, что приключение еще не окончилось: до стана около двух часов ходу, встречный ветер заметно начинает крепчать. Кто знает, какую волну нагонит он сегодня?

Старик смотрел вперед внимательно, но уши слышали только ровную и монотонную песнь мотора. Сейчас все его желания и думы как-то стушевались, погасли, и слышать непрерывно бодрую песнь мотора — единственное желание. Откажи он, перестань петь, и разыгравшийся шторм может оказаться последним в их жизни. Но мотор работал очень хорошо, будто понимал, чего хочет от него хозяин, и старик опять начал вспоминать прошлое.

Он сам не боится смерти. За свою длинную жизнь много повидал и, пожалуй, все сделал, что положено человеку на земле. Разве только вот вместо отца внуков воспитать еще не успел. А это надо сделать непременно. Но там, за его спиной, в лодке, парни сидят молодые, куда моложе, чем его Шурка. Они не выполнили еще миссии человека и старику жалко их, а не себя. Отчего это так? Ведь раньше, когда Шурка живой был, он не так участливо переживал чужое горе. И люди так не нужны ему были, как сейчас.

Первые брызги влетели в лодку, когда солнце будто нырнуло в седловину далеких гор, где-то возле Лиственичного. И старик опять вспомнил о моторе. Выдержит ли? И вдруг большая и крутая волна подкатилась под лодку, окатила с головы до ног внуков, подкинула высоко корму и на секунду освободившийся от нагрузки винт заставил запеть мотор на высокой ноте. Пришлось сбавить ход. Старик вытер рукавом мокрое лицо и сказал старшему внуку:

— Возьми черпак.

«Ничего, — подумал он. — Какие же они будут у меня поморы, если ни разу шторма в море не повидают». Это успокоило его и всю дорогу до поворота он зорко, до боли в глазах, вглядывался вперед, ожидая большую девятую волну. И когда замечал ее, сбрасывал газ. Потеряв ход, лодка легко взбиралась на вздыбленную гриву волны, а потом опять упрямо шла вперед по темным ухабам моря.

До стана добрались, когда на небе уже высыпали звезды.

* * *

На Южно-Байкальском рыбозаводе место Александра Носкова занял его старик отец. И как прежде, в молодости, опять он лучший на Байкале рыбак, знающий и до самозабвенья любящий свою нелегкую профессию.

После ноябрьских праздников вручили старику почетную грамоту за отличные показатели по выполнению обязательств. И рад он был и горд. А как же? На участке все рыбаки куда моложе его, а он, старик, все-таки больше любого из них выловил. Любит старик потягаться в ловкости, умении, сообразительности. Внукам же достался от этой радости новый ходкий велосипед.

— Только учитесь у меня как следует, — наставляет он их.

Опять уходит старик в осеннее штормовое море.

— Осторожней, — говорит на прощанье жена.

— Ничего ты, старая, не понимаешь. Море нашу родову любит. — Старик смаху надвинул обеими руками чуть не на самые глаза шапку. — Ну, я пошел. Бывайте тут...

Он взвалил на плечо мотор и спокойно, точно порожнем, спустился с ряжей по мосткам к воде. Быстро разместил поклажу, оттолкнул от берега лодку, рванул сыромятным ремешком маховичок, и ровная песнь мотора поплыла над водой.

Старик опять уходил в море.

А. ГУРУЛЕВ

ЗИМА В ТУТУРЕ

Лирический дневник

ПРОЛОГ

Под утро похолодало. Над дальним хребтом, растолкав облака крутыми боками, повисла яркая луна. Деревья отбросили на голубой снег четкие, словно вырезанные из плотной бумаги, тени.

Под утро молодая рысь выследила косулю. Неслышная на свежем снегу, пятнистая кошка прыгнула косуле на спину, и та, сделав несколько прыжков, упала.

Рысь прислушалась. В лесу спокойно. Только изредка упадет ком снега да в вершинах деревьев прошумит ветер. Рысь успокоилась: улеглась на широкой спине шерсть, прошел азарт охоты, и только кисточки ушей еще вздрагивали.

Соболь тоже охотился. Но его удача шла сегодня другими тропами. Рябчики — и те куда-то попрятались. Он бежал большими прыжками и словно скользил над снегом. Около вывернутых из земли корней большого дерева остановился. Черный нос рассказывал ему обо всем, что находится впереди.

Когда рысь вернулась к месту своего раннего завтрака, около недоеденной козы застала вора. Она считала себя хозяйкой долины. Кто мог противостоять ей? Разве только волки, что по первому снегу прибегают сюда от дальних деревень?

И соболю в этот день вообще не повезло. В короткой, но отчаянной драке, где ставкой была жизнь, он проиграл. Проиграл в драке без правил, но по закону, по закону тайги, по которому проигрывает слабый.

Но и рыси сегодня не повезло. Оглушительно разорвалась тишина, горячая боль рванула шею, и закружился лес, и померк свет.

Поземка, не спеша, заметала красный цветок на снегу да широкий лыжный след...

— Так что и ночью тайга живет, — не спит, — говорит Артемьич.

Мы сидим в таежном зимовье около жаркой железной печки и смотрим в открытую дверь на голубую ночь. Артемьич, не спеша, затягивается тоненькой самокруткой, щеки его западают, и тогда в неясном свете лампы кажется, что ему много-много лет.

За дверью, под темными деревьями, лежат олени. Ближе, под навесами из лапника, — собаки. Изредка они поднимают заиндевелые морды, слушают ночь и снова прячут нос где-то под лапой.

Вот она, настоящая тайга.

ДОРОГА

Честно говоря, в Верхнюю Тутуру я собирался поехать несколько лет подряд. Но как-то все не получалось. То этому мешала редакционная текучка, то чисто «технические» причины. Летом считалось нельзя — Тутура отгорожена болотами. Не то что на машине — на телеге не проедешь. В октябре — незачем. Все охотники — молодые и старые, председатель колхоза и бухгалтер, заведующий клубом и председатель сельского Совета — в тайге. В конце зимы — снежные заносы и машины снова не ходят.

Сейчас я могу сказать, что все это правда: и болота, и заносы. Но есть и еще одна истина, которую я не знал: в Тутуру можно проехать всегда, и зимой и летом. На лошади. Верхом. Ведь приходит же в поселок почта. Регулярно два раза в неделю. И в весеннюю распутицу, и в зимние заносы.

До Качуга добрался на комфортабельном автобусе. Дальше нужна попутная машина.

В местной редакции решили помочь добраться до Ацикака.

Коля Винокуров, заместитель редактора, поднимает белую телефонную трубку:

— Ал-ло! Милиция! Говорит Винокуров. Здравствуйте. У вас ничего в Ацикаке не случилось? Не подрались, не убили? Жаль, жаль... Значит, вы туда сегодня не поедете? Что? В Ацикак уехать надо...

— Ал-ло! Скорая помощь? Здравствуйте. У вас в Ацикаке все здоровы? Вот не везет!

Коля звонит на санэпидстанцию, в райком и, наконец, находит попутчиков.

— На складах райпотребсоюза грузится машина, — говорит он. — Через час должна отправиться. Поспеши. Там найдешь Черкасова. Фамилию не забудь. Такой киноактер есть — Черкасов. Запомни.

Дорога от Качуга до Ацикака не заслуживает внимания. Впечатление она оставляет в зависимости от вида транспорта. У меня остались в памяти два часа холодного ветра — ехал наверху, на ящиках и, чтобы не свалиться, держался за веревки.

В Ацикаке расположено самое дальнее отделение совхоза «Ангарский». Здесь есть довольно приличный магазин, почта. На почту-то мне и нужно. Я уже знаю, что сюда два раза в неделю приезжает почтальон из Верхней Тутуры. У него есть лошадь, сани. Думаю, от попутчика он так легко не отделается.

Местное начальство помогает устроиться на ночлег.

Хозяйка дома сухая, морщинистая старуха. Она недоброжелательно смотрит из-под темного платка. Чувствую, что пришел не ко времени. Бабка разглядывает мои фотоаппараты, и внезапно сообщает:

— У нас тут тоже один... Прошлым летом. Фотографировал, фотографировал... Теперь посадили. Сидит.

— Как посадили?

— А приехала милиция и забрали... Как посадили... Взяли и увезли.

Ночевать в этом доме не хочется, и я ушел в контору. Там есть деревянный диванчик и много стульев. Когда уже устраивался спать, в контору зашел какой-то дядька, поздоровался и взял лежащий в углу козий тулуп.

Я знаю, что утром в контору придет бабка — она здесь работает, кажется, уборщицей — и, сам того не ожидая, говорю:

— Слушай, мил человек, сходи в соседний дом, к бабке, которая контору топит, скажи, что тулуп берешь.

— Да это же мой тулуп, — удивляется дядька. — Я его сам сюда положил.

Но я все-таки настаиваю.

— Сходите. Ну что стоит, — канючу я.

Дядька удивляется еще больше.

— Да зачем я пойду? Скажи, заезжал гуртоправ и взял тулуп. Мне еще в соседнюю деревню ехать надо.

Чувствую себя неспокойно. Придет бабка, а тулупа нет. Хорошенькое дело.

Засыпаю с мыслью, что завтра нужно пойти в Зусай. Через Зусай иногда ходят машины на Верхнюю Тутуру. Да и почтальон поедет — Зусай никак не минует.

ВСТРЕЧА

Утром от крыльца конторы мне показывают дорогу.

— Во-он, видишь, поленница. Так вот, чуть левее бери, и там будет дорожка.

— Ночью снег шел, найду ли дорогу? — сомневаюсь я вслух.

— Найдешь. Она же угадывается под снегом. А когда на пашню выйдешь, тогда смотри. За пашней просека. Туда и иди. А чуть чего, шагай напрямую. На хребет поднимешься, спустишься. Вот тебе и Зусай. Близко же тут.

Увидев торчащие из рюкзака стволы ружья, советуют.

— Собери ружье. Может, рябчика встретишь.

Тропа уводит в лес. Лиственницы, сосны, ели. Всюду — первобытно белый, чуть подсиненный тенями, снег. Он лениво лежит на широких еловых лапах и готов в любую минуту обрушиться вниз; снег укрыл гниющий на земле колодник и сделал его даже немного таинственным. Колодник теперь лишь угадывается под белизной.

Снег, солнце и тишина. Слышно собственное дыхание и как стучит коготочками по коре дерева маленькая птичка поползень.

Все городские заботы и волнения отсюда, из сверкающего зимнего леса, кажутся мелкими, незначительными, недостойными человека, как тараканий скандал на ночном столе.

Но вот в тишине родились какие-то стрекочущие звуки. Остановился, прислушался — ничего не слышно. Пошел — и опять легкое стрекотание. И только тут увидел на снегу,

под деревьями, двух черных белок. Легкими прыжками, вытянув пушистые хвосты, они взлетели на вершину большой лиственницы. В душе властно послышался голос, чуть приглушенный веками, голос древнего охотника. Под лиственницей началась борьба. Борьба между древним человеком и человеком двадцатого века. Борьба была короткой и неравной. Победил древний человек. Он просто оказался крепче. И пока наш современник кричал: «Посмотри, как здесь красиво; и не стыдно тебе лишать чудесного зверька жизни, — древний оттолкнул своего потомка и выстрелил.

— Посмотри, — сказал моралист, и поднял белку. — У меня от жалости трясутся руки. Ты убил гармонию.

— Не от жалости. Ты просто неврастеник. Я подстрелю тебе вторую белку, и ты успокоишься. Убить гармонию я не мог: я сам и мои поступки — гармония.

— Имел ли ты право?..

— Помолчи со своими жалкими увертками. Я никогда не убью большего, чем нужно для моей жизни. Ты же можешь убить от жадности. Или, что еще хуже, просто так.

— Наша мораль...

— Подожди. Я еще не все сказал. Что стоят твои слезы над белкой, если у вас в мире есть бомба, которой один человек, слабый духом и хилый, может убить многие тысячи. Людей!

— Я не хочу об этом думать.

— Конечно, тебе так легче жить».

НА ПОРОГЕ

...Короткая дорога в Зусай оказалась довольно утомительной. На крутом подъеме я расстался с мыслью: «А не махнуть ли в Тутуру пешком?» На подходе к деревне она появилась снова, но лишь как яркий образчик чрезмерной самоуверенности.

Деревня Зусай — это четыре дома, четыре семьи охотников. И тайга. Хоженая, да не меренная. Она, не стесняясь, подошла к самым избам, прислушивается, приглядывается. Хотя и приглядываться не к чему. Вся жизнь на виду.

Около добротного дома стоит запряженная в розвальни лошадь. Как на картинах старых художников. Один мой добрый знакомый, живущий в городе, очень тоскует вот о таких санях, белом снеге и лесной дороге. Вот бы ему оказаться здесь!

Недалеко от дома небольшая речка в зарослях тальника. От нее, чуть покачиваясь от тяжести полных ведер, идет женщина. Здороваемся.

— Можно у вас попутчика на Тутуру подождать?

— Отчего нельзя? В дом заходи.

Так я попал в дом охотника Ивана Антоновича Гордоева. А через полчаса уже сидел за широким столом с родственниками охотника, приехавшими из соседней деревни за мясом.

— Это не знаешь, какое сало? — спрашивает одна, рослая, и, несмотря на пожилой возраст, со здоровым румянцем во всю щеку. — Свинья у нас тут по тайге бегает. Медведь называется. Вот такое сало имеет. — И смеется.

А потом без всякого перехода продолжает.

— У нас тут три языка: русский, бурятский и эвенкский. Иван Антонович бурят, а она, — и указывает на хозяйку, — эвенка из Тутуры.

Вскоре гости уехали. Хозяйка дома, Тамара Поликарповна, смотрит в окно.

— Что-то долго Ивана нет. Сказал, скоро приду, а нет.

— А куда он ушел? — спрашиваю я и вспоминаю, что ходить-то здесь, кроме как в тайгу, — некуда.

— Да берлогу тут нашли. Там Иван нож в снегу потерял.

— Убили медведя?

— Конечно, убили. Медведицу и двух молодых. А сейчас, он говорит, время есть, пойду нож поищу. Часа два как ушел.

— Далеко, видно, идти?

— Какое там! Полтора километра.

Пятилетний сынишка Гордоевых сидит на лавке и сосредоточенно, подражая взрослым, точит большой складень.

— Ну как, острый? — спрашивает он.

— Острый.

— Тогда давай белку обдерем.

Я вспоминаю, что на рюкзаке лежит убитая по дороге белка, и соглашаюсь.

Володька — так он назвался — довольно ловко обрезает беличьи лапки и бросает их кошке. Та, хищно урча, съедает одну, другую и, недоверчиво оглянувшись, убегает с остальными под стол.

— Держи, — командует Володька и стягивает шкурку.

— Правильно делаем? — спрашиваю я у Тамары Поликарповны.

— Правильно, правильно. Он знает, — и кивает на сына.

Правда, финал был не столь удачен, как начало. Я где-то неосторожно потянул и оборвал пушистый беличий хвост.

— Э-э! — возмущается Володька. — Не так надо было.

Женщина выглянула за дверь.

— Собаки прибежали. Хозяин где-то близко идет.

На крыльце послышался скрип и в избу шагнул худощавый и немолодой человек. Протянул крепкую сухую ладонь.

— Гордоев.

Он в серых, шинельного сукна брюках и такой же куртке. На ногах что-то вроде ичигов.

Потом мы сидим за столом и разговариваем. Он спрашивает, кто я и откуда иду, что теперь делается в мире, и высказывает предположение, что скоро наши полетят на Луну и там высадятся.

Я, в свою очередь, стараюсь направить разговор на охоту, расспрашиваю о его трофеях.

Иван Антонович вспоминает бои в Сталинграде, где его ранило, говорит о пенсии, которую платит ему государство, и потом только приступает к охотничьей теме.

— Парень тут один, из Ацикака, след увидел и мне сказал. Два дня медведя следить ходил. Берлогу он в чаще сделал еще по теплу. И шлялся где-то. А когда снег выпал, он и пришел. Мы к берлоге метров на пятьдесят подошли. С нами собаки были. Учуяли и давай лаять. Медведь близко к берлоге не подпустил. Выскочил — и на дыбы. Потом, когда его разделывали, я смотрел, куда пуля вошла. Она в грудь попала и позвоночник задела. А вообще-то еще четыре раза стреляли... Пойдем, шкуру посмотрим.

Шкура лежит в старой полуразрушенной бане. Через дыру в потолке забивает снег, и здесь так же холодно, как и на дворе. Шкура смерзлась и разогнуть ее нет никакой возможности. Но и без того видно, какому могучему зверю она принадлежала. Медведь, видимо, крепко подготовился к долгой зиме, вырастил густой и теплый мех. Сейчас, припорошенный снегом, он кажется довольно красивым.

— Большой медведь был, — подтверждает и Иван Антонович. — Пойдем, голову посмотрим.

В бревенчатом и, на этот раз, добротном сарае — охотничье снаряжение. Висят капканы, рыболовные сети, связки беличьих шкурок, несколько ружей. В углу — темно-красная, с белыми прожилками, гора мяса.

— Вот она, голова.

И мертвая голова зверя страшна. Оскал крепких зубов, белые лезвия клыков. Обладатель таких клыков, огромной шкуры и могучих когтей где-нибудь среди таежного бурелома выглядит довольно внушительно.

В гостеприимном доме охотника пробыл я до следующего дня. На утро через Зусай проходила машина — везла муку в Тутуру — и в кабине нашлось свободное место.

— Везет тебе,—говорит на прощанье Иван Антонович. — Часа через три, ну, самое большее — через четыре, будешь в Тутуре.

— Так сколько же до нее километров?

— Сорок наберется. В общем так.

Подумалось: «Ошибается охотник. Сорок километров — за четыре часа. Быть не может».

Но уже первые пять километров доказали, что все может быть. Чтобы не рассыпаться от чрезмерных перегрузок, машина медленно ползет через замерзшие болота, спотыкаясь о корни деревьев на лесных участках.

ТУТУРА

Несколько десятков изб. Желтеют здания школы-интерната, клуба, почты. Над каждой трубой дрожит пепельный дымок. Около некоторых домов — острые чумы. Отдельно от поселка, на взгорке — больница. На широкой улице много ребятишек и собак.

Мне повезло, я приехал в те дни, когда большинство охотников выходило из тайги.

— Сейчас в конторе пушнину сдают, — сообщают ребятишки.

В колхозной конторе — маленьком бревенчатом доме — многолюдно. Сюда приходят с белками и соболями и просто так, покурить, посмотреть на удачу соседа. Охотники сидят на лавках вдоль стен, примостились на корточках около гудящей железной печки, грудятся около стола.

За широким столом — черноволосый моложавый мужчина.

— Жданов, Василий Сафонович, — называет он себя. — Заведующий участком Ленского коопромхоза.

На стол Василия бросают белок, соболей. Белки с пышными пепельными и красными хвостами. Приемщик быстро разбирает пушнину по сортам.

Помогает Василию пожилая женщина, бывшая охотница Анна Ильинична Сокольникова. Она сидит у окна, поближе к свету, связывает белок в пачки. Она в пиджаке спортивного покроя, в цветной шелковой косынке, в расшитых унтах.

Впоследствии, разговаривая с этой доброй шестидесятипятилетней женщиной, невольно вспоминаю прочитанное об эвенках — тунгусах. В памяти всплыли «Тунгусские рассказы» Исаака Гольдберга, страшные в своей реа-

листичности; рассказы Вячеслава Шишкова. Всплыли, как укор прошлому.

Я расскажу об Анне Ильиничне, вернее, о ее детях. Одна дочь работает в Иркутске бухгалтером, другая — учительница, закончила Ленинградский институт. Самая младшая дочь—тоже учится в Ленинграде, в институте.

— Писем только вот уже вторую неделю нет, — вздыхает мать. — У Клавы ведь в этом году распределение. Куда ее пошлют? Ой, как хотелось бы, чтобы она сюда приехала.

Дочь Екатерина — продолжает семейную традицию: оленевод, охотница.

Сыновья — Прокопий и Иннокентий — живут здесь, в Тутуре. Люди грамотные, уважаемые.

В нынешнем году хорошо промышляли охотники Верхней Тутуры. План по соболям— десять зверьков на охотника — большинство перевыполнило. Самый удачливый — Илья Северьянович Чертовских — добыл пятьдесят шесть соболей. Познакомился я с ним здесь же, в конторе. Илья Северьянович ростом невысок, худощав. Ходит легко. Вслед ему посмотришь — парень молодой. Да и скуластое лицо моложаво. Но Северьяныч уже пятый десяток разменял.

К соболям у него отношение своеобразное.

— Не понимаю, за что этот зверек ценится? Что в нем толку? Красивый? Так белка красивее.

Но Северьяныч, кажется, немного хитрит: в его глазах веселые огоньки.

Мне прежде не приходилось бывать в эвенкийских семьях, и я перешагнул порог избы Чертовских с тайной надеждой на встречу с экзотикой. Но первые же минуты разочаровали. Даже мебель такая же, как во многих домах рабочих поселков и пригородных деревень: большой шифоньер, швейная машина, комод, радиоприемник. Белые занавески на окнах. Сынишка Ильи, трехлетний Сашка, поет:

Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.

— Сашка, — прошу я его после нескольких часов знакомства, — спой что-нибудь другое.

— А я еще не знаю. Вон Тинка пусть, она в школу ходит.

Семья Чертовских переехала сюда с Киренги.

— Мы в Муринье жили, — рассказывает жена Ильи. — Народу там мало, скучно. А здесь школа. Ребятишек из дому учить можно. Клуб есть...

Каждый день хожу в контору. Сейчас это самое оживленное место. Василий Жданов работает с рассвета до сумерек.

— Пушнины нынче много. Особенно соболей, — радуется Василий. — Боюсь даже, что у меня денег не хватит, — кивает он на чемоданчик.

Чемоданчик с пачками денег лежит без особого присмотра, открытый. Кругом груды белок, соболя. Но еще никогда ничего не терялось. Честность здесь — непременное качество человека.

Принимая соболей, Василий серьезнеет. Дело ответственное. Поворачивается к свету, дует на ость, встряхивает шкурку.

Около стола — охотник Сергей Житов. Сейчас он принес шесть соболей. Василий быстро принял их, на последнем задержался.

— Хорош. Черненький.

Дунул на мех. Серебристые искры.

— Оценим в семьдесят пять рублей. Как?

— Вроде бы так...

— Учти, расценка предварительная. Там, на месте, посмотрят, может выше оценят.

И у меня уже появился некоторый опыт пушника. Я знаю, что темный, только что принятый соболь, Баргузинского кряжа, дорогой. Вот эти светлые, Енисейского кряжа. Белка первого сорта должна иметь белую мездру и пулевую пробоину в шее или голове.

Верхняя Тутура — поселок небольшой. Народ приветливый, знакомлюсь с людьми быстро. Уже знаю моложавого председателя колхоза Тимофея Тюрюмина, оленеводов Монастыревых, сына Анны Сокольниковой — Прокопия. Прокопий бухгалтерит. Да и охотник он замечательный. Нынче восемнадцать соболей добыл.

Встречался со старшиной местных охотников Иннокентием Петровичем Корнаковым. Сейчас ему шестьдесят пять лет. Но он продолжает ходить в тайгу. И не безуспешно. Только нынче он принес девять соболей и сто белок. На правах старшего он иногда поругивает молодежь.

— Холода боитесь. Промышлять по глубокому снегу не хотите. Говорите, что собаки вязнут? А разве плашками белку ловить нельзя? Мы, старики, умрем, и забудут эвенки эту охоту.

— Это хорошо, что ты, корреспондент, интересуешься, как живут охотники. Но здесь мы отдыхаем. Ты посмотри, как мы работаем, походи по нашим тропам, — говорит дедушка Корнаков. — Лучше узнаешь нашу жизнь. Правильно я говорю, Прокопий?

— Правильно, дедушка. Послезавтра оленеводы и еще два охотника на Болдызяк пойдут. Можно и корреспонденту с ними сходить.

ПРАЗДНИК МЕДВЕЖЬЕЙ ГОЛОВЫ

Утром меня разбудил голос иркутского диктора. Хозяин, уже одетый, и даже в шляпе, стоит около радиоприемника и крутит ручки настройки.

— Ну как спал? Вставай, сейчас завтракать будем.

Из-за кухонной перегородки вышла жена Ильи Северьяновича, кивнула на мужа:

— Он уж давно не спит. Да и ночью всего часа два поспал. Не слышал, как он ходил?

— Ладно тебе, — усмехается Илья, — давай-ка лучше на стол.

За завтраком Чертовских рассказывает о своей бессоннице.

— Сегодня ведь праздник. Голову медвежью варить будут. Обычай у нас, эвенков, такой. Старушка дедушки Корнакова уехала в Апикак за спиртом. Вечером должна вернуться. Ждали ее. А она в два часа ночи приехала.

— Так мужики даже в лес ходили встречать.

— Ходили, — соглашается Чертовских. — Ну, выпили потом маленько. А утром рано лошадей поить надо. Вот и спал мало.

Из кухни хозяйка приносит два стаканчика водки.

— Давайте, выпейте.

Когда очередь дошла до махорочных самокруток, стали появляться гости. Заходили по одному, супружескими парами, небольшими группами.

И каждого хозяйка встречает стаканчиком водки.

Долго не задерживаются. Посидят, покурят.

— К нам заходите.

— Ну, нам надо «на голову» идти. Уже пора, — объявляет Илья Северьянович.

От основной дороги-улицы разбежались снежные тропинки. Сворачиваем по самой ближней.

— Здесь варят голову?

— Нет. Дальше. А сейчас к дедушке Корнакову зайдем.

В доме дедушки так же людно, как и в доме Чертовских пять минут назад. Только уж более шумно: веселые разговоры, смех, кто-то хочет запеть. И синий табачный дым. Курево только двух сортов: махорка и тонкие изящные папиросы «Театральные». Другого в магазине нет.

Переступившему порог подается рюмка.

Пей, друг. Охота была удачной. Собаки хорошо искали соболя... Мы давно не были вместе. Пей.

Медвежью голову варят в доме Прокопия Сокольникова, колхозного бухгалтера. Здесь уже многие, кого я знаю в лицо. Вот сидит похожий на учителя моложавый председатель колхоза; о чем-то неясно говорит квадратный охотник, вчера вернувшийся из тайги; пляшет азартно колхозный оленевод.

— Праздник медвежьей головы — большой праздник, — рассказывает мне сосед по столу. — Охотничьи праздники нельзя забывать... Наши старики говорили так: с головой надо половину медвежьей туши сварить. Гостей звать.

А мяса на столе действительно много. Жирного медвежьего мяса...

Другой сосед тоже говорит. Во многих, видимо, домах побывал сегодня этот сосед.

— Плохо сельпо делает. Завезет шампанское, столовое вино. А спирту нет. Мало спирту. Обижа-а-ют.

Из жаркой кухни с противнем в руках выходит раскрасневшаяся хозяйка дома. На противне стройная колонна светлых рюмок. Сосед успокаивается.

Поют за столом песни, без устали пляшет оленевод. Пляшут в серебряном звоне рюмки на столе, подмигивают желтыми глазами лампы, снует от кухни к столу хозяйка.

Гости расходятся.

— К нам!

— К нам приходите.

Я уже знаю, что приглашают приходить не завтра, не послезавтра, а сейчас. Стихийно создаются новые компании. Где-то через час они распадутся, чтобы из них родились новые.

А на улице теплый снег. Ночь и луна. На темном небе яркие звезды. И на земле светлячки-окна. Сегодня вас всех ждут в любом доме. Сегодня праздник.

ТРОПА

Прокопий посмотрел на мои валенки и с сожалением покачал головой.

— Не пройдешь. В тайге через колоду шагаешь — полный валенок снега. Ноги мокрые будут. Олочи возьмешь.

Были забракованы и брюки.

— Материал слабый, тепло не держит.

Прокопий дает и меховые рукавицы.

— Вот теперь совсем хорошо.

Прокопий в колхозе бухгалтер. Но прежде всего он охотник, а потом уже бухгалтер. Каждую осень уходит в тайгу. Он сухощав, подвижен. Знает охотничьи дороги и тропы, и они ему не в тягость.

В зимовье выехали часов в двенадцать.

— Дотемна на место не поспеть, — гово-

рит Харитон Артемьич, оленевод лет пятидесяти, с изборожденным морщинами лицом.— Не та лошадка. Шибко не побежит.

Лошадь и вправду немудрящая: низкорослая, с большим, распирающим бока животом.

По поводу ее живота даже вышел небольшой спор.

— Жеребеночка ждет, — утверждал один.

— Что-то долго ждет. Может, года два уж.

Сопровождаемые многочисленными собаками, мы выехали из деревни. Нас пятеро. Впереди идет Харитон Артемьич Монастырев. Зовут его просто: Артемьич. Кажется гораздо старше своих пятидесяти лет. Это впечатление усиливается тем, что многих зубов у него нет. Ходит он быстро, даже по глубокому снегу в кочкарнике, не уставая.

— Папка всегда хлестко ходит. Я за ним поспеть не могу, — говорит о нем жена Екатерина. Она тоже оленевод и сейчас идет в зимовье. Одета Екатерина, как и все: в олочи, суконные штаны. Только на голове — платок. Моложе всех — Виктор Орешков. Он городской. И говор у него городской, быстрый. Охотится несколько лет. На Викторе шапка из рыжей летней козы. «Сам сшил», — непременно напомнит. Веселое лицо, бойкие глаза, рыжие усики. Обувь у него более щегольская, чем у других, сшита из светлых, с рыжеватиной, камусов.

Четвертый — Анатолий Яковлев, высокий, широкоплечий. У него крепкие рабочие руки. Идет не спеша, но неутомим, как трактор. Ружье за его плечами кажется маленьким, игрушечным.

Мы втроем не спеша идем за возом. Вернее, не спешит лошадь, и мы вынуждены так шагать. Оленеводы ушли по известной им прямой тропе и сказали, что встретят нас у третьего озера.

Дороги нет. Просто узенькая, очищенная от леса полоска, заметенная снегом. Под снегом — кочки. Сани угрожающе кренятся, не доглядишь — переворачиваются набок. Пожитки наши увязаны хорошо и не рассыпаются. Только поставить сани на полозья и можно ехать дальше.

В олочах идти легко. Они легкие, эти олочи, и теплые. Снег в них не попадает. Коротенькие раструбы спрятаны под суконные штанины, обвязаны сверху сыромятными ремешками. Но вот беда — скользко в олочах.

— Это с непривычки, — успокаивает Анатолий. — Стопу ставь свободней, без напряжения.

Но у меня не получается, и я падаю. На первых порах это даже приятно. Снег глубокий, нехоженый, святой чистоты. Он здесь всюду: на ветках деревьев, на дороге, где нет и намека на след, на редких пнях. Снег голубоватый и, кажется, светится изнутри.

— Но-но! — подбадривает Анатолий лошадь и машет рукой. Манюня не реагирует.

Мне кажется, что все это: и дорога в снегу среди молчаливого темного леса, и лошадь, и люди с ружьями, идущие за возом, — все это было. Но когда? Где? Дрожит марево воспоминаний. Было! Было! Но не со мной... А раньше... Видимо, много раньше моего рождения. Но почему я это видел? Воспоминания ускользают...

Вот и озеро. Огромная белая равнина в низких берегах.

— Рыбалка здесь хорошая? — спрашиваю.

— Есть немного. Карась, правда, крупный, — отвечает Анатолий. — Мелкие эти озера. Внизу топь, трясина.

Подошли Артемьич с Екатериной. Откуда-то прибежали собаки. Они покружились около людей и умчались к противоположному берегу. И стали видны отсюда маленькими черными точками.

Только ступили на озеро, случилось непредвиденное. Тяжелая лошадь проломила лед и рухнула в черную воду. Бедная Манюня делает судорожные рывки, бьется, но уходит все глубже и глубже.

— Распряга-а-ай! — кричит кто-то.

Все делается быстро, без суеты. Снимают дугу, стаскивают хомут, откатывают в сторону сани. Тянут лошадь за голову, за хвост. Манюня с судьбой смирилась быстро и уже не бьется, только дышит тяжело да смотрит печально. А черная вода уже круп заливает.

— Э-эх! Погубили кобылу.

Анатолий метнулся к саням, вывернул оглоблю, сунул лошади под брюхо. Навалился. Лошадь всплыла, повисла на оглобле.

— На, держи, — командует Анатолий.

Вывертывает другую оглоблю и в воду, под брюхо Манюне. Лицо жесткое, решительное.

— Пошла, пошла. Вроде, пошла...

А лошадь и голову уже вверх не тянет.

— Ж-жить, видно, не хочет.

— Да тяни, тяни!

Но вот вытащили на лед одну заднюю ногу. Манюня лежит уже на боку и не вязнет.

— Берись за хвост! Р-разом!

Вытащили. Виктор рвет пучки болотной травы и вытирает мокрый лошадиный круп.

— Домой ее надо отправлять, — говорит Артемьич. — Погоняй ее всю дорогу, чтобы не простыла, — наказывает он жене, когда та уже взялась за вожжи.

— Ну, думаю, конец кобыленке. Утянет ее. Жалко. Животина же.

Все взмокли, раскраснелись. Постепенно жесткость сползает с лиц, сжатые губы трогает улыбка.

— Никуда бы наша Манюня не утонула. Вон у нее какое брюхо. Как поплавок.

— А она уже умирать приготовилась.

— Что же ты, корреспондент, не фотографировал? Или некогда было?

— Ну, ладно, — Артемьич берет мешок.— Подвесим груз на деревья, чтоб не попортился, и надо идти. Продуктов дня на три возьмем. А завтра оленей найду, все к зимовью перевезу.

Идти по озеру легче. Но из-за глубокого снега идем цепочкой. След в след. На противоположном берегу сделали маленький перекур и снова в путь.

— Далеко ли до зимовья?

— Да километров семь наберется.

Семь километров через калтус, где глубокий снег, кочки, цепкий кустарник. А я уже устал. Рюкзак становится все тяжелее и тяжелее. Олочи скользят.

Анатолий увидел, что я устал, и замедляет шаг.

— Не надо спешить. Куда нам торопиться? А вы идите, не ждите нас, — кивает он Артемьичу и Виктору.

И мы снова идем. Анатолий впереди. Он методично переставляет ноги, и из-под его олочей взлетают снежные фонтанчики. Над широкой спиной легкий парок. Анатолий рассказывает что-то охотничье. Я слушаю и забываю о дороге. Я очень благодарен ему за эти рассказы.

— Понимаю, — говорит он. — Это с непривычки. Мне тоже вначале трудновато пришлось. Я ведь не всегда охотником был.

Солнце давно закатилось, и на смену ему появилась луна. Она яркая, серебристая. Тропу, пробитую Артемьичем и Виктором, видно хорошо. Теперь мы часто останавливаемся: мне надо перевести дыхание.

Тропа повернула в лес и пошла по косогору.

— Слышишь, дрова рубят, — настораживается Анатолий. — Рядом уже.

Когда увидели бревенчатую избушку среди ельника, ноги у меня налились свинцом, и казалось, что не пройти мне больше и ста метров.

В промерзшей избушке уже жарко. Топится железная печь. На печи звенит крышкой прокопченный чайник.

— Садитесь к столу, — приглашает Артемьич.

Стол — это два низеньких чурбанчика, накрытых доской.

Без всякого преувеличения скажу, что я никогда прежде не пил такого вкусного чая. Аромат индийского чая, дым, воздух и ощущение, что трудный путь позади, придают чаю божественный вкус. Мы дружно опустошаем чайник и сидим, курим чудесные махорочные самокрутки. А на печке снова звенит чайник.

В приоткрытую дверь избушки видны фисташковые звезды. Они мерцают, как кошачьи глаза. Над острым горизонтом один глаз особенно яркий. Мне хочется, чтобы у него было свое красивое название. А может, это планета? Как жаль, что я в городе редко вижу звезды. Ведь там любой уличный фонарь гораздо ярче.

— Завтра мы с Виктором займемся с утра хозяйственными делами, — планирует вслух Анатолий. — А потом походим в один след неподалеку, побелкуем.

— Дело, дело, — соглашается Артемьич.— А я сбегаю тут на мысок, оленей посмотрю. Найду, так наши моветоны привезу.

ЗИМОВЬЕ

Осматриваюсь на новом месте. Зимовье небольшое и низкое. Анатолий головой потолок достает. Двое нар из жерденника. На нарах козьи и оленьи шкуры. Небольшое продолговатое окошечко, обмерзшее льдом. В углу железная, с прогоревшим боком, печка. На стенах подвешены капканы, сушатся олочи, оленьи узды. Ружья оставлены на улице, чтобы не отпотевали в тепле.

— Умыться надо, — сказал Виктор и выскочил за дверь. Следом, низко пригнувшись, выходит Анатолий.

«Где же тут вода», — подумал я.

Утро белое, звонкое. Отчетливо видны дальние хребты. Зимовье снаружи кажется еще меньшим. Оно стоит на небольшой поляне, окруженное ельником и лиственницами. На стене зимовья, на вбитых деревянных гвоздях висят ружья. Их много — семь или восемь. Здесь и тозовки, и карабины, и гладкоствольные ружья. Никак не подумаешь, что в зимовье ночевали четыре человека.

Так вот какое умывание в тайге! Черпая полными пригоршнями снег, Анатолий и Виктор азартно трут руки, лицо, шею, бодро покрякивают.

Из-под легких навесов выглядывают собаки. Они потягиваются, раскрывают красные пасти, вопросительно смотрят на хозяев. Вчера вечером этих навесов еще не было.

Теперь я вспоминаю, что вечером охотники

задержались на улице и пришли в зимовье запорошенные снегом.

Гнезда у собак из елового лапника. И снизу снег не подтаивает, и от ветра защита.

После завтрака Артемьич убежал искать оленей. А мы занялись хозяйственными делами. Ходили на речку за льдом, рубили сушняк на дрова.

— Дров много надо. Чтоб запас всегда был. Иногда из тайги еле придешь, — рассказывает Анатолий, — а у тебя и печь есть чем топить, и вода наготове. Чиркни спичкой — и чай закипит. Это большое дело.

После обеда охотники пошли смотреть новые места.

От избушки направились вверх по хребту прямо на юг, на солнце. Подъем не крутой, но все же напоминает о себе тяжелым дыханием. А тут еще снег, колодник, чащоба. Собак не видно, но они где-то тут. Изредка встречаем их след, перерезающий наш путь.

— Собаки нас слышат. Они даже белку, если она по стволу бегает, метров за двести могут услышать, — говорит кто-то из охотников.

Мне кажется, что мы идем долго, утомительно долго. А собаки молчат.

— И следа беличьего нет.

— Артемьич, видимо, тут уже все выбил.

Вспугнули рябчика. Тенью он промелькнул среди заснеженных деревьев и затаился на высокой ели.

— Найти его трудно. Пусть сидит. Да и собак баламутить выстрелами не надо.

— Моя Дамка привыкла гонять рябчиков.

Виктор заряжает ружье.

— Отучать надо.

— Как ее теперь отучишь?

Где-то в стороне залаяли собаки.

— Постой-ка. Послушаем.

Собаки лают осторожно, как бы лениво.

— Белку. Белку нашли.

Услышав приближение охотников, собаки залаяли громко, настойчиво. Черный пес в азарте прыгает, кусает кору дерева. На самой вершине по-зимнему голой лиственницы прыгает белка. Отсюда, снизу, она кажется маленькой, неуязвимой.

Выстрел, другой, и белка, распушив свой великолепный хвост, падает в снег.

— Хорошо, что она на лиственнице была, — говорит Виктор. — А то другой раз затаится на кедре или елке — попробуй ее там найти.

Повалил снег, и пришлось возвращаться в зимовье. Еще, и который сегодня раз, оценил — что такое для охотника олочи и суконные брюки. По какому бы глубокому снегу ни бродил — ноги сухие и в тепле. А охотника кормят ноги.

В зимовье из больших кружек пьем крепкий, обжигающий чай. В тайге чай, оказывается, бывает вкусным не только в первый день, но и во второй, и в третий. И сколько бы дней ни прожил в тайге — чай по-прежнему остается самым лучшим напитком. В зимовье мы пивали чаи ранним утром, задолго до света, ярким полднем и поздним вечером. А иногда просыпались ночью, затапливали печь, кипятили чай. Ночь большая, вся наша, а чаю попить никогда не вредно.

Вскоре прибежал белогрудый пес Загря.

— Артемьич где-то близко идет. Нашел ли оленей?

— Нашел, конечно. Он всю долину хорошо знает. Да и с оленями, однако, лет пятнадцать работает.

Анатолий мне рассказывал, что зимой оленеводы живут вот в этом зимовье. Но не постоянно, а наездами. Смотрят в основном, чтобы оленей волки не задрали или другие хищники. Бывает, даже и собаки приходят из деревень, задирают оленей.

А летом семья Харитона Артемьича находится постоянно со стадом, у озера. Целыми днями оленеводы жгут дымные костры от комаров и мошки.

...В узких просветах деревьев замелькали серые оленьи спины. Впереди навьюченных оленей шагает Артемьич. За его спиной широкие, подбитые рыжим камусом лыжи. Сейчас лыжи — как два сложенных крыла.

— Собак мы привязали? — обеспокоен Анатолий.

— Привязали.

Дело в том, что пугливы олени очень. Заметив далеко черную подозрительную точку, стремглав уносятся прочь. Много у доброго оленя врагов.

Несколько взрослых оленей Артемьич и Екатерина — она пришла тоже — привязывают к ближним деревьям, и теперь можно не беспокоиться, что маленькое стадо уйдет. На выглянувших из-под навесов собак стадо уже не обращает никакого внимания: каждому ясно, что это не страшные волки, а обыкновенные собаки.

— Ох, как я намаялась, — жалуется Екатерина. На озере такой ветер. Снег несет. Смотреть не дает. Продувает насквозь.

Совсем низко, над вершинами деревьев медленно движутся темные тучи. Падает снег. Он уже закрыл маленькую поленницу дров, наколотых утром.

Артемьич снимает телогрейку.

— Утром, еще до снега, на ближнем мысу

след соболя видел. Круг сделал, выхода нет. Правда, может, по оленьей тропе вышел. А скорей всего лежит где-то. Сходить бы завтра туда надо.

Четвертый час дня. Из углов вылезает притаившаяся там темнота. Делать нечего. Самое время для разговоров.

Начало какой-то истории я не уловил и теперь слышу глуховатый голос Артемьича.

— Каждому свое. Вот старики рассказывали. Заспорили раз рыбак с вороном: кто лучше видит. Кто-то из них и предлагает: давай заберемся на высокую гору и оттуда посмотрим. Сказано — сделано. Рыбак глядел-поглядел и говорит: «Во-о-он я вижу, как в реке ленок ходит». «Ну и что? — сказал ворон. — Зато я вижу во-о-он на дальнем хребте охотник лося обдирает. Полечу туда. Однако и мне пожива будет».

— Противная птица ворон, — подает голос Виктор.

— Чего же в ней хорошего, — соглашается Артемьич. — Слабенького забить — ее первое дело.

— Глаза, говорят, она вперед выклевывает.

— Это верно. Я как-то петли на зайца поставил. Пошел проверять. Смотрю — зайчик попался. Живой еще. А перед ним ворона. И наскакивает. Клюнет и отскочит. Клюнет и отскочит. Бедняга лапами отбивается. Подошел, смотрю, а у зайца одного глаза уж нет. Ворона, видимо, свое соображение имела. Дескать, вырвется зайчишка из петли, мне с ним не совладать, убежит. А слепой никуда от меня не денется.

Потрескивают дрова в печке. Лица, освещенные пламенем, кажутся вытесанными из красного камня. Тепло. Уютно.

В приоткрытую дверь просунул свою большую голову Загря.

— Ну-ка, пошел! — машет рукой Екатерина. Но в ее голосе нет строгости, и хитрый пес понимает это. Он осторожно переступает через порог, ложится на бок, виляет хвостом, скалит в улыбке зубы.

Хлеба захотел.

Загря получает большой кусок хлеба и удаляется.

Артемьич бросает на земляной пол тоненький окурок самокрутки — видимо, собирается спать, и я спешу задавать ему вопросы. Отвечает он, как обычно, не спеша.

— Принял оленей этак в году сорок девятом. Пятьдесят голов. Оленятки каждый год рождаются. Сейчас в стаде триста сорок шесть. Бродят не все вместе, а небольшими группами.

— На какой площади они пасутся?

— Да как тебе сказать. Ходить, в общем, много приходится. Участок примерно такой: в длину километров пятьдесят наберется, ну и поперек двадцать будет.

Прикидываю, сколько же это будет квадратных километров, и получается — тысяча. Удивительно! Такая громадная площадь: тысяча квадратных километров лесных хребтов, калтусов и болот.

— И не страшно бродить одному?

— Чего страшного? Места знакомы. Живу здесь с детства. Родился на Киренге.

— Ведь можно встретиться с медведем...

— Катя встречалась нынче...

— Расскажите, — прошу Екатерину.

— Чего рассказывать-то? Не убила я его. У меня два патрона было. Мало совсем. Он убежал.

— Не стреляли?

— Почему не стреляла? Первый раз выстрелила метров на шестьдесят, не попала. А Черный, щенчишка, так сердито на него кидается. Загря, тот, видно, не хотел связываться, а когда увидел, что щенчишка не отстает, тоже за медведя взялся. Ну, когда один патрон остался, я тут немного бояться стала. Думаю, если побегу, собаки побегут за мной, медведь съест. Тогда я подбежала метров на тридцать и выстрелила. Медведь упал и стал со стороны на сторону кататься. Стрелять больше нечем. В общем, не убила я его. Спать, однако, пора.

БЕРЛОГА

Весь день идет снег. Сыплет и сыплет. Соседних хребтов не видно. Самое время блудить по тайге. Где север, где юг — черт его разберет. Елки засыпаны снегом. Их лапы отяжелели и гнутся вниз. Налетит ветер — елки вздрагивают, сбрасывают с себя тяжелую ношу, и снег, далеко не долетев до земли, рассыпается в льдистую пыль. И тогда ничего не видно в десяти шагах.

Виктор надевает рыжую шапку, отвязывает свою маленькую, изящную собачонку и убегает в тайгу.

— Понесло же его в такую погоду, — идет в зимовье разговор. — Чего добудет? Разве только зайца найдет. Белка-то больше сейчас сидит, не ходит.

— Молодой. Ноги размять надо.

Олени еще не ушли от зимовья. Они копытят снег, пробуют друг о друга рога и поглядывают на двери зимовьюшки. В их больших влажных глазах спокойное ожидание.

Екатерина берет с полки берестяной туе-

сок и выходит за дверь. Олени, словно по сигналу, поворачивают головы, лежащие бодро соскакивают на ноги, и все спешат на голос, не сводя глаз с яркого туеска. Они вытягивают шеи, жадно и доверчиво слизывают соль с руки. Олени окружили Екатерину кольцом; те, что оказались за спиной, нетерпеливо дергают ее за полы телогрейки, все требуют соли еще и еще.

— Хватит, — машет рукой женщина и уходит в зимовье. А олени еще долго стоят, смотрят на дверь и вяжутся к каждому, кто выйдет на улицу.

Плохо в тайге: несколько дней подряд идет снег. Все живое попряталось. А потом, когда снегопад окончится, будет собака проваливаться по самые уши. Какая тогда из нее помощница. Скучно в непогоду охотнику.

Жарко топится печь. Артемьич набил закопченный чайник колотым льдом и бездумно смотрит в окно. Анатолий стелит парку и готовится спать. Но вот за дверью послышался скрип, и весь в снегу в зимовье вошел Виктор. Лицо его мокрое и красное после быстрой ходьбы. На поняге, подвешенные за головки, две белки.

— Нашел все-таки.

— Нашел. И не только белок...

— А еще что? — и у каждого с губ готова сорваться шутка.

— Берлогу!

— Далеко?

— Да нет. Час ходьбы.

— Да берлога ли?

— Вроде она. Все так, как было в прошлом году, когда мы медведя добыли, — говорит Виктор. — Под колодами — чело. И куржак вроде.

— А что же ты не заглянул туда, не посмотрел — там он или нет?

— Да как-то с тозовкой постеснялся.

— Идти надо, — прерывает разговоры Артемьич. — Смотреть. — И выходит за карабином. Потом садится на прежнее место на нарах, чистит карабинный ствол. Анатолий еще раз осматривает двустволку. И, не доверяя старым зарядам, готовит новые.

— Артемьич, дай-ка немного дымного пороху. Капсюлей «Жевело» нет, так на донышко гильзы дымного добавить нужно.

Через несколько минут он объявляет «готово» и держит на широкой ладони четыре патрона.

— На правый ствол два жакана. На левый ствол круглых пуль нет, так я жаканы сточил. Пойду-у-ут.

— Хватит? — спрашивает Виктор.

— Хватит. Больше выстрелить все равно не удастся.

— Запасные где-нибудь отдельно в кармане держи.

— Пока в кармане шаришься, зверь всегда успеет голову сорвать. Запасные в зубах надо держать.

С собой к берлоге Артемьич решил взять только двух собак: белогрудого рослого Загрю и смелого щенка по кличке Черный.

— Пойдем по моему следу, — Виктор резво пошел впереди.

— Не беги, — придерживает его Анатолий.

След вначале уходит в калтус, петляет в кочках среди жесткого и густого кустарника, потом поворачивает на хребет. А снег все идет. Бесшумно. Монотонно. Он стал глубоким, и собака все чаще и чаще выходит на тропу, проложенную людьми. Деревья в снегу. Елки, как модницы — в беличьих, волшебно белых шубах.

Затесы на деревьях, ориентируясь на которые мы идем, уводят все дальше и дальше на хребет. Впереди меня покачивается могучая спина Анатолия. Его ноги мерно взбивают снег. Жарко.

Но вот Виктор машет рукой.

— Близко.

— Здесь отдохнем, перекурим, — останавливается Артемьич и достает кисет. — Собак надо на поводок взять. Если кто в берлоге есть, не спугнуть бы раньше времени.

Опыт медвежьей охоты у нас у всех разный. Самый опытный — Артемьич. Местный житель. Охотится с детства. Есть на его счету и медведи.

Анатолию приходилось ходить на этого зверя еще на Урале. Только давно. Виктор в прошлом году был на такой охоте один раз.

Обо мне говорить не приходится. Охоту на медведя я представляю примерно так: метрах в тридцати от чела шеренгой выстраиваются охотники. Потом, когда охотники поднимут ружья, из берлоги выскакивает лохматый медведь. В зависимости от настроения он сразу кидается на людей или демонстрирует свой рост, поднимается на задние лапы и грудью идет на людей. А тем остается только стрелять. Но вышло все иначе.

Артемьич распорядился.

— Жерди надо рубить. Заломим.

Виктор свалил стройное дерево, очистил его от мелких сухих веток и вырубил пару двухметровых стягов. Я уже знаю, что такое «заламывать», и стяги мне кажутся очень короткими. Заламывать — это значит подойти (подбежать, подскочить) к берлоге, сунуть конец увесистого стяжка в чело и крепко зало-



мить. Медведь же — опять-таки в зависимости от настроения — рванет стяжок к себе или будет выскакивать, не взирая на преграду.

Курить кончаем. Самокрутка, по-мышиному пискнув, гаснет в снегу. Анатолий и Виктор с кольями. Артемьич взял на поводок Загрю, отдал мне Черного, и мы цепочкой пошли к берлоге. Ружья на боевом взводе. Щенок натягивает поводок, спешит.

Минут через десять идущий впереди Виктор замирает на мгновение, предупреждающе поднял руку, шепнул:

— Вот она!

— Где же? — Я смотрю и ничего не вижу.

Виктор метнулся со стягом куда-то вперед. Артемьич с неожиданной легкостью прыгнул через поваленное дерево и упал на колено. Карабин у плеча. Мелькнула широкая спина Анатолия и мощный стяг. Только тут я разглядел в трех метрах от себя чело. Берлога уже заломлена, Артемьич с любопытством заглядывает в медвежье жилище. Но... медведь не показывается.

— Посмотрим, посмотрим, — бормочет Артемьич и сует в чело палку. — Нету вроде. Загря, иди-ка сюда.

Пес, отпущенный с поводка секунду назад, принюхивается, лезет под упавшие крест на крест деревья и ничем не выражает беспокойства. Он виновато смотрит на хозяина, моргает и поднимает заднюю лапу.

— Нету, — говорит Артемьич и выпрямляется. Потом внимательно все осматривает и добавляет убежденно:

— А это берлога. Но не лег, видно, сюда. Ушел.

Виктор сконфужен.

Все вроде так. И чело. И куржак.

— Так, так, — кивает Артемьич.—Все так. Правильно, берлога это. Еще найдешь. Чего не бывает.

Шли обратно. Чудо, как лес красив. Даже в снегопад.

Виктор недоволен:

— Как же я так? Надо бы собаку подозвать.

— Теперь-то ты уже обязан найти берлогу.

— Ничего-о-о... — подбадривает всех Артемьич.

СОБОЛЬ

Сегодня утром мы все пятеро ушли по своим тропам. Анатолий, Артемьич, Виктор и Екатерина — искать оленей и охотиться, а я— в ближайший березняк стрелять косачей. Косача я не добыл. Слишком осторожна в этих местах птица, никак не подпускает на выстрел. Вдоволь набродившись по глубокому снегу, вышел на лед узкой речки Болдызяк и долго шел по следу какой-то зверюшки. Речонка заблудилась среди кустарников и болот, кидается то вправо, то влево, делает неожиданные петли; она как будто боится густой черноты леса и не подходит к нему близко.

Сделал круг, вышел на свой старый след и вернулся в зимовье. Оно уже выстыло, но чайник на столе, укрытый попоной, сохранил еще свое тепло. Чай вскипятил и заботливо укрыл ушедший последним. Около печки лежат дрова, в ведре — колотый лед.

Потом пришел Виктор. Услышал его еще издали: он то ли кричал, то ли пел.

— Пел, — пояснил Виктор. — Думал, олени на голос придут. Иногда ведь они увидят человека, прибегут, за рукава, за полы куртки тянут, соли просят.

Пришла Екатерина. Оленей не нашла, но принесла белку. Измученный глубоким снегом, большой дорогой, вернулся Анатолий.

— Оленей не видел. Раз пересек след. Четыре головы прошли. Но кто их знает, может, дикие. И хоть бы одну белку встретил!

Последнее обстоятельство, мне кажется, больше всего утомило охотника.

— Это ты ходил по речке? — спрашивает Анатолий. — Я твои следы сразу узнал.

По тайге ударил снежный заряд, и в зимовье потемнело.

— А папки все нет, — беспокоится Екатерина. — Обещал пораньше сегодня прийти... Вот папка, тот сразу дикого оленя узнает. Они иногда к нашему стаду прибиваются.

Завтра идти будет тяжело. Снегу намело. А делать здесь больше нечего, надо выходить.

Уже в сумерки Анатолий и Виктор взяли мешки, топор и пошли на речку за льдом. Около зимовья встретили Артемьича. Шел он медленно, устало, еще больше сутулясь.

— Что так долго?

— Да вот пришлось...

Я не выдерживаю, спрашиваю:

— Как охота?

— Ничего. Есть маленько.

Екатерина помогает мужу снять понягу, разворачивает холщовый мешочек.

— Я так и знала: за соболем папка бегал. — В руках Екатерина держит соболя.

Соболь! Я думал, при этом слове охотники удивятся, засыпят Артемьича вопросами, будут поздравлять с удачей.

Но ошибся. Обычная таежная сдержанность не позволила мужчинам показать свои чувства. Только в глазах их отразился далекий огонек и тотчас погас.

Зверек светловатый, до баргузинского ему далековато, но это все же добыча, черт возьми. Соболь похож на упитанного щенка, только туловище много длиннее и оскал мордочки злой.

— Чай попьем, да ободрать надо. — Артемьич убирает добычу в темный угол.

Лицо у Артемьича сейчас старое, глаза потускнели. Он не спеша снимает телогрейку и остается в рубахе. Рубаха на спине мокрая.

— Садись, папка, чай пить.

— Обожди, сейчас покурю, — и свертывает самокрутку, по обыкновению тоненькую и длинную, как большой гвоздь.

— Чего ты одну бумагу куришь? Сколько раз тебе говорила.

Но Артемьич не отвечает, машет рукой, надсадно кашляет.

— Вот и кашель от этого.

— Чаю налей.

После ужина Артемьич немного молодеет. Потом достает из темноты угла добычу и просит Анатолия.

— Помоги соболя оснимать. Палец у меня вот болит.

Анатолий снимает соболью шкурку медленно, осторожно; отделяет на лапках каждый коготок. К его рукам подвинули единственную в зимовье керосиновую лампу. Стекло лампы протерли от копоти. Ответственное это дело — снимать соболью шкурку.

А Артемьич не томит, рассказывает.

— Вышел я это на высочек, смотрю: след соболя. Где же, думаю, собаки? А они уж по следу убежали. Только в обратную сторону. Кричал, кричал. Где там вернутся. Чувствую— замерз. Давай костер разжигать. Чаю напился, а собак все нет. Потом смотрю, бегут. Видно, там разобрались и обратно по следу дунули. И — мимо меня. Пошел за ними. Далеко угнали, на соседний хребет... Когда подошел к собакам, щенок уже лежал и даже не лаял. Так устал. А Загря смотрит и голос нет-нет да и подаст. Соболь на елке затаился.

— Готово, — Анатолий протягивает шкурку.

Артемьич надевает ее на деревянную распорку, поправляет лапки и подвешивает к потолку.

— Ну вот и порядок...

— Садись чай пить.

— Завтра, видно, с утра домой пойдем?

— Идти надо. Снегом заносит.

— Я не пойду, — неожиданно объявляет Виктор.

— Чего это ты?

— Сходить кой-куда хочу, посмотреть...

В приоткрытую дверь протискивается Загря. Сегодня в зимовье он держится несколько независимо и уж совершенно уверен, что без подарка его никак не прогонят. Ведь не кто иной, а он, Загря, сегодня нашел и загнал на ель соболя. А это, видит бог, было не так легко. Пес получает довольно солидный кусок хлеба домашней выпечки и, несколько помедлив, выходит на снег.

...Ночью меня будят, приглашают чай пить. Слышу, как в печке гудит красный огонь. Его отсветы дрожат на черных бревенчатых стенах. Вижу медные лица охотников, яркие, то словно засыпающие, зрачки самокруток. Тепло и уютно. Но сон доброй мягкой лапой закрывает глаза. Давно, может, с самого детства, сон не был так добр, как здесь, в зимовье... Детский сон... Детский... Все мы дети... Земли, природы... Блудные дети...

Ветер гонит над тайгой темные, размазанные по небу тучи. На озере метель. Следы человека, идущего на несколько метров впереди, уже зализаны поземкой и кажутся старыми...

А летом здесь, на озере, по рассказам охотников, гнездовья уток. На берегах увидишь осторожную и легкую козу. Если повезет — то и горбоносого лося.

Но пока над озером метель. Я приеду сюда летом.

„ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ"

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА СУЩЕСТВУЕТ В НАШЕМ АЛЬМАНАХЕ «ГАЛЕРЕЯ «АНГАРЫ», КОТОРАЯ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВЫМИ РАБОТАМИ ИРКУТСКИХ И ЧИТИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ, РАССКАЗЫВАЕТ ОБ АВТОРАХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫСТАВКАХ, ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ ЛУЧШИЕ РАБОТЫ МАСТЕРОВ ФОТОГРАФИИ – НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ.

РЕДАКЦИЯ ПРОСИТ ВАС НАПИСАТЬ: ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ ВАМ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ АЛЬМАНАХА, В КАКИХ МАСТЕРСКИХ НАШИХ ХУДОЖНИКОВ И ФОТОМАСТЕРОВ ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЕЩЕ ПОБЫВАТЬ.

СЕГОДНЯ В «ГАЛЕРЕЕ «АНГАРЫ» ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С ПОЛОТНАМИ ИРКУТЯНИНА И. Е. ЮШКОВА, ЧЬЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ЭКСПОНИРОВАЛАСЬ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ; С ФОТОГРАФИЯМИ Б. ДМИТРИЕВА И ДРУЖЕСКИМИ ШАРЖАМИ В. КАЛИНИНА.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ.

Вл. ФАЛИНСКИЙ

ХУДОЖНИК-ПЕЙЗАЖИСТ

Общественность Иркутска отметила пятидесятилетие жизни и тридцатилетие творческой деятельности Ивана Ефимовича Юшкова.

Юшков — певец величественной, эпической Сибири, суровой и щедрой ее природы. Никто не останется равнодушным у полотен на выставке. Книга полна благодарственных записей:

«Дорогой Иван Ефимович!

Спасибо за доставленную радость от просмотра Вашей выставки...»

«Благодарим за искренность в отображении природы Сибири, за радость и любовь, которые рождают в душе Ваши картины...»

Юшков — художник, который имеет свое творческое лицо. Картины его не спутаешь ни с чьими на любой выставке. Его пейзажи мажорны, звучны в цвете. Юшкова знают и в Сибири, и в Омске, и в Тюмени, и в Перми, и в Москве и в других городах республики. Встречи с его произведениями всегда приносят радость.

Родился Юшков 11 апреля 1914 года в таежной деревне Сесим Даурского района Красноярского края.

Рисовать начал с шести лет. Рисованием увлекался, хоть оно и доставляло много огорчений. В семье смотрели на его рисунки как на непозволительное баловство. Много хлопот доставляли и ежедневные раздумья — чем рисовать и на чем рисовать! Было тоже все, что оставляло след на дощатых заборах, на стенах сараев — мел, уголь, куски кирпича. Зарисовывал все, что видел кругом: дома, деревенские улицы, развесистые сосны, перелески, ватаги ребятишек, кошение трав, скирдование хлеба.

В школьные годы безжалостно изрисовывал тетради, книги. Рисование забирало все прилежание и от грамматики и от арифметики. Может быть поэтому и учился не так, как требовалось. И школу оставил раньше времени.

Не следует забывать, что это было в глухом таежном селе, где на страсть к рисованию смотрели как на забаву, которая кормить не будет. О том, что искусство может быть и профессией и жизненной необходмостью — и мысли не допускалось. По традиции отцов и дедов нужно было приобщаться к делу — пахать, сеять хлеб. Или приобретать рабочее ремесло, если не нравилось жить в деревне.

В родном селе Юшков окончил три класса. Еще два года учился в Красноярске, а потом оставил школу и поступил в ФЗО. Это было уже в 1929 году.

В 16 лет начал самостоятельную трудовую жизнь, стал метаться по свету в поисках своего места под небом. В Улан-Удэ поступил на рабфак, с рабфака перешел в Кабанский финансово-экономический техникум. Занятия в техникуме посещал по обязанности. И на занятиях и после занятий — рисовал. На одном из уроков бухгалтерского учета увлекся так, что даже забыл, где он. Преподаватель отобрал изрисованную тетрадь.

Через несколько минут под рисунок пошел разворот учебника. Преподаватель не вытерпел:

— Слушай, Юшков, ни финансиста, ни экономиста из тебя не получится. В техникуме ты человек случайный. Уходи и поступай в изотехникум.

— А где он есть?

— В Иркутске. Брат мой там учится. И рисуй тогда хоть круглые сутки. Не упрекать, а хвалить будут.

Радостью загорелись глаза у парня. Он немедленно последовал совету, уехал в Иркутск. В изотехникум был принят в 1932 году на второй курс. Учился у Александра Ивано-

вича Вологдина, одного из ведущих художников-педагогов 30-х годов.

От учителя он унаследовал некоторую замкнутость характера, скромность, отвращение к позе, к демагогическому жесту и безграничную любовь к искусству.

Любовь эта проявляется не внешне: она — в какой-то, присущей Юшкову, напористости, внутренней собранности и целеустремленности. Сохранил и черту страстного и, вместе с тем, вдумчивого отношения к натуре, к изображаемому.

Юшков очень серьезно, ответственно относится к работе, пишет ли большую картину или этюд.

Еще студентом, в 1933 году он участвовал на первой выставке художников Восточно-Сибирского края (натюрмортом и двумя пейзажными этюдами). Училище окончил в 1935 году. Диплом написал на спортивную тему — «Волейболисты». Некоторое время работал в КОРе (клуб организованных рабочих, помещался в здании, где теперь театр музыкальной комедии). А затем перешел в товарищество «Художник» и занялся творчеством.

На творчестве Юшкова можно проследить, как развивалось изобразительное искусство в Прибайкалье за последнее тридцатилетие, со всеми успехами, недостатками и даже ошибками, присущими иркутским художникам в 30—40 годах (кроме открытого формализма. Всякое левацкое трюкачество было и остается чуждым Юшкову).

Иван Ефимович работал почти во всех жанрах станковой живописи.

В 30-е годы он активно разрабатывал тему партизанской Сибири. Позже одним из первых обратился к теме труда и быта.

В 1937 году Юшков написал первую свою картину «Партизаны», на тему гражданской войны в Сибири. Ночь в тайге. Холодное небо. Таежная избушка, телеги, обозы, пулеметные тачанки. Освещенные костром люди. Хорошо передал настроение тревожной партизанской ночи. Удачнее написан пейзаж. Фигуры людей слабы и в рисунке и в типаже. Но тогда, в период становления Сибирского искусства «Партизаны» Юшкова были одной из лучших картин выставки. За нее Ивана Ефимовича в 1937 году приняли кандидатом в члены Союза художников.

Развивая тему гражданской войны, в 1938 году Юшков пишет полотно «Лазо среди партизан». По сюжету оно близко к первому. Тоже партизанский лагерь в тайге, у костров. Но по композиции интереснее. Лучше разработаны и написаны силуэты людей, освещенных кострами на фоне ночного леса. Цвет звонче, декоративнее. Но типаж, как и прежде, слаб. Образ Лазо не убедителен. Оба полотна скорее можно отнести к пейзажному жанру.

Но несмотря на то, что у Юшкова ощущалась одаренность к пейзажной живописи, что пейзажи получались лучше, гражданское чувство художника побуждало писать тематические картины. Видимо, само время, международная обстановка, патриотический долг художника подсказывали такой выбор, обязывали запечатлеть героические годы недавнего прошлого. Молодая республика еще не забыла о голоде и тифе, еще не заросли окопы прошлых войн, а на западе уже разразилась новая. Не стало Абиссинии. Германский фашизм аннексировал Австрию, растерзал Чехословакию и Польшу. Собирал силы на наших границах. Поэтому и в других произведениях того времени Юшков отображал героические эпизоды борьбы с колчаковщиной и семеновцами, с японскими броневиками на подступах к Иркутску, таежные партизанские рейды.

Эти полотна подчас слабы были в живописи, но они работали своим гражданским пафосом, политической злободневностью.

1941 год. Началась Великая отечественная война. Художник становится воином-минометчиком.

Служил в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке. В армии писать почти не приходилось. Но с альбомом не расставался и если удавалось выкроить свободную минуту — рисовал.

На листах — и боевые эпизоды, и суровые солдатские будни. Об этом говорят сами названия рисунков: «В походе», «Чистка оружия», «В атаку», «Перевязка раненого». На одном из рисунков большеглазая, хрупкая девушка, медицинская сестра, выносит раненого с поля боя. В некоторых рисунках художник с теплым юмором показывает бытовые солдатские сценки. Молодой боец экипируется, подгоняет ранец. А на нем так много пряжек, застежек, что он никак с ними справиться не может («Подгонка амуниции»).

На другом («Фотографируются») — сценка в больничной палате. Сюда пришел фотограф, комичный, чем-то по внешности напоминающий Дон-Кихота. Раненые раздобыли верхнюю часть флотского костюма. Надевают по очереди. Первый уже сидит перед аппаратом в тельняшке, бескозырке и кальсонах, напряжен и сосредоточен, — как в священнодейст-

вии. Другие бойцы обступили фотографа полукругом. Смех, шутки. Даже те, кто не может ходить, приподняли головы от подушек, улыбаются.

В рисунке «Чистка оружия» даже характеры удались. Молодой боец чистит винтовку старательно, но еще скован, неловок. Пожилой солдат, наоборот, нетороплив, но все его движения четки, слажены, в нем угадывается бывалый охотник.

В армейском альбоме сохранились эскизы композиции «Вода». Изображается марш по пустынной Даурии под палящим солнцем. На пути ключ со студеной водой. Солдаты припали к воде. Лошади пьют. Замысел интересен, но в рисунке много театрализованных поз.

Конец войны застал художника в госпитале. Раздумья о предстоящей демобилизации, о возвращении солдат к семьям выливались в рисунках, эскизах. В акварельном эскизе солдат идет по залитой солнцем степи. Кругом израненная войной земля, поля безбрежные, только горизонт бледнеет синевой гор. В другом, карандашном, — он уже у отчего дома. Первая встреча с другом-псом, бросившимся на грудь хозяину.

В армии Юшков начал картину «Письмо». Выполнил несколько эскизов в карандаше, а писал уже в Иркутске, после демобилизации. Два солдата сидят на выжженной земле, читают письмо. Художник взялся за трудную задачу—показать душевные переживания бойцов, получивших письмо от родных, из деревни. И не справился. Не нашел убедительного эмоционального ни пластического, ни цветового решения.

И пейзаж и особенно фигуры написаны вяло, в мутновато-серой гамме. Типы солдат безлики, неубедительны. Следует отметить, что типаж — вообще слабая сторона в творчестве Юшкова. Люди, характеры Ивану Ефимовичу почти никогда не удавались. Сказался и длительный перерыв в живописи.

Чтобы восстановить мастерство, в 1947 году Юшков едет на два месяца в Дом творчества «Горячие ключи», на северный Кавказ. Работал там исключительно в пленере, написал много интересных этюдов. Лучшие — «Полдень», «Вечер», «Вид на горы». В этих небольших пейзажах видно стремление художника к обобщенному эпическому показу природы, увлекает широкое изображение горного пейзажа.

«Вид на горы» выполнен с четкой разработкой планов. В других работах Иван Ефимович избегает иллюзорной трехмерности. Пишет чаще дальноплановые горы, стремится к обобщению и цветовому единству.

В кавказских ландшафтах сумел хорошо передать колорит горного юга, строгого и спокойного.

И только в этюде «Въезд в Горячие ключи» с пирамидальными тополями, теплой зеленью — южная экзотика.

Уже на выставке в Иркутске вокруг этюдов шло много кулуарных разговоров. Работы вызвали общий интерес, в них ощущались иные настроения, иная гармония красок, чем в прежних пейзажах Юшкова. Кавказские этюды несли в себе качества, которые Иван Ефимович развил в лучших своих картинах в 1958—1962 годах.

Но одних настораживало грубоватое письмо, плоскостное решение дальних планов насыщенным цветом.

Другие не находили в них цветового мажора (цветовой крикливости), не смогли оценить спокойной цветовой гармонии.

И. Юшков в 1948 г. опять пишет тематическую картину «Студенты» (Перед зачетами). Но если раньше художника выручал пейзаж, то с фигурами в интерьере было еще труднее. Композиция решалась иллюстративно. Потерялся цвет, ушел в черноту. Обескураженный неудачей Иван Ефимович уехал с геологами в экспедицию на Алдан. Пробыл там десять месяцев. Еще до войны он вынашивал мысль написать картину о золотоискателях, хотел выполнить давнее желание. Путешествуя по Сибири, знакомясь с работой приисков, вникая в труд горняков, увидел, что старатель с лотком исчез из жизни, ушел в легенду. Его сменила драга. Изменился и облик края, некогда таежной глухомани.

По наблюдениям, этюдам и рисункам, выполненным в экспедиции, Юшков в 1949 г. создает картину «Геологи». Написана она с тщательной проработкой деталей, иллюзорно выписанным пейзажем в плане натуральной школы. Композиция иллюстративна, решена утилитарно. Раскрыты не характеры геологов, их переживания, а показан их труд.

В 1951 году Юшков опять возвращается к «Геологам». В композиции второй вариант существенно не отличается от первого, но он цельнее в колорите.

В 1952 г. Юшковым создано большое полотно «Колхозная кузница». Как и в «Студентах», действие развивается в интерьере. Композиция построена почти фризово. Удачнее, чем в «Студентах», разработано пространство, силуэты фигур. Неплохо передан ритм трудового процесса, в этом основное достоинство картины. В цвете полотно обобщеннее, мажорнее. Колорит строится на коричневых, серых и оранжево-красных цветовых отношениях, хо-

рошо передает атмосферу труда горячего цеха. Но люди, их психика, их души — остаются загадкой.

Увлекает Ивана Ефимовича и обнаженное тело в пленере. Он делает эскиз купальщиков. Но решает полотно не отвлеченно, а как жанр. Стан рыболовецкой бригады, рыбацкое судно у причала. Конец рабочего дня. Вечереет. Сильные, ловкие парни-рыбаки купаются. Двое плещутся в воде, третий вышел на берег, капли воды играют на загорелом теле. Эскиз звучен в контрастных цветовых отношениях, синих, голубовато-зеленых и оранжево-красных. Подкупает состояние: радость, бодрость, духовная чистота и полнота жизни, удовлетворенность трудом.

Смех, веселье, всплески воды... Так же, как и в горячинских пейзажах, в этой работе явно ощущается тяга художника к декоративным цветовым решениям.

Одновременно Иван Ефимович делает второй эскиз о рыбаках — «Перед выходом на лов». Он разработан тщательнее, детальнее, но без присущей предыдущему густоты и звучности цвета.

И «Колхозная кузница» и особенно «Студенты» укрепили Юшкова в том, что жанриста из него не получится. Как бы художник себя не насиловал, пейзажист в нем явно брал верх.

Не случайно, большинство жанровых вещей его решены как пейзажи.

И в последующие годы Иван Ефимович все чаще обращается к пейзажу. Он много ездит, пристальнее вглядывается в жизнь. Изучает.

Его поездки по области участились особенно с 1953 года.

Юшков побывал в леспромхозах Зиминского района, в Тулунской долине, на Аршане, Саянах. Проехал по живописным местам новой железнодорожной ветки от Тайшета до Коршунихи. Из каждой поездки привозит интересные этюды, в которых основное внимание уделяется выразительности состояния природы.

Пришел и первый серьезный успех.

В 1951 году картина «Байкал» была принята на республиканскую выставку (с тех пор Юшков регулярно участвует на Московских выставках).

В 1953 году Иван Ефимович создает «Ангарские горы» (по каталогу республиканской выставки этого года произведение почему-то значится как «Пейзаж»). Виденный сотни раз приангарский ландшафт зазвучал в картине удивительно красочно.

В 1957 году Иван Ефимович написал последнее свое тематическое полотно «Лесорубы» (выполненное по заказу), которое можно считать больше пейзажем с фигурами.

А в 1958 году начал серию пейзажных картин: «Река Снежная», «Саяны», «Весна в Прибайкалье», «Хребты Саянские» и другие. Закончил их через два года.

1957—1959 годы легли водоразделом между Юшковым-лириком и Юшковым-монументальным пейзажистом. На первый взгляд кажется, что с его полотен ушло движение, шум ветра, трепет листьев. В них нет мерцания звезд, колебаний воздуха. Горы как-будто застыли. Ни времена года, ни капризы стихии не властны изменить тут ничего; и в этом философский подтекст пейзажей Юшкова.

Это не значит, конечно, что Юшков чурается лирики. У него есть и очень даже лиричные вещи. Но в эпическом пейзаже творческая индивидуальность Ивана Ефимовича раскрылась полнее и глубже.

На областной выставке 1960 года художник предстал в новом качестве, чем приятно всех удивил и обрадовал (очень успешно выступил и на первой выставке «Советская Россия»). Раньше цвет у него был расслаблен, писал он свои полотна при нейтральном, рассеянном освещении, сером, бессолнечном небе. (Так написаны и «Лесорубы»). Теперь цветовая гамма — яркая, насыщенная. Цвета густые, звонкие.

Мне довелось слышать в 1960 году отклики москвичей в манеже у картин Юшкова.

— Вот она какая Сибирь! И не кусочками, а вся, с горами и лесами, со снегом и морозами. В первозданном величии!

На второй республиканской выставке «Советская Россия» в Москве Иван Ефимович представлен картиной «Аршан». Написано полотно весомо, плотно, в каждом мазке — тяжесть гранитов, базальтов.

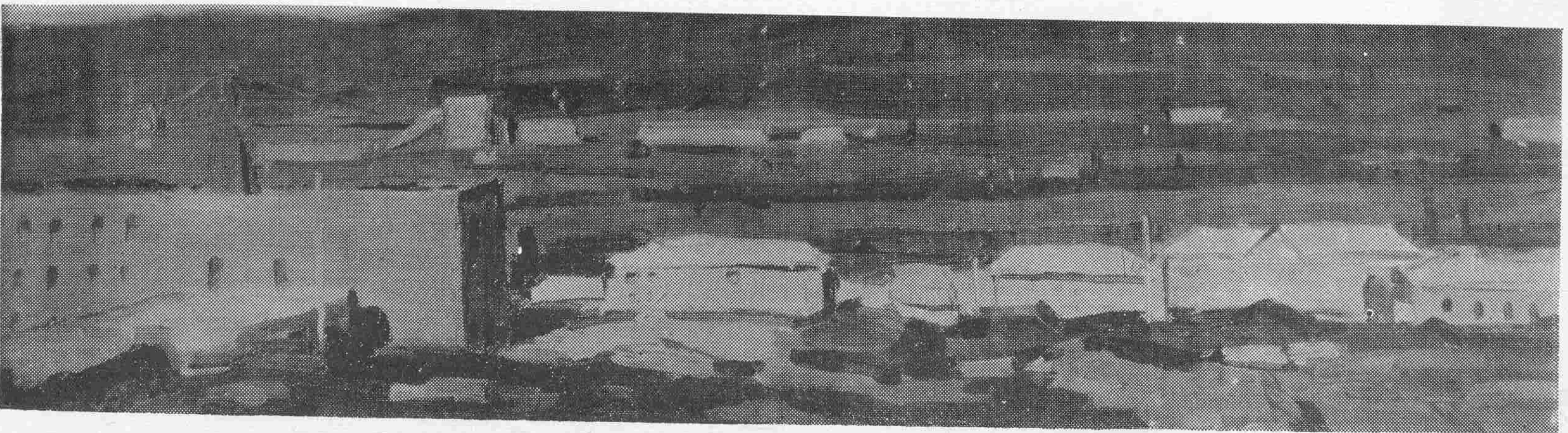
День — к вечеру. Красно-коричневые горы освещены скользящими лучами угасающего дня, когда солнце уже не греет. Длинные тени легли на землю, поползли, извиваясь, по горам, наполнили полотно холодом. А суровая, таинственная гора-великан словно стоит на страже тысячелетних тайн земли, хранит секреты ее недр...

Картины Юшкова получили высокую оценку и признание зрителя, приобретены для многих музеев страны.

В каждом произведении Ивана Ефимовича — дыхание сибирской свежести, силы и неповторимой красоты.

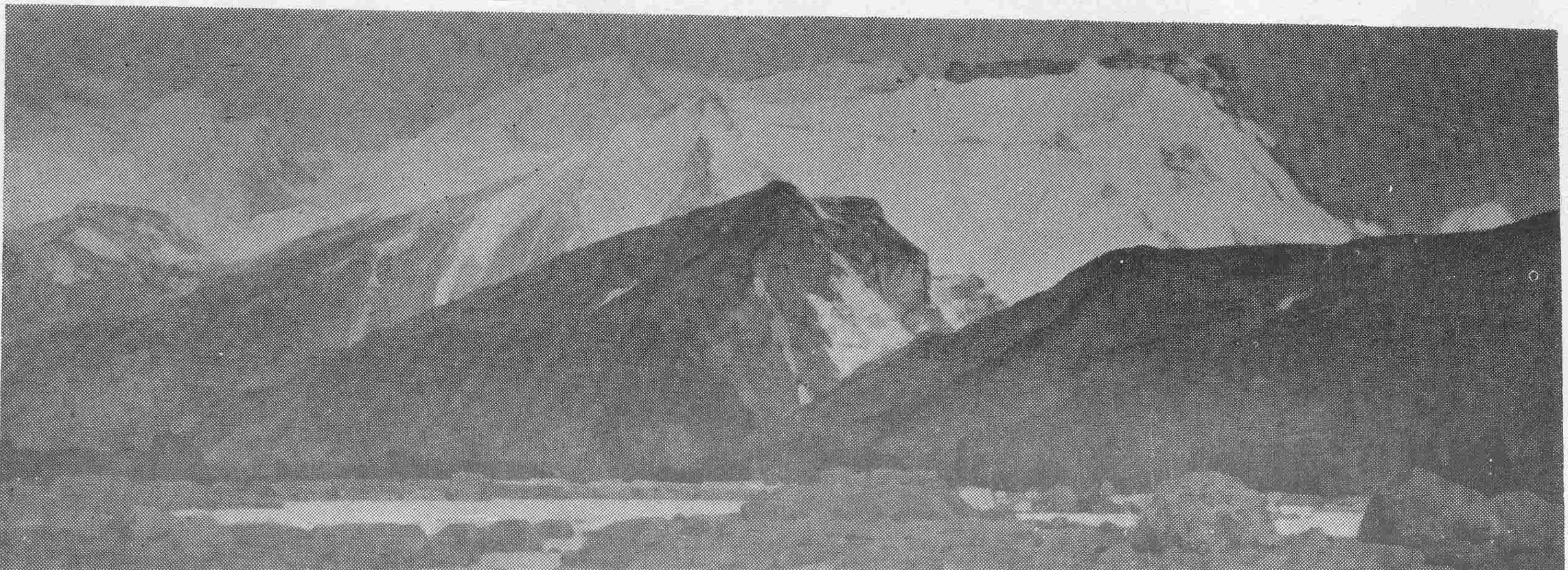


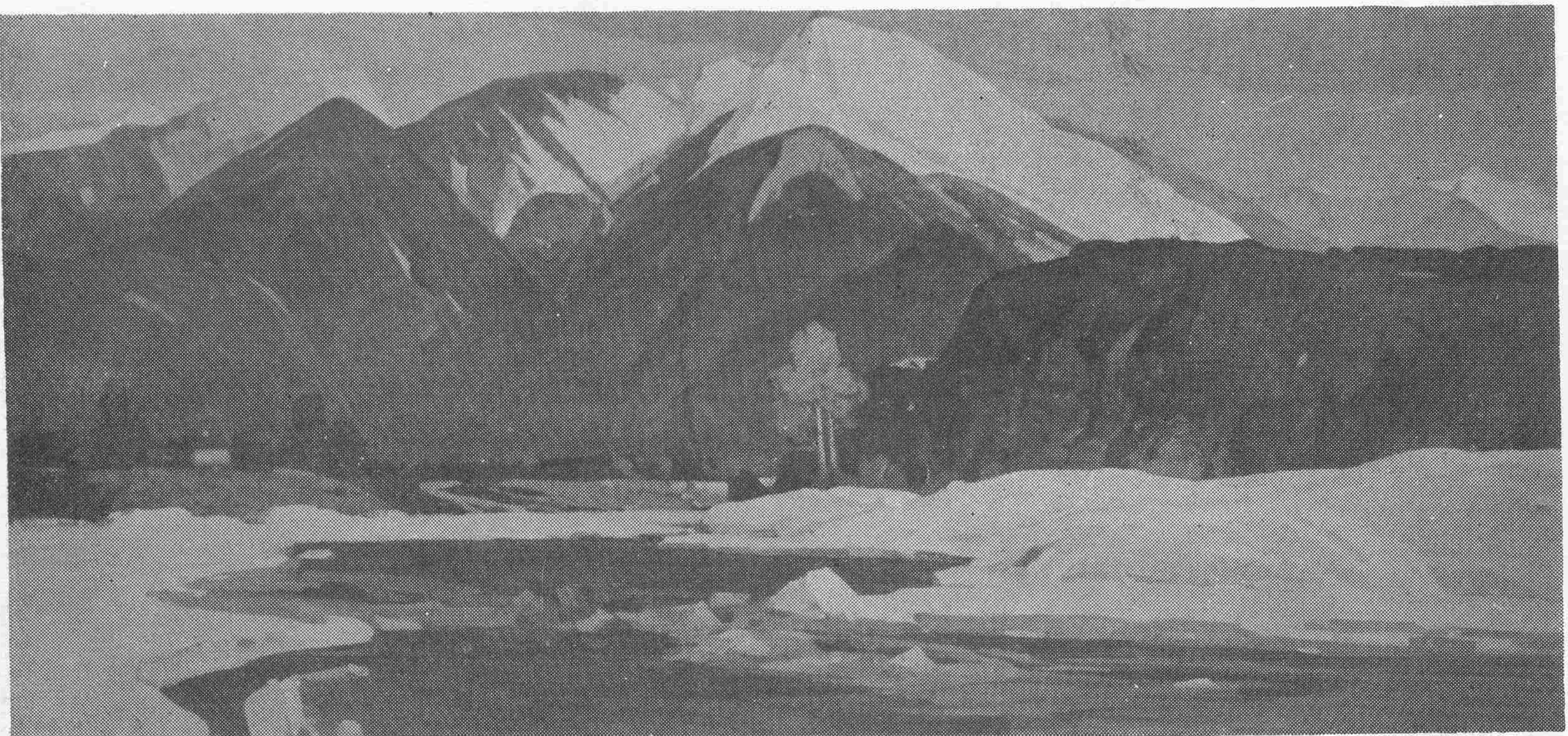
Аршан.



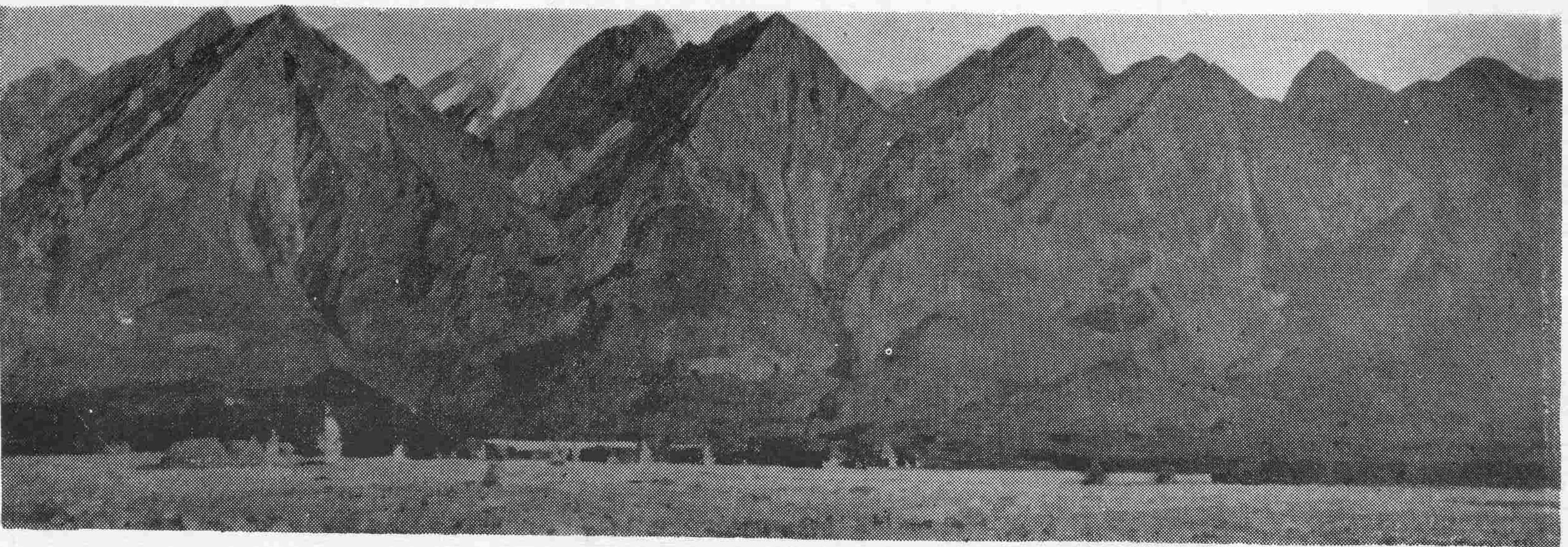
Студгородок.

Саяны.



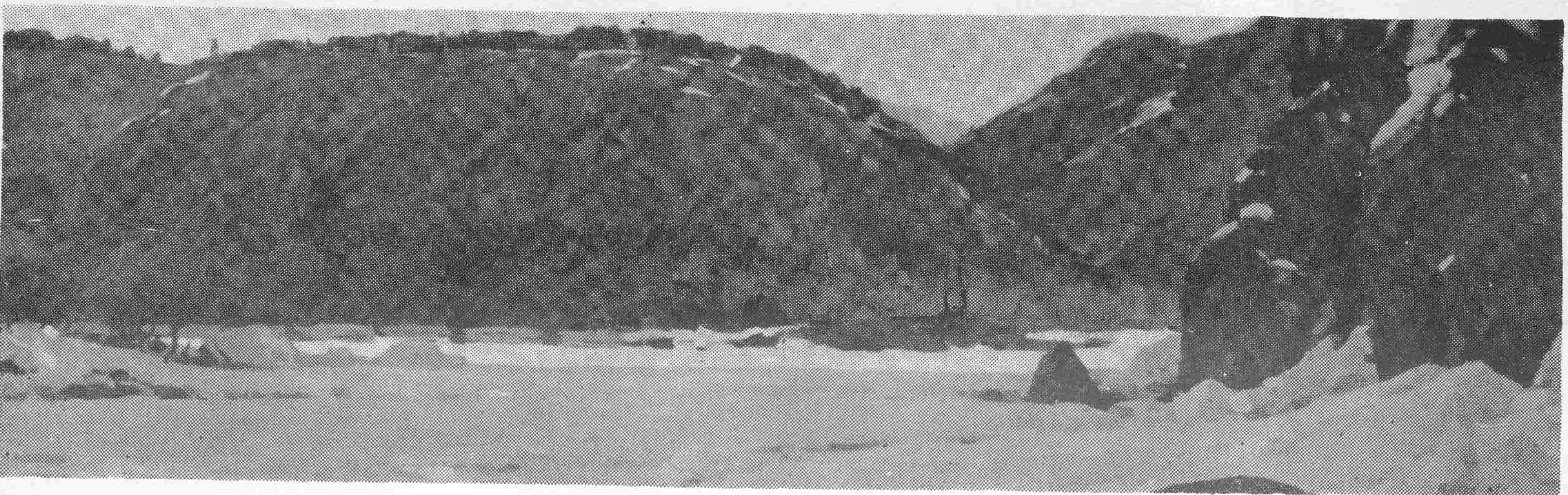


Река Снежная.



Хребты Саянские.

Весна в Прибайкалье.



Анатолий ШАСТИН

ВЕРБЫ ЦВЕТУТ

Повесть

Каждый оставляет после себя след — в сердцах, памяти и просто на земле.

I

1

С хребта Журавлев увидел Байкал — белесую полоску в просвете хвойных ветвей.

— Теперь все, — сказал он себе.— Еще час или два.

Он бросил под ноги ружье и опустился на камни. Они были теплыми, а на противоположном склоне хребта между деревьями виднелись грязные пятна снега и оттуда тянуло холодом.

Журавлев навалился спиной на валежину и подставил солнцу лицо. Все было безразличным, кроме хрупкого солнечного тепла и неподвижности. И было странным, что он не кричит от счастья и не бежит навстречу белой полоске, едва видимой отсюда.

Когда он карабкался с хребта на хребет и пробирался среди стеклянных и звонких ото льда кустов, а после старательно просушивал в волосах последнюю спичку, которая все-таки не зажглась, он думал, что эта минута будет счастьем. А сейчас ему все было безразличным. «Наверное, от долгого ожидания, — подумал Журавлев. — И еще потому, что тысячу раз представлял себе, как это случится».

И все случилось именно так, как себе это представлял. Только очень поздно.

Это могло быть вчера, когда он преодолел всего один перевал. Или позавчера, когда он преодолел три. Но лучше, если бы это случилось раньше, когда он верил, что за ближайшим хребтом увидит эту белесую полоску.

Журавлев подумал, что пора трогаться, но еще долго лежал неподвижно. Потом, когда солнце переместилось и тень соседнего дерева упала на лицо, он поднялся и начал спускаться.

Он перебрался через поток и, спотыкаясь, побрел вдоль берега.

Сапоги проламывали наст и вязли в снегу. Под ним была вода. Голенища набухли и на подошвах намерзли ледяные лепешки. Журавлев еле волочил ноги.

Миновал час, а вокруг был все тот же беспросветный вербник. Когда кончился второй, Журавлев все так же тащился вдоль берега. Он путался ногами в подснежном валежнике и карабкался через бурелом. На исходе третьего Журавлев сказал себе, что ошибся в расстоянии. Он сел отдышаться и здесь же на проталине набрал горсть прошлогодней брусники.

Прошло больше часа, прежде чем он заставил себя подняться.

Речка ныряла под снег и вновь, с шорохом и звоном обрушивая наледи, вырывалась на поверхность. Журавлев не заметил, когда она исчезла совсем, а распадок сдвинулся и потем-

нел. Солнце почти не проникало в него. Журавлев увидел все это вдруг, будто очнувшись от забытья, и подумал, что белесая полоска была лишь пустым миражем. Он хотел узнать, сколько продолжалось забытье и взглянул на часы. Они были без стрелок. Под осколки стекла набились зерна грязного снега.

Журавлев поднес к лицу растопыренную пятерню. Она была иссечена порезами и кровоточила. Журавлев сжал ее в кулак и приподнялся на локте. Распадок медленно поворачивался перед глазами. Он кружился, но деревья, каждое в отдельности, оставались на месте. Это были черные ели, высокие и хмурые, не похожие на те, что росли возле речки. И распадок был тоже другой. Тот, с речушкой и вербником, очевидно, остался позади. Журавлев не заметил, как свернул сюда. Он подумал об этом без досады, как и о ружье, которого не нашел возле себя.

— Ненужная дубина, — подумал он. — Лишняя тяжесть. Надо возвращаться.

Он попробовал приподняться. Земля качалась и ноги не хотели стоять на ней. Журавлев опустился на четвереньки и пополз.

Потом он уперся в завал, заметенный снегом и подернутый блестящей, как станиоль, коркой. Если бы у него были силы и ясная голова, он обошел бы его стороной. Сейчас он даже не подумал сделать это. Он упрямо карабкался вперед и соскальзывал, не достигнув вершины. На колючках и льду оставались красные пятна и клочья ваты растерзанной телогрейки.

— Все... Сдохну...

Он был убежден в этом, но едва придя в себя, начинал карабкаться снова. Наконец, он в последний раз сказал себе:

— Все, — и уронил голову на снег. Это было на вершине завала. Впереди виднелись вербы в мелких розовых помпушках и подмытые речушкой наледи, и желтый треугольник солнца на обесснеженном склоне хребта...

Потом Журавлев почувствовал боль. Это было первое, что он почувствовал, когда начало проясняться сознание. Ему казалось, что руки его связаны, что кто-то изо всей силы тянет их и давит на шею. Журавлев безуспешно пытался высвободиться и не мог. И вдруг он увидел снег. Не белый, а синий и розовый. Он был пересечен темными полосами и медленно уплывал назад. Потребовалось еще некоторое время, прежде чем Журавлев услышал прерывистое дыхание и начал понимать, что его несут, взвалив на спину и крепко стиснув руки.

Журавлев дернулся:

— Эй...— В груди хлюпало и было трудно дышать. — Э-эй... — Это прозвучало как стон. Руки выпустили. Журавлев медленно сполз на землю. Он сидел, сжав ладонями виски, а перед глазами со звоном мельтешили, похожие на мошкару, черные точки. Прошло еще некоторое время, прежде чем Журавлев сумел разогнать их и поднял голову.

Солнце светило вдоль распадка и Журавлев увидел тени. Одна его, короткая и скрюченная, другая — несуразно длинная, изломанная на кочках и промоинах — начиналась где-то сзади и терялась в серых зарослях багульника напротив. Журавлев посмотрел через плечо; юбка, телогрейка, платок, завязанный под мышками. Лицо приходилось против солнца и Журавлев, не увидев его, отвернулся.

— Значит, все правильно, — сказал он и почувствовал, как саднит в груди. Тень переступила с ноги на ногу и Журавлев услышал, как за спиной зашуршал снег. — Это Байкал? — спросил он, не оборачиваясь.

— Это-то?..— голос был высокий, почти детский.

— Это, это.

— Уткин Нос это.

— Уткин Нос? — он обернулся и, опираясь на руки, попробовал подняться.

«Полдесятка дворов на стиснутом с трех сторон полуострове. В Сосновке лесхоз. Дорога туда только по воде или воздуху. Зимой по льду. Весной...» Он выпрямился и стоял, покачиваясь и чувствуя, как дрожат колени. Стало жарко до испарины.

— Значит, Уткин Нос... Как ты несла меня?

Она подняла на него торопливые рыжие глаза и отвернулась.

— Как ты несла меня? — повторил Журавлев.

Снова замельтешили черные и радужные точки и он никак не мог рассмотреть ее лица. Видел только глаза, рыжие и длинные, с ускользающим взглядом, а все остальное было размыто и плоско, как на плохой фотографии.

Чтобы не упасть, он стиснул зубы и взял ее за плечо. Оно было худеньким и податливым. Журавлев почувствовал это даже через телогрейку и медленно сказал:

— Вот что... ты приведи кого-нибудь лучше... Я пойду пока один... Потихоньку...

Он снова опустился на снег.

— Ты иди пока, — сказал Журавлев. Он видел перед собой ее ноги в грубых шерстяных самовязках и стоптанных сапогах с широкими, как ведра, голенищами. Она переступила и снег разноцветными кристаллами потек изпод подошв.

— Надо идти, — сказала она.

Журавлев сидел, опустив в колени лицо.

— Пропадешь тут.

Она подхватила Журавлева под мышки и заставила подняться.

Снег синел, темнел и узкая тропка под ногами была черной и бесконечной, как забытье, в которое все чаще и длительнее проваливался Журавлев.

2

Нютка с усилием отворила разбухшую дверь и ступила через порог. Лампа едва светила, и в углах комнаты затаилась душная темнота. За столом, подперев кулаком щеку, сидел отец. Его взъерошенная тень закрыла всю заднюю стену и часть потолка. Когда стукнула дверь, он поднял тяжелую голову и, заслонившись ладонью от света, взглянул на Нютку.

— А-а-а... Встретила?

Она молча развязывала платок и снимала ватник.

— Ну?

— Да, встретила я, — досадливо сказала Нютка. Она стянула сапоги и зашлепала к ушату напиться. Бросая ковшик, исподлобья взглянула на отца. Он пристально щурился на нее сквозь мохнатые, нависшие на глаза брови.

— Пошто не заходит?

— К бабушке я его утащила. Дохлый он вовсе, — сказала Нютка.

— Тоись как... дохлый? — отец привстал из-за стола. — Тоись, как дохлый!

Нютка запахнула на груди кофточку и пожала узенькими плечами. У нее было осунувшееся от усталости лицо и под глазами лежали синие тени.

— Я не знаю, — сказала она. — Я не встретила его на той тропе, а только уж потом, в Черемшанке... Он даже не шевелился, когда я его нашла.

Нютка прижалась спиной и ладонями к теплой печке. На кофточке были оборваны пуговицы и ключицы остро выпирали в том месте, где разошелся воротник.

— Заблудился он, что ли, — сказала она и отвернулась. — Отощал, видать.

Отец заложил руки за спину. Согнувшись и приволакивая ноги, ходил по комнате. Половицы всхлипывали и стонали. Тень слонялась по стенам и потолку — то несуразно широкая, то маленькая, сгорбленная и черная. Бормотал под нос едва слышное:

— Видать, раньше вышел. День или, может, два назад... Да. Ежели шатун с пути сбил — это еще, конечно, ничего... Как бы худого не было. Да. — Вдруг остановился перед Нюткой — руки за спиной, колючий подбородок выдвинут вперед. Согнутый в пояснице, отец был ниже Нютки и ядовито смотрел на нее снизу.

— В Черемшанке? А ты пошто туда попала, а?

Нютка затрясла головой и крепче вдавилась в печь.

— Сам просил старый зарод посмотреть: не растащили бы...

Передразнивая, пропищал:

— Не растащи-и-ли ба... Дня мало? Болтаешься, как ботало, язви тя! Сказано было старой тропой идти...

— Так я же его все равно нашла, — прошептала Нютка и прижала руки к груди. — Не пойди на зароды, так и не нашла бы.

Отец сердито засопел.

— Поговори вот! — погрозил желтым пальцем. — Мотри, доберусь, — и снова потащился по комнате. Сказал спокойно:

— Другой какой, или брат Степан снова?

— Другой. Тощий.

— К старухе зря унесла. Не ко времю... Хотя, может, оно и лучше. Дома тоже не хорошо было бы... — снова невнятно шелестел что-то себе под нос, да скрипели половицы. Подкостылял к Нютке:

— Как тащила-то, видел кто?

Она покачала головой:

— Темень на улице.

— Завечерки. Как там у старухи?

— Так же, — тихо отозвалась Нютка, — умирает она. С печи... — лицо ее съежилось. Глаза, в которых до того светились отраженные огоньки керосиновой лампы, погасли. — Третий день с печи не слазит. Умирает бабушка. — Нютка поджалась и еще более сникла.

— Все от бога, — буркнул отец. — Будет, пожила. Не о ней спрашиваю.

Нютка искоса следила, как волоча ноги, он потащился к столу. Выпущенная поверх штанов рубаха обтягивала согнутую спину и плечи. Под выношенной тканью упруго перекатывались мышцы.

— Печь у старухи протопить надо. Похолодало.

Смахнул со стола крошки, заткнул бумажной пробкой пузырек с чернилами. Плохо гнущимися пальцами начал свертывать тетрадный листок, исписанный крупно и неровно. Пополам. Еще пополам.

— Выхолодало, говорю. Слышь?

И вдруг рявкнул:

— Давай, давай! Повертывайся! Живо!

Нютка пулей через комнату, сапоги в руки и к двери. Еще не коснулась ее, а дверь настежь. Нютка кубарем через порог и головой с разлету — в мягкое.

— А-а-а! — аж ушам больно. Вскочила и обмерла:

— Б-брат... Степан...

II

Журавлев засыпал и просыпался снова. Он не помнил, как попал на скрипучий топчан, накрытый медвежьей шкурой. И вообще не помнил ничего, что было после того, как в последний раз оборвалась под ногами узкая тропа, залитая лужами талой воды. Она оборвалась вдруг. А после был уже этот топчан, красные отблески пламени на низком потолке и бревенчатых стенах, склоненное над чугунком лицо, тоже красное в полосе света, падавшего из печи. Журавлев пытался представить себе это лицо и не мог.

Временами Журавлеву казалось, что он не один. В избе слышались вздохи, негромкие и протяжные. Щелкал суставами кривобокий шкаф и вздыхали темные углы. Журавлев не мог отделаться от ощущения, что несколько часов забытья перенесли его в стародавнюю Русь или в сказку. Будто из сказки подслеповато щурилась узкими печурками русская печь. В почернелый потолок был ввернут ржавый крюк для зыбки. И такой же сказочной была тишина, подчеркнутая редкими шорохами и вздохами. Только кровать, накрытая серым байковым одеялом, сияла никелированными спинками не по-здешнему светло и ново.

Журавлев все-таки заставил себя приподняться и взять кружку. Она была тяжелой и обжигала руку. Он поднес ее к лицу и увидел коричневое молоко с редкими глазками жира и красными пенками. Журавлев пил его долго, прикрыв глаза и чувствуя, как мягкое тепло разливается по всему налитому усталостью телу. Он испытывал удивительное блаженство и от этого молока, и от тишины, пахнущей смолистыми поленьями, и от того, что мог вытянуться, расслабить мышцы и вспоминать. Вначале — солнце, грохот ручьев, звон обледенелых ветвей. Они звенели как елочные игрушки. Потом — белая полоска, похожая на клочок тумана, застрявшего в кронах далеких сосен.

«Все-таки это был Байкал, — подумал Журавлев. И тут же: — Как она донесла меня? Такой здоровый лоб и девчонка с худенькими плечами. Черт знает, как ей удалось сделать это».

Журавлев попытался представить себе ее, но из этого ничего не получилось. Тогда он прикрыл глаза и стал думать о том, что через два-три дня должен быть в редакции, что если задержится, оттуда будут звонить домой и Анна начнет бить во все колокола.

Если б тогда на буровых он все-таки дождался машины и не отправился пешком, все могло получиться нормально. Но он торопился, а машины все не было и не было. И он сказал себе, что если ее не будет до утра — ждать нет смысла. Перехлестнутая буйными ручьями дорога становилась непроезжей. Весна началась в один день и даже ночами в домиках буровиков было слышно, как она ворочается и бьется под снегом.

Машина не пришла и Журавлев попрощался с буровиками.

До базы даже по размытой дороге он должен был добраться к вечеру. И он бы, наверное, добрался туда с первыми звездами, если б в полдень не свернул в сторону, надеясь сократить путь и миновать топкие места. Перед этим он здорово промочил ноги. Вдоль дороги и через нее мчались грохочущие потоки. И даже в тех местах, где они уходили в низины, ноги проваливались сквозь снег и разъезжались на скрытой под ним ледяной корке.

Сейчас он отлично понимал, что сворачивать с дороги было нельзя. Впрочем идти по ней тоже было нельзя. Ему просто следовало не упускать ее из виду. Но в тот момент он так был уверен в себе, что даже не помышлял о возможности заблудиться в лабиринте распадков, хребтов и сопок. Он был убежден в этом, потому что дважды уходил от дороги, дважды терял ее из виду и все-таки снова возвращался к ее грохочущим колеям.

А потом дорога, видимо, свернула куда-то, а он все шел и шел в надежде через минуту увидеть ее. И тогда начались эти распадки, валуны, болотца... ели... сосны... вербы с розовыми котятами на ветках...

Сны разноцветными мотыльками кружились в утомленной голове Журавлева. Они кружились весело и долго. Но потом что-то гулко стукнуло и прогнало их. Теперь Журавлев услышал тяжелые шаркающие шаги и приглушенное:

— Нету... Рукавица вот... Драная...

Сквозь прищуренные ресницы он увидел стену. Красные отблески заката на ней, свою телогрейку и старый рюкзак на вбитом в стену гвозде. Согнутый человек, взлохмаченный и черный, ощупывал карманы.

— Здесь тоже... Карандаш...

Он отошел и за печкой негромко заговорили. Журавлев не слышал о чем. Потом снова зашаркали шаги. Человек появился на фоне выкрашенной закатом стены. Он заложил руки за спину и, выставив вперед сивый подбо-

родок, не мигая, уставился на Журавлева. Несколько раз оглянулся через плечо, будто искал у кого-то поддержки. Закостылял к топчану. Остановился очень близко, так что Журавлев мог свободно коснуться его стеганых штанов.

Прежняя усталость ушла и Журавлев слышал, как в груди и висках торопливо колотилось сердце.

«Что они ищут? Могли бы разбудить? Спросили бы».

Он смежил ресницы и лежал неподвижно. Он чувствовал, что человек наклонился и пристально рассматривает его. Горячее дыхание касалось лица. Остро пахло чесночным перегаром. Ощущение было не из приятных. Журавлев весь подобрался и старался дышать ровно и глубоко, как спящий. И все-таки, ощутив осторожное прикосновение, он едва не вздрогнул.

Человек крадучись дотронулся до плеча. Может быть, будил? Нет, рука полежала и осторожно поползла к нагрудным карманам. Там был спрятан корреспондентский билет, немного денег и блокнот. Все это было в рубашке под толстым свитером. Тот, кто ощупывал Журавлева, не смог бы достать их, не приподняв свитер. Журавлев был уверен, что он не посмеет сделать этого. И все же, когда человек коснулся карманов, Журавлев повернулся набок. Он застонал и повернулся набок, прикрыв рукой грудь, как делают это люди в глубоком забытье.

Даже не открывая глаз, Журавлев чувствовал, что человек еще здесь, что он стоит, не меняя позы, и смотрит ему в лицо. Потом снова послышались тяжелые шаркающие шаги.

— Ну вот, ни тяти, ни мамы,— хрипло сказали за печкой. — Совсем дохлый. А до документов не доберешься.

— Да, Иннокентий, да. А узнать бы надо бы, а?

Журавлев даже не разобрал сразу, кто говорит — не то мужчина, не то женщина. Очень уж круглым и неопределенным был голос.

— Пусть не сейчас. Попозже узнать. Только обязательно.

Все-таки это был мужчина. По голосу он представлялся Журавлеву плюгавеньким и мягким, с округлыми движениями и пухлыми ручками. Может быть, он был совсем не таким, но по интонациям и голосу Журавлев не мог представить его себе по-другому.

— Оклемается еще, — сказал плюгавый.— Пусть себе поваляется пока. Пусть поваляется... А Нютку учить надо. Наставлять на путь.

Журавлев слышал, как скрипела табуретка и тяжело шаркали за печкой шаги.

— Учить язву. Это ты прав, брат Степан. Учи-и-ть, — слышался хриплый голос.

Потом стукнула дверь. Журавлев видел лишь ее край и часть высокого выщербленного порога. Там мелькнул цветастый подол и худенькие пальцы минуту задержались на дверной скобке.

Шаги за печкой затихли и только по-прежнему поскрипывала табуретка.

— Ню-ю-тка пришла. Вот и хорошо, вот и славно, — заговорил Степан. — Проходи. Не надо стоять у порога.

— Бабушка как? — спросила Нютка.

Журавлев вдруг вспомнил этот полудетский голос. Он пришел, как из сна, как короткая светлая точка в глухой бредовой темноте.

«Значит, ее зовут Нюткой»,— подумал Журавлев.

— Как бабушка? — повторила Нютка.

Журавлев попробовал представить себе эту девчонку и не мог. Память сохранила бегущий взгляд рыжих удлиненных глаз и грубый шерстяной платок, завязанный под мышками. Все остальное размылось забытьем и потерялось.

— Бабушка, бабушка, — хрипло передразнил Иннокентий. — Пожила старуха, будя. Не сегодня, так завтра...

— Зачем ты так, Иннокентий? Нехорошо как-то, брат. Некрасиво. По-доброму надо, по-хорошему.

— А чего ему? — сказала Нютка. — Ему все равно.

— Ну, ты! — Иннокентий снова зашаркал ногами. Стонали половицы. Потом вдруг затихли. — Ладно, — сказал Иннокентий, — делить нам тут неча, брат Степан. Да и родня невелика. Дом Нютке отписать, а барахло все это...— Он замолчал. Задумался, что ли? — Загнать. Нашто оно нам.

— И то, и то. Деньги, они лучше, надежнее. Барахло, что...

Журавлев слышал, как всхлипывала Нютка.

— Не вяньгай, — сказал Иннокентий. — Распустила нюни. К Афимье сходи, к старухам этим. Весь день у избы торчали. Скажи, пущай утром проведают, а надо — обмоют покойницу.

Нютка истошно завыла. Всхлипнули стекла, лютым ужасом сдавило Журавлеву сердце.

— Пореви маленько, пореви. Оно легче станет, — согласился плюгавый Степанов голосишко. — А потом сходи к бабушкам. Прогуляйся. Мы тут сами разберемся. Пойди на улку, пойди.

Снова стукнула дверь.

— Плохо ты, Иннокентий, разговариваешь. Со злобой. Так на путь не наставишь, а

ожесточишь сердце и закроется оно от тебя и уже даже розга не поможет тебе...

— К черту, — прохрипел Иннокентий. — Учить надо язву, учи-и-ть. Не о боге думает. Не о спасении своем и приобщении к святому воинству.

— То весна на нее действует. На все живое весна действует, Иннокентий. И то не противно богу. — Он вздохнул, как показалось Журавлеву, с сожалением. — Совсем не противно.

Журавлев ясно увидел, как он открывает ягушачий рот и пришлепывает влажными губами. Может быть, у него были совсем не такие губы и совсем не такой рот, но Журавлев не мог представить их себе по-другому.

— Хотел сказать тебе, Иннокентий. Как брату хотел сказать тебе. Кесарево — кесарю, божье — богу. И смири гордыню свою, ибо смертен есть, и в день великой битвы святого воинства с силами сатаны спросит с тебя Иегова за все прегрешения и сомнения твои. Не обольщайся, брат, и отдай богу богово.

— Это о чем? — с испугом прохрипел Иннокентий.

— О том, что сказано: «Кто достаточно имеет денег, дает, что может. Это не причиняет ему вреда и это благородно богу». Отдай в фонд доброй надежды, что имеешь, и спасешься. И стараниями твоими разойдется слово истины по городам и весям и падет сатана и будешь сопричислен ты к ста сорока четырем тысячам избранных Иеговой.

— Во-о-н чево, — глухо пробормотал Иннокентий.

— Я тебя не неволю. Сказано: хочешь погибнуть — погибни.

— Ладно, говорю, ладно. Продам дом. Барахло загоню. Кровать рази только эту оставлю. Бока совсем на досках...

Зашуршало, закопошилось что-то на печке. Замолчал Иннокентий, не закрыв рта. Шлепнули об пол босые ноги и явилась перед Журавлевым встрепанная сухонькая старушонка — в чем душа держится. Выхватила из-за печи черную кочергу, подняла над головой, бросилась прочь, качаясь из стороны в сторону, и дребезжащим старческим голоском:

— Я те прода-а-м, холера! Я те посамуша-а-ю!

— А-а-а, проклятущая, а-а-а, мать твою!..

Грохнула табуретка, затанцевала посуда, со звоном полетел на пол чугунок.

— Не быва-а-ть по-вашему! Не быва-а-ть!

— Ой, стерва! Стой!..

Дубленый полушубок мелькнул через порог, а Иннокентий, как воробей, у двери завертелся, прикрывая руками голову.

— Стой, старая! Осатанела, ведьма! Сто

— Поживу-у-у еще! Сама на кроватке по сплю! И-ишь, спасители окаянные! — и клю кой, клюкой, — загуби-и-ть девку хошь. Иро

Ирод перевалился в сени и уже с улицы:

— Чтоб тя разорвало, мать твою!..

Журавлев сидел на топчане, свесив босы ноги, и давился смехом. Он пытался сдержать ся и от этого на глаза набегали слезы. Кру жилась голова.

Бабка была сухонькой, с коричневым съежившимся от древности лицом. Она слоня лась по дому и ее точно ветром покачивало и стороны в сторону.

— И-ишь, — бормотала бабка,—и-ишь!..— И с ожесточенным грохотом побрасывала поганое ведро разбитые черепки. — На-кось выкусь... И-ишь...

Потом она увидала Журавлева и устави лась на него, искривясь и подбоченясь тощи ми руками.

— И-ишь?

— Здравствуйте, бабушка, — сказал Журавлев и прикрыл ладонью дурацкую ухмылку

— И-ишь, — прошипела бабка, — воскрес, окаянный.

— Воскрес, бабушка, — сказал Журавлев Он провел ладонью по мохнатой щеке.

— Ишь, тоже спаситель? — старуха затрясла головой и пожевала синими губами.

— Не-ет, бабушка, — сказал Журавлев. — Журавлев я.

— Вон чево, — вздохнула бабка, — Журавле-ев. — Потом подобрала длинную сатиновую юбку, присела на лавку, уронив между колен тощие руки, и будто забыла о Журавлеве.

III

1

«Ну и образина», — думал Журавлев, поглаживая щеки. Он только что сбрил мохнатую бороденку и весь изнемогал от усилий увидеть себя в зеркало. Утыканное вдоль рамы желтыми фотографиями, оно висело в простенке между окнами и было покрыто старческими конопатками. С таким же успехом Журавлев мог пытаться найти свое отражение в донышке алюминиевого котелка.

— Ни к черту не годится, — сказал он наконец. — Старье, а не зеркало.

Он снова погладил себя по впалым щекам.

— Святые мощи, — потом развинтил бритву и бросил ее в пустой рюкзак, висевший на гвозде вместе с ватником.

В кухне вокруг желтого ворчливого само-

вара сидели старухи. Повязанные косынками и платочками, они дули чай и толковали о том, что пуд крупчатки при царе стоил совсем задарма, что сахар покупали головами и что добрые люди умирают, а спасителя Иннокентия никакая хвороба не берет.

Журавлев вышел на кухню. Старухи замолчали и с любопытством уставились на него. Особенно одна толстая и остроглазая.

— Здравствуйте, — сказал Журавлев и направился к двери.

После утреннего разговора с бабкой он сознавал, что в распутицу выбраться отсюда можно только ненадежной лесной тропой.

Был еще один путь — по льду. Он представлялся Журавлеву недальним и легким, но бабка замахала на него руками, когда он сказал ей об этом.

— Ишь чего. Хошь в трешыну угодить.

Журавлев вспомнил эти трещины, заметенные снегом, почти незаметные глазу. Он вспомнил редакционного шофера, который во время поездки на Ольхон угодил в такую трещину вместе с машиной. Шофер остался жив. И машину удалось вытащить тоже. И все-таки Журавлев не мог до сих пор с уверенностью сказать, что было тогда случайностью: или то, что машина влетела в трещину, или то, что шофера вместе с ней все-таки удалось потом вытащить.

Изба, где отлеживался Журавлев, стояла в конце улицы. Рядом с ней была только черная кособокая баня с крышей, беспорядочно залатанной листами ржавого железа. Журавлев обошел угол и начал спускаться к берегу. Там лежала перевернутая кверху днищем лодка. Набросанные по грязи дощечки подходили почти вплотную к ней, и по этим дощечкам поднималась навстречу Журавлеву тоненькая фигурка с перекинутым через плечо коромыслом.

Некоторое время они молча стояли друг против друга. Она, потупившись и чуть покачивая коромыслом, он с любопытством и недоумением рассматривал ее.

— Так вот ты какая! — сказал, наконец, Журавлев, и улыбнулся. — Здравствуй!

— Здравствуйте.

Нютка скользнула по нему взглядом и, сойдя с доски, обошла Журавлева. Он хотел поблагодарить ее за то, что она сделала для него, и не успел.

Нютка шла в гору, чуть покачиваясь под тяжестью ведер. Платок сбился на плечи и рыжеватые волосы золотисто светились под солнцем. Собранные в толстую косу, уложенную спиралью на затылке, они были очень красивыми, как показалось Журавлеву. Девчонки в городе специально перекрашивались в такой цвет, потому что он считался модным. Журавлев не любил крашеных и удивился, что такой цвет может быть не искусственным. Он смотрел вслед Нютке, пока она не скрылась за углом.

«А в общем ничего особенного, — думал Журавлев, спускаясь к берегу. — Девчонка как девчонка. Самое большее лет семнадцать. Это с учетом, что она такая тоненькая. Вообще же, может быть, даже меньше. Как ей удалось вытащить меня?»

У проруби он отмыл с сапог желтую глину и, щурясь, долго глядел на Байкал, на почерневшую тропу вдоль берега, на кривые домишки и кучи прошлогодней ботвы в огородах. Он вдыхал дурманящие весенние запахи. И слушал тишину, подчеркнутую шелестом ручьев и петушиными криками. И снова возвращался мыслями к необходимости скорее выбраться из затянувшейся командировки. Он знал, что после все равно не сможет усидеть в городе дольше двух—трех недель. Его снова потянет в дорогу, и он ничего не сможет поделать с собой. Но сейчас он думал об Анне, и ему хотелось быть с нею. И вместе с тем он знал, что не уйдет в Сосновку ни сегодня, ни завтра. Он вспомнил все происшедшее накануне и понимал, что не сможет уйти. Даже если бы ему удалось найти проводника и он ушел, горячее человеческое и профессиональное любопытство снова пригнало бы его обратно.

Журавлев слишком хорошо знал себя, чтобы усомниться в этом. Он вспоминал Анну, о которой даже в короткой разлуке мучительно и остро тосковал. Они прожили вместе четыре года, а он тосковал о ней так же, как шесть лет назад, когда они впервые познакомились и когда он так же часто и надолго уезжал.

«Если бы еще старуха могла все вразумительно объяснить, — думал он, — а так...»

Бабка могла говорить о чем угодно. Но стоило напомнить ей об Иннокентии, как она начинала брызгать слюной и с ее синих провалившихся губ срывались ругательства.

— Холера. Ирод окаянный.

Журавлев улыбнулся, вспомнив, как она ругалась. Очень сердито и смешно. Он еще раз поплескал из проруби на сапоги и вымыл руки. Вода была черной и холодно обжигала пальцы. Журавлев, пританцовывая, растирал их и когда они начали гореть, сунул руки в карманы. И тут он снова увидел Нютку. Она спускалась к берегу и ведра визгливо раскачивались на коромысле.

Журавлев еще издали улыбнулся ей.

— Давай, я зачерпну, — сказан он, когда Нютка подошла, и протянул руку.

— Я сама.

Она бросила коромысло и шагнула к проруби. Между ними оказался черный пятак глянцевитой воды, на поверхности которой плавало солнце и белые щебинки льда.

Журавлев смотрел, как Нютка разгоняла их ведром. Она склонилась очень низко. Журавлев видел тугую спираль из кос и длинную шею, изящную и красивую.

Все-таки он помог вытащить ведро и второе зачерпнул сам. Нютка не позволила ему нести их. Она сверкнула на него глазами и темные брови сердито взлетели вверх.

Теперь Журавлев отлично разглядел ее. И чуть удлиненное лицо со вздернутым носиком, обрызганным веснушками, неяркими и веселыми, как птичий щебет. И полные губы с приподнятыми уголками. И маленькие розовые уши.

Она пошла впереди него, покачиваясь под тяжестью ноши, тонкая, в больших сапогах с широкими голенищами и сбитом на плечи старушечьем платке. Круглые брызги, мерцая, скатывались с ведер и падали под ноги Журавлеву.

— Я до сих пор не могу понять, как ты меня дотащила, — сказал он, рассматривая ее. Ему было приятно, что она оказалась такой. Собственно, это не имело никакого значения. Она могла быть серенькой и неинтересной. Или наоборот — очень красивой. Ему это было безразличным, потому что чувство признательности не зависело от того, какой бы она оказалась. И все-таки ему было приятно, что она оказалась именно такой — с бегущим взглядом рыжих глаз и грустной складкой в приподнятых уголках губ.

— Конечно, я должен сказать тебе спасибо, — продолжал Журавлев. — Но ты понимаешь — это просто удивительно, что ты там оказалась и сумела меня дотащить.

Она молчала и Журавлев сказал снова:

— Наверное, это было нелегко?

— Я привыкла.

Она через плечо мельком взглянула на Журавлева. Он улыбнулся.

— Привыкла таскать из тайги таких, как я?

Нютка повела плечом и с ведер на грязные доски полетели сверкающие жемчужины.

— Нет, просто я сильная.

Это могло показаться наивным, если бы не прозвучало так просто, почти безразлично. Журавлев ждал, что она спросит, как он оказался в тайге, но она молчала. И тогда он сказал:

— Как ты думаешь, сможет меня кто-нибудь провести в Сосновку?

Нютка не отвечала. Доски под ногами чавкали и выбрасывали фонтанчики желто-серой воды.

— Что ты скажешь? — снова повторил Журавлев.

— Здесь только старухи да ребятишки, — неохотно сказала Нютка.

— А где же остальные?

Опять молчание.

— Ведь должны быть и мужчины.

Журавлев не дождался ответа.

— Куда делись все?

Сейчас он отлично понимал, как чувствует себя учитель, заставляя говорить нерадивого школяра, который смотрит в пол на грязные носки башмаков.

— Что у вас мор тут прошел!

— С чего это?.. В лесхозе народ, у буровиков... Работают.

— Называется поговорили, — с досадой сказал Журавлев, когда поднялись на взгорок. — Чего ты такая мрачная? Красивая девчонка. Молодая. А мрачная. Как старуха столетняя.

— Да ну вас!

Нютка поправила коромысло и быстро скрылась за углом. Журавлев видел, как она миновала бабкин дом и вошла в соседнюю калитку. Он присел на чурбаки, сваленные у дороги. Здесь было тепло и тихо. Журавлев снял ушанку и подставил солнцу лицо. Мир через закрытые веки казался розовым.

Журавлев сидел, опираясь руками о чурбак, и чувствовал, как весеннее тепло расслабляет мышцы и растекается по всему телу, и делает его невесомым. Журавлев не чувствовал своего тела. Оно растворилось в солнечном тепле и само стало им. И лишь мягкие запахи хвои и влаги стали острее.

Он слышал, как звякнула калитка и зачавкали по грязи шаги.

— Разморило на солнце-то?

Журавлев сразу узнал этот голос, низкий, с тяжелой хрипотцой.

— Пригрело, — сказал Журавлев и открыл глаза. Сивое щетинистое лицо, вислоносое и скуластое. Сощуренный пристальный взгляд сквозь седые брови. Выдвинутые вперед плечи. Согнутая спина и закинутые назад руки. Белая рубаха до колен свисала из-под расстегнутой телогрейки.

Журавлев кивнул:

— Здравствуйте, — и чуть потеснился, освобождая место.

Иннокентий тронул рыжий треух. Садился крехтя и придерживаясь за край чурбака. Пальцы были узловатые, сильные с толстыми горбатыми ногтями.

— Оклемались, значит? А шапку-то наденьте-ка, прохватит.

Журавлев усмехнулся:

— Да уж очухался кое-как.

— Суток двое, чай, в мертвецах были?

Иннокентий наклонился и снизу испытующе уставился в лицо Журавлеву: «А чего тебе известно?»

Муторно и тошно стало Журавлеву под его немигающим взглядом.

— Под утро сегодня бабка растолкала, — сказал он и постарался придать лицу безразличное, даже постное выражение. — Не помню, как добрался к ней.

Иннокентий покашлял, плюнул под ноги и растер землю подошвой.

— Значит, не помните. А я вот скажу — Нютка вас приперла, дочь моя. А так, извиняюсь, одни обутки от вас бы на сегодняшний день в тайге остались.

— Очень грустно, — улыбнулся Журавлев.

— Не весело. Пошто вас туда занесло?

— А я заблудился. Возвращался с буровых и заблудился.

— М-гы...

Журавлев незаметно посмотрел на Иннокентия. Трудно давалась ему дипломатия. Между бровей легла тяжелая складка и нос лоснился под солнцем капельками пота.

«Спросил бы прямо, кто и почему», — подумал Журавлев. Но Иннокентий не спросил. Он сдвинул на нос пушистый лисий треух, почесал в затылке и сказал:

— У всех дела. Все бегают, бегают. О себе подумать некогда.

— Да, когда тут... — неопределенно пробормотал Журавлев.

Иннокентий крался к главному окольными путями. После всего, что произошло вчера, Журавлев отлично понимал это и решил помочь ему.

— Мотают туда-сюда, — сказал он сердито. — К одним буровым, к другим буровым...

— А чо это они тебя мотают? — перебил Иннокентий. — Ты кто такой?

— А-а... слесарь, — небрежно сказал Журавлев первое, что пришло на ум. — Покою нет. То профилактика, то ремонт... Тьфу.

— Вон чо, — обрадовался Иннокентий. — Дак ты сосновский?

Он посмотрел на Журавлева и ухмыльнулся. Только взгляд оставался блеклым и пристальным.

— Не-е-т, я здесь с января всего. — Журавлев рассматривал руки. Они были черные, с коростами на пальцах и вокруг ногтей. — До этого в городе работал. Там, знаете ли, тоже...

— Да-а, — прохрипел Иннокентий. — Я понятие имею. Полжизни в лесхозе этом, в тайге. Палат каменных не нажил. Не люди добрые, так и до сих пор бы... Эй, уши распустила! Делать неча — корова не поена!

Журавлев поднял голову. Нютка торопливо прошлепала мимо. Она едва не задела его ведрами, и скрылась за углом. Иннокентий посмотрел ей вслед.

— Любопытная, стерва.

— Молоденькая, — сказал Журавлев и тоже посмотрел вслед Нютке.

— Моло-о-денькая, — прохрипел Иннокентий и пренебрежительно искривил рот. — Девятнадцатый год девахе. От науки любопытство. Вся порча от науки. Девять классов кончила, уче-е-ная... А чтоб тебя! Цыля! — он сорвался с чурбака и, не разгибаясь, шустро закосолапил к дому. В распахнутую калитку лениво переступала комолая корова, белая с черной отметиной между глаз.

— Цыля!

Журавлев тоже поднялся с чурбака.

— Может, доведет меня кто-нибудь до Сосновки? Некогда мне все-таки.

— А заходи попозже. С делами управлюсь — потолкуем. Свояк у меня гостил — днями в город собирается. Великого ума человек. Заходи, потолкуем.

Журавлев кивнул и пошел к бабкиному дому. По дороге и на взгорке бродили грязные куры. Облака вставали из-за горизонта темнобрюхие и мягкие. И Журавлев вдруг почувствовал, что смертельно устал.

2

Журавлев снова спал и проснулся лишь к вечеру. Старухи разошлись. Бабка сидела у окна, подперев кулаком морщинистую щеку.

— Выспался? — Она посмотрела на Журавлева долгим дрожащим взглядом и провела пальцами по волосам.

— Выспался, — сказал Журавлев. — Как вы чувствуете себя?

Бабка плохо слышала.

— Как вы чувствуете себя?

— А ничо. Я ить не хвораю. — У нее были грустные старческие глаза и она медленно моргала ими, глядя на Журавлева. — Сколь годов прожила — не хворала. — Она снова посмотрела в окно. — Испирину, помню, одну эту самую... ну, как?

— Таблетку?.. Таблетку, говорю?

— Вот... выпила еще давно... не помню. И не хворала. Без докторов прожила. Ну их. Поешь-ка вот, — она пощупала ладонью самовар, — горяченький.

— Спасибо. — Журавлев налил чай и пил его с молоком.

— Шаньгу пробуй — подружки нанесли.

Бабка смотрела, как Журавлев ел, и молчала. Потом снова сказала:

— Ну их, докторов. Морока с имя, — опять помолчала. — Помру скоро.

— Что вы, бабушка! Теперь вам еще сто лет жить.

Бабка затрясла головой:

— Не-е... Устала. Ноги не ходят и слышу никуда.

Она вздохнула:

— Старая... Шибко старая... Зажилась.

— Ну, ерунда, — сказал Журавлев. — Вы еще молодцом.

Ему было жаль ее. И щемило в груди горько и тревожно и больно, когда он смотрел на нее. Он знал, что говорит неправду и понимал, что ей эта неправда не нужна. Но он говорил потому, что так говорят всегда. И еще потому, что в этот момент ему до звериной тоски было жаль и ее, и себя, и все живущее на земле — недолговечное и все-таки бесконечное в своей повторимости.

— Вы еще молодцом, — сказал он, глядя в стол.

Бабка покачала головой и улыбнулась бесчисленными морщинками у глаз.

— Кто же на вашей кровати будет спать? — неловко пошутил Журавлев.

— Нютка будет. Нюткина мать мне ее подарила... Мягонько, говорит, тебе будет, мама...

— А где она сейчас?

— Кто это?

— Да мать Нюткина где сейчас?

— А-а-а... Нету. Море взяло. В туе же весну взяло... Мягонько, говорит, тебе будет... А нашто мне мягонько?.. Лягу на печку в тепло да и растаю... И нету меня.

Она снова смотрела в окно — сухонькая и опрятная в темной кофте и стареньком фартуке, собранном у пояса в оборку. Солнце светило низко и косо. Байкал за окном был ослепительным и розовым. И по нему ползли синие тени. И дали тоже были розовые и синие.

— Умная, а дура, — сказала вдруг бабка, не глядя на Журавлева.

— Кто это?

— А?

— О ком это вы?

— А Нютка все. Умная, говорю, а дура. Школу кончила, а дура. Сожрет ее ирод окаянный. Говорить с ей надоело...

Журавлев отодвинул чашку. Бабка рассуждала сама с собой. Ей не нужен был собеседник. Она просто думала вслух.

— Ушла бы от него да и вся... А я лягу на печку в тепло и растаю... Вот и ладно.. И нету меня...

Журавлев поблагодарил старуху за чай, накинул телогрейку и вышел. Было свежо и сладко пахло весной. Где-то бренчала боталом корова. Баба у дальней проруби полоскала белье. Было слышно, как мокро она шлепает им по воде.

В тени грязь уже прихватило холодом. Лужи вдоль забора блестели глянцевито и черно. В конце улицы мальчишки играли в войну. Оттуда доносился стук палок и вскрики.

Журавлев чувствовал себя окрепшим и сильным. Он прошел мимо пылающих закатом окон к избе Иннокентия, поднялся на крыльцо и толкнул дверь.

— Здравствуйте.

Иннокентий кивнул головой. Они сидели за столом — Иннокентий и тот второй, чей плюгавый голосишко Журавлев слышал накануне. И было странным, что этот второй оказался почти таким, как представлялся Журавлеву. На нем был серый кургузый пиджачок и такие же брюки, заправленные в кирзовые сапоги. Синяя в полоску сорочка была распахнута вверху и углы воротника закрутились в дудку.

— Свояк мой, — сказал Иннокентий. — Познакомься-ка.

— Степан.

У него была цепкая влажная рука и Журавлев незаметно вытер ладонь о брюки.

— Рад видеть вас здоровым, — сказал Степан. — Рассказал мне Иннокентий о ваших бедах.

Мягкое лицо его выражало доброжелательность и сочувствие, а глаза смотрели бесстрастно.

— Присаживайтесь. Иннокентий чаем грозился напоить.

— Будет чай, — сказал Иннокентий, и через плечо скривился на дверь. — Садись пока.

— Я пил уже. Спасибо.

— Мало чо, — усмехнулся Иннокентий. — Еще можно.

На столе стояла тарелка соленого сала, квашеная капуста, на белой дощечке — крупные ломти хлеба.

Степан выдвинул из-под стола табуретку.

— Чай не водка — душу веселит. Счастливо кончилось все у вас — вот что главное.

— Да, могло быть хуже, — сказал Журавлев и садясь, сверху посмотрел на Степанову лысину — блестящую, с голубыми жилками и беленькой порослью на затылке. — Жалко, времени потерял много.

Степан махнул рукой:

— Не стоит жалеть, вот что.

Журавлев обежал глазами комнату: две кровати, сундук под цветным паласом, над ним тулка и патронташ, на окошке — керосиновая лампа с задымленным стеклом.

Нютки дома не было. Он заметил это сразу.

— Не надо жалеть о потерянном времени, — повторил Степан. — Это только кажется, что время потеряно. — Он торопливо погладил край стола. На клеенке остался влажный след пальцев. — Человек ничтожен, а мир суетен, скажу я вам. Поэтому надо думать, каждая минута, отданная размышлению — благо.

— Кто его знает. Может, и благо, — уклончиво сказал Журавлев. Он чувствовал, как дрожит каждая жилка в напряженном теле и кровь горячими толчками бьется в висках.

Журавлев почти наверняка знал, как этот плюгавый поведет дело и ломал голову на тем, где сейчас Нютка. Она была просто необходима ему сейчас. Он хотел, чтобы она была здесь при разговоре. Он хотел видеть бегущий взгляд ее рыжих удлиненных глаз и знать, как она будет реагировать на все, что скажет Степан. Ему было просто необходимо видеть ее в эту минуту.

«Не нужно быть пророком, чтобы знать, как пойдет дело дальше, — думал Журавлев. — Сначала бог, потом сатана, потом коммунизм — исчадье ада. Фиг тебе на постном масле, мокрица несчастная».

Журавлев под столом еще раз вытер ладонь о колено.

— Может, конечно, и так, кто его знает, — безразлично повторил он, и поставив локти на стол, подпер кулаками подбородок.

— Да, та-а-к, так, — Иннокентий сердито махнул на Журавлева рукой. — Как он скажет — так и есть. Большого ума человек.

Журавлев пожал плечами. Он слышал, как открылась дверь. Нютка снимала у порога сапоги. Даже не оборачиваясь, Журавлев знал, что это она. Он чувствовал это по легким шагам и по тому, как влажно и цепко, будто нацелившись, смотрел в ту сторону брат Степан.

— Самовар давай, — буркнул Иннокентий. — И возишься и возишься...

Журавлев слышал, как хлопнула дверь и затихли Нюткины шаги.

— Да. Так вот, — Степан перегнулся через стол. — Скажем, вы интеллигентный человек, правильно?

— Слесарь я.

— Все равно. Вот вы слесарь, да? А времени у вас никогда нет. Все работа и всякие дела. По дому, скажем, дела.

— Работы много, конечно.

— Ну вот видите. А когда человек так занят, у него нет возможности для размышления о порядке вещей. Он сам себя обкрадывает. Так что радуйтесь, что представилось вам время, и не думайте, что оно потеряно. Неправильно это.

— Это о каком же порядке вещей?

— Трудный вопрос. С бухты-барахты на него, надо думать, не ответишь. Но попробовать, конечно, можно. Вот, скажем, в бога вы не веруете, так?

— Ни в бога, ни в черта.

— Вот видите. Многие в бога не веруют...

Нютка протопала через кухню и поставила на стол самовар. Дверь осталась открытой и оттуда тянуло свежестью. Самовар шипел занудно и сердито. Сквозь нижнюю решетку просвечивали красноватые угли.

— Так вот. В бога не веруют, а под ним ходят. И, как правило, потому не веруют, что не задумываются над порядком вещей. Времени к тому же не имеют, чтобы задуматься над словом божьим. И странно, скажу я вам, промысел божий принимают за слепой случай.

— Да?

— Да-а. Вот вы живы-здоровы?

— Кажется.

— Ну вот. А не окажись в Черемшанке ее, — ткнул пальцем в сторону Нютки, — где бы теперь были?

— Ну, ее, конечно. А причем здесь бог?..

— А как же? Вы говорите — случай, а я считаю бог. Значит, не хотел он допустить, чтобы вы погибли. Им судьба человека предопределяется от рождения и до скончания. Могли вы, к примеру, чего-либо изменить в своей судьбе, когда в тайге лежали? Нет. А он распорядился и вот мы с вами разговариваем. — Лицо у Степана лоснилось удовольствием. — Вот и говорю — все от бога. Сказано: «Разве может глина сказать мастеру, сделай из меня такой сосуд. Нет, мастер сам определяет, какой сосуд создан на честь, а какой на нечесть». И ваша судьба, будьте уверены, предопределена. Я бы сказал, тут есть над чем подумать. Может быть, все несчастья были ниспосланы им на вас, как испытания, чтобы через них вы пришли к нему? По-вашему, случай, а по-моему бог. Да.

Степан сокрушенно покачал плешивой головой и в углах губ появились слезные складки.

— Вот вы улыбаетесь. А зря. Легко смеяться над тем, чего не знаешь. Не сразу

доходит весть до сердца, вот ведь в чем дело. А я хотел бы познакомить вас с несколькими интересными пророчествами, потому что... Нет.... Нет, — Степан поднял руку, останавливая Журавлева. — Не о душе вашей пекусь, потому что нет ни рая и ни ада, а тело человеческое с душой неразделимо и умирают враз. — Степан вцепился пальцами в руку Журавлева и подался к нему. — Но в день всемирной страшной битвы святого воинства Христова с силами сатаны воскреснут уверовавшие в Иегову. Что же касается боязливых и неверных... — Степан покосился в сторону Нютки. Она стояла у окна и Журавлев видел ее профиль, замкнутый и четко оконтуренный закатом... — Их участь в озере, кипящем огнем и серою. Под этим подразумевается смерть вторая, вечное уничтожение. Вечное!

— Жарите, как по писаному.

— Большого ума человек.

— Оставь, Иннокентий, — и снова Журавлеву:

— А битва Христова воинства с силами сатаны близка. Все говорит о том. Подумайте только. Болезни явились, каких никто раньше не знал? Рак, например. Страшная болезнь, да?

— Ну-ну.

— Войны все чаще и чаще. Атомная бомба появилась. Страх охватил людей. Пытаются спастись от грядущей войны всякими разговорами и комиссиями. Пытаются? Ну вот. А того не знают, что спастись от предначертанного Иеговой суждено лишь тем, кто уверовал в него. Разве не кажется вам, что здесь есть над чем подумать и сопоставить порядок вещей?

— Подумать, конечно, стоит,—сказал Журавлев.

— Вот, вот! — Степан тыкал пальцем в стол. Глаза его округлились еще больше. — Потому и говорю — не жалейте времени. Оно не потеряно. Думайте, думайте. Сердцем примите весть божью и откроется вам сокровенное. И скажете вы: ты велик, Иегова. А в день последней страшной битвы святого воинства с силами сатаны — спасетесь или воскреснете. И будете жить в царстве, где не будет границ. А земля примет новый вид и красоту, какую представить себе нельзя.

— Да-а, — сказал Журавлев. Он смотрел в стол и у него было насупленное в раздумье лицо. — Значит, всемирная битва? Неизбежная?.. Совершенно неизбежная?

— Совершенно неизбежная. Погибнет в ней все сатанинское от руки воинства сына божья, а все уверовавшее спасется.

— А не уверовавшее?

— Говорю: погибнет со всем сатанинским вместе. Какая глупая мысль, будто можно избежать этой битвы, если предопределена она свыше!

Журавлев высвободил руку из-под влажных пальцев Степана.

— Хорошенький выбор. Уверую — спасусь, не уверую, не спасусь и не воскресну. А? — Он поднял лицо и посмотрел на Иннокентия, потом на Нютку. Морщины разгладились и глаза смотрели насмешливо. — Морочишь ты голову, дядя, честным людям. Нехорошо как-то.

Лицо у Степана стало по-бабьи скорбным.

— Не сразу доходит слово божье. Требует размышления и времени.

— Ну да, так ведь от меня зависит: уверую — спасусь, не уверую — не спасусь? Так? Ну, так чего ж тут размышлять? Брешешь все, как сивый мерин.

Степан привстал из-за стола. У Иннокентия на скулах разгорались горячие пятна.

Журавлев видел, как Нютка, полуобернувшись, напряженно уставилась в сторону стола. Закат искрами вспыхивал в пушистых волосах, а лицо было в тени.

— Конечно, брешешь, — насмешливо сказал Журавлев. — Как же я могу по своему желанию спастись или не спастись, если судьба моя уже от рождения предопределена? Разве может глина сказать мастеру «сделай из меня такой сосуд». Мастер сам все предопределил, а?

Журавлев улыбался и потирал ладонью подбородок. Степан опустился на табуретку и на клеенке там, где опирались его пальцы, остались влажные следы. Они матово тускнели на голубом клеенчатом поле и медленно исчезали, будто стаивали.

Журавлев тронул Степана за плечо.

— И не старайтесь. Сколько ни возвещай царство — гореть вам в сере, потому что от рождения судьба предопределена. От рожде-е-ния. Есть над чем подумать, а?

Степан покривился, высвобождая плечо.

— Сомнения гложат вас, вот и говорите такое. Надо сердцем принять господа и тогда откроется все.

— Налей-ка чаю, — сказал Иннокентий и пододвинул чашку. — Стоишь там.

Нютка кинулась к столу. Журавлев на минуту перехватил на себе ее любопытный взгляд.

Нютка разливала чай. Она стояла очень близко, так что Журавлев улавливал полынный запах ее тела.

— Сердцем надо понять много, это точно, — сказал Журавлев. — Между прочим, в

Советском Союзе принят закон, запрещающий пропаганду войны. Слышали?

— Это война божья, — неохотно отозвался Степан и шумно отхлебнул чай. — О том поговорить, думаю, еще будет время.

Журавлев смотрел в кружку и тонко улыбался.

— Ладно, будет так будет. Выбираться отсюда мне надо. Когда вы идете?

— Скоро. Еще день задержусь, может, — сказал Степан и пошлепал губами: горячо.

— Ну, день — куда ни шло.

За окном заметно синело и сумерки выползали из углов. Нютка сидела на лавке возле окна и Журавлеву казалось, что глаза ее смотрят на него с любопытством.

XI

То была удивительная весна! Нютка впервые в жизни до боли остро чувствовала, как пахнет земля и прошлогодние листья — черные и мокрые в низинах, сухие и серые на взлобках среди берез и осинника. Они пахли грибами, дождями и еще чем-то неуловимым и тонким, напоминавшим детство и солнечные облака, похожие на журавлей. И Нютке становилось грустно и сладко. И хотелось сидеть на солнцепеке и думать ни о чем. Тогда она слышала, как выпрямляются былинки, как в сосняке гудит первый шмель и ощущала на щеках дыхание ветра, который доносил из распадков и с горных вершин запах талого снега.

Ей не хотелось заниматься делами и было муторно идти во двор, где у стайки лежали кучи навоза и по грязи отпечатались косолапые следы степановых сапог. Но она ходила и делала все, что было нужно. И весна попрежнему была с нею. Или в ней самой? Она не знала и не умела объяснить этого. И просто боялась, что все это может вдруг исчезнуть и не вернуться.

Так уже было. Щурясь от дыма, она раздувала самовар. Наверное, попали сырые лучины и он не хотел разгораться. Это было утром после того, как она встретила Журавлева у проруби. Она разжигала лучины и думала, где Журавлев сейчас. А потом обернулась и увидела Степана. Два близкопосаженных пристальных глаза ощупывали ее жадно и метко, как ружье.

Нютка испугалась и вздрогнула. Брат Степан отвернулся и скрылся во дворике за стайкой, а Нютке показалось, что кончилась весна. Исчезли запахи, звуки и она стала нищей.

Она очень боялась, что все это когда-нибудь может исчезнуть совсем и не вернуться. И весь день жадно прислушивалась к себе. А потом пришел Журавлев и Нютка забыла об этом.

— Прохиндей, — сказал Иннокентий. — Дрыхнуть пошел. — Он, согнувшись, протопал по комнате. — Лампу засвети, Нютка.

Брат Степан положил перед собой библию.

— Не суди заблудших своих.

Он ждал, когда под стеклом затеплится желтый огонек и листал страницы. По стенам метались летучие тени. Было слышно, как шелестят они и как пыхает в лампе огонь.

Иннокентий выдвинул табуретку и показал на нее Нютке. Сам сел напротив. В ожидании рассматривал заросшие жесткой щетиной кулаки.

— Вот, — Степан посмотрел на Нютку, потом на Иннокентия. — Продолжим на чем остановились: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет»...

Нютка плохо слушала. Она разглядывала Степанову лысину, ползущий по строчкам мясистый палец с грязной каймой под ногтем, захватанную руками обложку журнала. Журнал лежал с краю стола. Он был повернут боком и Нютке пришлось наклонить голову, чтобы прочитать:

Башня стражи
возвещает царство Иеговы.

— А теперь обратимся к единственному верному толкователю святых пророчеств. — Степан придвинул журнал. — Напомню для начала толкование: «Страх объял это поколение. Русский народ находится под страхом. Как наивысший пункт этого переходного времени, наступит битва армагедон. И горе, — Степан поднял палец. Голос был взвизгивающий и страшный. — Го-о-ре тем, которые армагедон считают злом, а свои подлые дела добром».

Он помолчал, уставясь в стол выпуклым недвижным взглядом, потом протянул Нютке журнал и сунул пальцем в мутные строчки.

— Читай здесь.

Нютка подперла ладошками щеки.

— «Да так велико и ужасно будет проявление моей божественной мести, что даже рыбы и птицы и все, что пресмыкается по земле, да так же и весь человеческий род потрясется и вострепещет!..»

Взгляд бежал все ниже и ниже по странице:

— «Та бойня будет так ужасна, что мертвые, как навоз, разбросанные по полю, по-

кроют поверхность земли... После кровавой битвы армагедона переживших бы мучили болезни... Потребуется семь месяцев, — так говорит Иегова, — чтобы закопать кости»...

Она читала машинально, не вслушиваясь в слова. И думала, что нечистый, наверное, похож на мохнатую злую дворнягу, которую держала в школе сторожиха, что в Сосновке вдоль улиц зажигаются и зябко дрожат в лужах фонари, что в клубе играет оркестр, а бородатые геологи балагурят и смеются с девчатами у высокого, на три стороны крыльца.

И ей становилось жалко и себя, и отца, и весну, что проходит стороной. И было страшно оттого, что все это может вдруг кончиться в кипящем чаду и смраде, которым грозили тусклые строчки. И Нютка начинала вслушиваться в них и ей казалось, что она когда-то уже слышала или читала об этом. Или видела в кино. Или это было во сне. И там тоже горела земля, и бежали обезумевшие люди, и сквозь дым не могло пробиться даже солнце.

И слова приобретали значимость, зримость, и казались единственной правдой, от которой никуда не скрыться и которой не избежать. И Нютка с ужасом думала о том, что человек ничтожен и что над ним от века нависает что-то черное и страшное, как бесконечная ночь, приход которой предсказали древние пророки. И что только они знали, как спастись и укрыться от этого кошмара.

Нютка чувствовала, как у нее немеют пальцы и ужас подступает к горлу колючим и душным комком. Она вздрогнула и подняла от книги ошалелые глаза, когда отец двинул табуреткой. И увидела его лицо с исступленно блестящими сквозь брови глазами и обостренными скулами.

Степан сидел, опустив голову на сдвинутые кулаки. На лысине лежали желтые блики керосинового света и белые волосики задиристо набегали на воротник. Вдруг он встрепенулся и глаза его мутно заблестели:

— Вот-вот. Страшно будет. Стра-а-шно. Погибнет все, что служит сатанинскому царству. Вечное уничтожение. Огонь и сера... — Он провел по лицу пятерней и, уставясь, долго и не мигая смотрел на Нютку. — Перепиши толкование. В памяти от того божьи мысли остаются лучше.

Он встал и отошел к окну. Уродливая кривобокая тень ползла по стене и легла на оконные стекла. За ними было черно и звучно билась капель, и гулко лопался под берегом лед.

Иннокентий выбрался из-за стола. В шкафчике на стене отыскал пузырек с чернилами и сломанную вдоль тетрадку.

— Возьми.

Нютка склонилась над бумагой. Пальцы плохо слушались и строчки ложились неровно. Она слышала, как тяжело прошаркал за спиной отец и остановился рядом с братом Степаном. Второе окно — темное и блестящее — было наискосок от Нютки. В нем отражалось ружье над сундуком, согнутая спина Иннокентия и плечо Степана. Нютка видела, как отец протянул белый квадратик. Потом за спиной зашелестела бумага и Степан негромко сказал:

— Да-а. Пуст твой отчет... — Он говорил слишком тихо. Едва можно было понять. — Не о спасении своем думаешь. Сказано: приобщи четырнадцать заблудших и спасешься. А у тебя?..

Шаркнули подошвы. В стекле напротив отражалась согнутая фигура Иннокентия. Он обернулся к Степану и смотрел на него снизу, выставив подбородок и заложив руки за спину.

— Попробывай.

— Плохо говоришь, брат Иннокентий. Нехорошо говоришь. В несчастье к людям приходи. В несчастье сердце мягчает. Поищи нужное слово — оно тебе и откроется.

Нютка не писала. Она вслушивалась в тихий говор за спиной и смотрела, как расплывается по бумаге чернильная клякса — круглая и колючая, похожая на ежа.

— Пойди завтра на лесосеки, — сказал Степан. — Прогуляйся. Знакомых навести. Радостно навещать знакомых. А ты, думаю, редко навещаешь, а?

Иннокентий вздохнул и присел на сундук. Всклокоченная горбатая тень закрыла ружье, патронташ и всю стену до потолка.

— Ближний свет мне с такими ногами. Весна как-никак.

Степан забарабанил пальцами по стеклу.

— Весна, брат Степан. Видел, вербы цветут? Пушистенькие такие, а?

И Нютка снова вспомнила, как в Сосновке зажигаются и зябко дрожат огни, и крупные звезды висят низко над полутемными дворами, и в сумраке калиток слышится шепот влюбленных.

V

1

Нютка бросила под ноги вязанку и села на нее.

— Я предлагал тебе помочь, — сказал Журавлев. — Напрасно упрямишься.

— Не нужно. Я сама.

Сено под Нюткой примялось и колени были высоко подняты. Она натянула юбку и обхватила их руками.

— Зачем вы вчера сказали неправду? — Она испытующе уставилась на Журавлева.

— Почему же неправду?

— Неправду. Вы же не слесарь.

Журавлев улыбнулся.

— Ах, вот что. Откуда ты знаешь, что я не слесарь? — Он стоял, опираясь на палку, и смотрел на ее раскрасневшееся от ходьбы лицо и на тонкие пальцы, сплетенные на коленях. — Я, кажется, не говорил тебе об этом.

— Подумаешь. Я и так знаю. — Она отвернулась и смотрела теперь мимо Журавлева туда, где сквозь низкорослый соснячок виднелась сверкающая под солнцем равнина.

— Интересно, — сказал Журавлев.

Нютка молчала. Потом снова подняла лицо.

— Помните, когда я вас нашла, да?

— Нет, не помню. Я вообще очень мало помню из того, что тогда было.

— Ну да. Так вот. Когда я вас нашла, я подумала, что вы уже совсем мертвый. Расстегнула фуфайку и стала щупать там, где у вас сердце, знаете?

— Знаю.

— Ну вот. А у вас там карман. В рубашке. Да?

— Понятно, — сказал Журавлев. — В нем документы лежат.

— Я тогда их не посмотрела, а уже потом, у бабушки. Когда поила вас молоком, помните?

— Ну и что ты скажешь?

Нютка пожала плечами:

— Зачем вы отцу сказали, что слесарь?

Журавлев переступил с ноги на ногу.

— Видишь ли, я думал, что он не захочет со мной говорить, если узнает, где я работаю. И ты тоже не захочешь.

— Я-то знала. А он не захотел бы. — Нютка вытянула из вязанки соломину и, покусывая ее, смотрела под ноги.

— Вы шибко любопытный. Понапишите потом чего-нибудь.

— Совсем нет. Не понапишу. Я просто не понимаю, зачем ты веришь во всякую дребедень?

Нютка оперлась подбородком о колени и, глядя искоса на Журавлева, сказала:

— А разве нельзя? Верить никому не запрещается.

— Да, конечно, — сказал Журавлев, — не запрещается.

Он отбросил палку и присел на обомшелый валун. Камень был теплый и сидеть на нем было удобно и спокойно.

— Только иеговизм — это не религия.

— Вот еще!

— Не религия. Это политика.

— Вот еще.

— Вот тебе и вот еще. Это для твоего отца он — религия. А для тех, кому нужно, чтобы в него поверило побольше — это политика.

— Кому это нужно?

Журавлев усмехнулся.

— Наверное, не мне. Как думаешь?

Нютка повела плечом.

— Смотри, как забавно получается, — сказал Журавлев. — Этот ваш Степан, он что, верно твой родственник?

— Да нет... так. Не совсем.

— Ну вот, видишь, как забавно получается. Живет человек в нашей стране, как говорится — сало русское ест, а доказывает, что все это сатанинское.

Нютка сидела все так же, покусывая соломинку и глядя вдаль. В ее глазах светилось солнце и они казались золотистыми и горячими, как огоньки.

— А раз сатанинское, то погибнет, да?

Нютка кивнула головой.

— Вот и соображай, кому это нужно. Мы говорим, что войны может не быть, а он говорит, что война от бога и священна. Кому это надо, чтобы побольше людей в такую войну поверило?.. Соображай.

Было слышно, как в логах оседает снег и кричат за перелеском петухи. Журавлев смотрел на Нютку и думал о том, что у нее симпатичное лицо и красивые руки, и что чем-то совершенно неуловимым и далеким она похожа на Анну.

— Вы читали «Овода»?

Это было неожиданно и странно. Нютка спросила Журавлева, не поворачивая головы и не глядя на него.

— Да. А что?

— Так. — Она поднялась и легко перекинула вязанку через плечо. Тропинка была слишком узкой, чтобы идти рядом.

— Я бы на твоем месте послушался бабку и ушел отсюда, — сказал Журавлев. Он шагал следом за Нюткой и остро чувствовал горьковатый запах сена. — Ты умная девчонка и я не верю, чтобы ты не понимала всей глупости того, что происходит.

Она молчала и Журавлев сказал:

— И с отцом поговорить постарался бы.

— С ним не нужно говорить, — сказала Нютка, не оборачиваясь. — С ним нужно было говорить раньше.

— Когда раньше?

— Не знаю. Он работал тогда в лесхозе, а я училась в школе. В Сосновке...

Нютка долго шла молча, потом сказала:

— Он очень пил, когда утонула мама. А потом приехал и забрал меня. И уже не пил, а всем рассказывал о боге и вообще.

— И тебе?

— И мне.

— И что же ты?

— Ничего... Жалко мне его. Не ходите со мной дальше.

— Почему это?

— Так. Не хочу я, чтобы отец видел.

— Хорошо, — согласился Журавлев. — Я подожду тебя.

— Зачем. — Это не был вопрос. Так говорят — «нет».

— Ты же собиралась идти снова.

— Ну и что?

— Я подожду тебя.

Нютка не ответила. Журавлев остановился и смотрел ей вслед. Тропинка свернула и Нютка скрылась за кустами. На них осталось несколько сухих травинок и Журавлев видел, как сиротливо они шевелились и покачивались на ветру.

Он ждал ее долго. Нютка уже дважды могла сходить туда и обратно, но ее не было. Журавлеву надоело ждать и он пошел. Там, где тропа лежала по взгоркам, земля уже притопталась и подсохла, а в низинах стойко держалась грязь и по ней четко отпечатались следы Нюткиных сапог. Журавлев старался идти след в след, но это плохо получалось. Он все время думал, почему она не пришла и сбивался с шага.

Странная девчонка. Журавлев думал о ней все время. Даже ночью, лежа в душной темноте бабкиной избы. Он не закрывал глаз и видел черное, запорошенное звездами окно. И вспоминал Нюткино лицо. И полынный запах, который он уловил в тот момент, когда она расставляла на столе кружки.

У него весь вечер держалось странное ощущение, что ей хочется заговорить с ним. Оно появилось в тот момент, когда во время разговора со Степаном он вдруг перехватил на себе ее напряженный взгляд. И с той минуты это ощущение больше уже не покидало Журавлева. И он смотрел на черный квадрат звездного неба и думал, что утром нужно непременно увидеть ее и попробовать разговорить. Он так и подумал: «разговорить».

Журавлев не помнил как уснул, а утром столкнулся с ней на этой самой тропе, когда, набродившись, возвращался домой.

До зарода, откуда Нютка носила сено, было довольно близко. Метров триста, может быть. Но если идти по размытой земле не спеша — это далеко и долго. И он пошел вместе с Нюткой...

Тропа кончилась вдруг, так же, как и лес. Журавлев оказался перед Нюткиным домом и сразу увидел ее. Нютка отметала от калитки сор и даже не взглянула на Журавлева.

— Чего ж ты не пошла?

— Так.

— Я ждал тебя.

Она пожала плечами и отвернулась.

— А-а, гость, — Иннокентий стоял на крыльце и, скособочась, пристально смотрел на Журавлева. — Здравствуй-ка.

— Здравствуйте. Ну что, собирается ваш свояк?

— Будто собирается. Завтра однако. Только зря.

— Почему зря?

— Заметелить может.

— Вот как!

— Да так. Не ошибался еще.

Журавлев посмотрел на небо. Оно было за полдень — чистым, спокойным и неярким. Лишь несколько прозрачных и легких облаков стремительно мчались над головой.

— Не похоже.

Иннокентий хмыкнул.

— Не важно — похоже ли нет. Может, зайдешь?

— Попозже, — сказал Журавлев, — спасибо. Находился очень.

— Заходи, заходи. — Иннокентий миновал калитку и закосолапил вдоль улицы. У последних домов он свернул в гору и скрылся из виду.

Ночью Журавлева разбудил стук и он не сразу сообразил, где находится. В избе было темно. Снаружи шальной ветер бился о стекла и рвал ставни. Кто-то в сенях шарился по двери, отыскивая скобу. Потом сквозь непогоду Журавлеву почудился не то стон, не то плач. Он подумал — ветер, но странный звук повторился и согнал Журавлева с топчана. Вытянув перед собой руки, натыкаясь впотьмах на углы и лавки, Журавлев бросился к двери и распахнул ее. В комнату ворвался холод и стало слышнее, как мечется и воет вокруг избы ветер.

2

Кто-то с грохотом рванул крышу, затопал по чердаку и яростно завозился в трубе. Потом на минуту все стихло. Стало слышно, как

з печи с шорохом остывают угли. И вдруг все началось снова. Шальной ветер осатанело ломился в дверь, носился под крышей и дребезжал стеклами.

Нютка подбежала к окну. За ним было серо и белые мухи стремительно и косо летели мимо. Нютка видела, как мечутся они по земле и бьются о подоконник.

— Теперь не вернется, — сказал Степан.

Нютка не слышала, как он подошел. Степан стоял очень близко и тоже смотрел в окно. Нютка затылком чувствовала его дыхание и боялась повернуться.

— Заночует в лесхозе, если еще не вышел. Не бойся.

Нютка, не оборачиваясь, скользнула вдоль окна и в сени, потом на крыльцо. Ветер подхватил ее и перенес через двор. Дверь в стайку хлопала и раскачивалась, как флаг. Нютка приперла ее поленом и по шаткой лесенке взобралась на сеновал.

Вокруг свистело, шуршало и выло. Нютка безуспешно пыталась разглядеть дорогу. Дороги не было. Не было ни земли, ни неба. Не было ничего, кроме сумасшедшей белой кутерьмы, поглотившей мир. И Нютка тоже подумала, что отец не придет. «Хорошо, если еще не успел выйти», — подумала она, и покрепче захлопнула дверцу сеновала, чтобы туда не намело снега. Потом она с трудом добралась до крыльца. Исхлестанное ветром лицо и руки и все тело под тоненьким ситцевым платьем начали гореть, едва она ступила через порог.

Степан лежал на кровати лицом к стене и даже не повернулся, когда она вошла. Нютка взглянула на его тщедушную спину, на подогнутые ноги с желтыми пятками и, скинув сапоги, неслышно прошла к печке. Она прислонилась к ее темному боку спиной и смотрела в окно, мимо которого со свистом летели белые стрелы.

Сквозь них едва различимо виднелась крыша бабкиного дома, и треугольный навес над крыльцом, и часть двери, черной от старости.

Нютка думала о бабке, о том, что так и не забежала к ней сегодня и еще о том, что все равно не смогла бы сделать этого, потому что зайти — значило встретиться с Журавлевым.

Спит, — думала она, — находился. И снова пыталась представить его себе. Не таким, как нашла в Черемшанке — растерзанным, черным и бородатым. И не таким, как увидела вчера, когда он стоял у проруби, сунув руки в карманы и подняв ей навстречу крепкоскулое и черноглазое лицо с розовым шрамом от угла губ к подбородку. Она пыталась представить себе, как он выглядит в городе, но из этого ничего не получалось. Просто она не могла его представить себе по-другому — в другой одежде, в другой обстановке. Сильный и крепкий, он в ее воображении никак не втискивался в узкие брюки и пиджачишко, потому что сразу становился похожим на щуплого директора школы из Сосновки. И она ничего не могла с этим поделать. И думала, что в свитере и сапогах он внешне ничем не отличается от тех пришлых, кого она видела в тайге раньше. От геологов, буровиков, студентов-охотоведов, которые летом приезжали на практику в Сосновку.

И все-таки он был не похож на тех, кого она видела раньше. Она не могла себе объяснить, в чем была эта разница. Или в том, как он говорил с ней — очень серьезно и не пытаясь острить. Или в том, как смотрел — очень открыто и прямо. Не на губы, не мимо, а прямо в глаза — очень спокойно и уверенно. Она чувствовала, как у нее бледнели щеки, когда он смотрел так. И потом этот шрам. Он придавал лицу выражение насмешливого превосходства и это пугало ее.

Дура и все. Интересно, отчего у него этот шрам?

Она смотрела на угол бабкиной двери, уже едва различимой сквозь снежные сумерки, и думала, что если Журавлев откроет ее, то она еще сумеет его разглядеть. Очень плохо, но все-таки сумеет. Она не знала, почему, но ей очень хотелось еще раз увидеть его сегодня.

А Степан посапывал и шлепал во сне губами. И ветер ярился и сумасшедше метался за стенами. И сумерки стремительно темнели и серым снегом лепились к окошку.

Нютка собрала со стола тетрадь, захлопнула толкование божьих пророчеств и убрала пузырек с чернилами в шкаф. Потом она долго лежала с закрытыми глазами и слушала, как воет на улице, и что-то шуршит и осыпается в трубе.

И ей казалось, что кончилась весна, вернулись зимние метели и снега у крыльца набралось столько, что дверь невозможно открыть. И она толкала ее плечом и коленями, но дверь не поддавалась. А потом вдруг повалилась на нее и придавила к полу. Стало трудно дышать и невозможно было двинуться. И Нютка чувствовала на себе чьи-то руки. Они жадно ощупывали ее. Плечи, грудь, потом стали шарить около пояса. Нютка рванулась и в кромешной темноте прямо у своего лица увидела серое пятно и услышала горячее со свистом дыхание. Она сжалась и высвободила руку. И локтем ударила в это серое со свистящим дыханием пятно. И когда оно откачнулось в сторону, вцепилась в него ногтями. Отчаянье

сдавило горло и не давало крикнуть. Но оно дало ей силы повернуться набок. И Нютка услышала, как Степан треснулся коленями об пол и замычал что-то, пытаясь оторвать от лица ее пальцы. Но она не отпускала и с отчаяньем била босыми ногами куда попало, пока он не выпустил ее руки. И тогда Нютка, не помня себя, бросилась к двери.

Она бежала и ветер валил ее с ног. И хлестал по лицу, обнаженным плечам и спине. А вокруг была беспросветная ревущая мгла. И Нютка падала и снова вставала и бежала, не чувствуя боли в босых ногах. И задыхалась шальным ветром.

Она очнулась на земле между гряд на чьем-то огороде. И пошла вдоль плетня, держась за него руками, как пьяная. Ее колотил озноб и зуб не попадал на зуб. И по щекам текли слезы и застывали на ветру. Она еле ступала по мерзлым комьям и проваливалась сквозь лед в тех местах, где на межах застоялась вода.

Потом она перелезла через жерди и оказалась возле какого-то приземистого строения. На крыше грохотало оборванное железо и Нютка вдруг сообразила, что это баня. Спотыкаясь, она обошла ее, дотащилась до бабкиной калитки и с трудом взобралась по заснеженным ступеням. На них остались босые следы ее ног и пятна крови, которые утром рассмотрел Журавлев.

VI

1

— Я пойду к Иннокентию, — сказал Журавлев. — Не знаю, что там произошло, но здесь без врача не обойдешься. Пусть он сходит.

Бабка посмотрела на Журавлева блеклым дрожащим взглядом и отвернулась.

— Не-е... не пойдет. Сами отводимся. Без докторов.

Она сидела на краешке кровати и временами перевертывала у Нютки на лбу влажное полотенце.

— Отво-о-димся... Малинкой вот...

У Нютки было красное воспаленное лицо и сухие почернелые губы. Полночи она металась и несвязно бормотала что-то о снеге... о снеге... о снеге...

Журавлев отошел к окну. Он слушал тяжелое Нюткино дыхание.

— И будешь ты одинокая моря рыбка, — приговаривала бабка, будто рассказывала сказку.

Журавлев решительно натянул шапку и вышел в зябкое и ветреное предрассветье. Земля гулко звенела под сапогами. Ежась от холода, Журавлев поднялся на крыльцо. Ему показалось, что в крайнем окне мелькнуло и пропало чье-то бледное и плоское лицо. Он отворил дверь.

— Мне нужен Иннокентий.

— Нет его, — Степан пил чай и не обернулся, когда Журавлев вошел.

— Где он?

Степан пожал мягкими покатыми плечами.

— Явится. К обеду, может.

Журавлев протопал через комнату и остановился за спиной Степана. Некоторое время он молча смотрел на его лысину, на согнутую тщедушную спину и руки. Журавлев видел, как вздрагивали пальцы, державшие стакан.

— Что здесь произошло?

— А ничего.

— Как ничего? Нютка...

— Ничего, — перебил Степан. — Сказано: «Да распорядится отец телом отпрыска своего». И вам здесь вмешиваться нечего. — Он сказал это сварливо и неохотно.

— Ну вот что — где Иннокентий? — Журавлев положил руку на плечо Степана и заставил его обернуться. — А-а... Блестяще! — Он насмешливо разглядывал его злое, перекошенное лицо. На щеках и лбу бугрились царапины, глаз затек и рот отвис набок. — Вот это вывеска!

Степан вскочил и, сжав кулаки, остановился перед Журавлевым.

— Ты... ты... ты...

— Не психуй, — сказал Журавлев. Очень спокойно сказал. Он сунул руки в карманы и смотрел на Степана сверху, как на подростка. — Мокрица несчастная. Вот, видел? — Кулак был небольшой, но достаточно крепкий. Степан оценил его правильно.

— Уходи отсюда, — сказал он.

— Ей нужен врач. Совершенно немедленно

— Уходи. Я скажу Иннокентию, когда он вернется.

— А, может быть, ты сейчас проводишь меня в Сосновку?

— Я скажу Иннокентию, когда он вернется, — упрямо повторил Степан.

Журавлев смотрел на его обозленную физиономию и думал, что если Степан не захочет, заставить его пойти все равно будет невозможно.

— Хорошо. Но если он не вернется через час, мы пойдем с тобой. — Журавлев ткнул пальцем ему в грудь. — С тобой, понимаешь?

Степан не ответил.

— Учти это, — сказал Журавлев. — И я тебя найду под землей...

Он долго стоял у калитки, не зная, что предпринять. Если добраться туда к вечеру, то врач будет только утром. Нужно, чтобы он был здесь к вечеру. Самое позднее. Малинка — это не лекарство. Если б найти норсульфазол, пирамидон, горчичники или еще что-то хоть мало-мальски подходящее...

Он наколол во дворе дров.

Можно было бы поставить банки. Стаканы хоть что ли! Он плохо представлял себе, как это делается. Кажется, для этого нужен спирт.

Журавлев принес дрова и осторожно положил их у печки. Нютка по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Даже не прикасаясь, Журавлев чувствовал, какой у нее жар. От нее полыхало, как от печки.

— Скажите, может, меня кто-нибудь проводит в Сосновку? Кто-нибудь еще, кроме Иннокентия?

Бабка пожевала губами и вздохнула.

— В этаку пору... — Она махнула рукой и поправила на голове косынку. — Да и некому ить.

— Н-да...

Журавлев подбросил в печку дров и снова вышел. Тайга гудела тревожно и глухо. Она была зеленой и только по склонам, на дороге и по всей поверхности Байкала лежал вчерашний снег. Ветер взметывал его и пригоршнями бросал в лицо.

Журавлев обошел все три дома, где не бывал раньше. В двух из них он нашел белоголовых ребят и старух, которых видел у бабки несколько дней назад. Около третьего, похожего на сказочную подслеповатую избу с одним окном в море, он встретил женщину. Немолодую уже, рослую и костистую, с грубоватым лицом, изрытым оспинами.

Та самая, что полоскала белье, — вспомнил Журавлев.

Она отрицательно покачала головой, когда он сказал ей зачем пришел.

— Не дойду.

— Далеко очень?

— Да нет. Ноги у меня.

Журавлев хотел сказать, что у него тоже ноги, но женщина скинула валенок и Журавлев понял, в чем дело. Нога была запухшей, синеватой, с утолщенными суставами.

— Ревматизм?

— Видать что. Из-за него дома сижу.

— Лечиться надо.

Она махнула рукой.

— А-а, ладно.

Журавлев хотел уйти, но женщина усмехнулась и сказала:

— Божий угодник пусть проводит. Иннокентий-то.

— Нет его. Ушел куда-то.

— А чего вам приспичило? Вернется.

— Очень больна Нютка. Нужен врач.

— Вон чо.

— Как можно быстрее нужен врач, понимаете?

— Так он все одно не пойдет. Вера у них такая. Не пойдет.

Журавлев едва сдержался, чтобы не выругаться.

— Может, сам доберусь. Выведите на тропу, а там доберусь.

Женщина затрясла головой:

— Не-е-т, — и плотнее закуталась в шаль. — Обратно заблудитеся. Худая тропа. Через зыбун, и всяко.

Она потопала ногами, будто примеряла валенки.

— Нет, не дойти мне. Не жалко ведь. — У нее был извиняющийся голос и грустные глаза. Журавлев видел, что ей не жалко. С такими ногами далеко не уйдешь, это ясно.

— Это ясно, — сказал он. — Спасибо. Чего-нибудь придумаю.

Но он не знал, что придумать, и это бесило его.

Сидеть здесь столбом, как на необитаемом острове здоровому, сильному и не иметь возможности ничего предпринять. Черт знает что. Он чувствовал, как на подбородке, в том месте, где пролег шрам, начинала мелко дрожать мышца. «Черт знает что», — повторил он про себя.

— Послушайте, у вас есть горчица? — он спросил об этом, едва переступил порог. Нютка на секунду открыла невидящие глаза и повернула лицо в его сторону. Журавлев прижал губы ладонью и перешел в комнату.

— У вас есть горчица? — теперь он говорил так тихо, что бабка выпростала ухо из-под косынки. — Горчица, говорю, есть?

Бабка показала пальцем на полку и закивала головой.

Журавлев пошарил рукой между чашек и капсюльков. Желтый пакетик был наполовину пуст. Журавлев заглянул в него — хватит.

Потом он снова посмотрел на Нютку. Лицо у нее пылало, рот был приоткрыт. Одеяло съехало, обнажив плечо с острой ключицей.

«Здесь не до горчичников», — подумал Журавлев. Он не был медиком и жизнь редко сталкивала его с больными. И все-таки, глядя сейчас на Нютку, он отлично понимал, что горчичники здесь никуда не годятся. Это не простуда.

Он бросил капсюлек на окно и на цыпочках подошел к бабке.

— Мне придется уйти.

Бабка выпростала ухо из-под платка и приложила ладонь раковинкой.

— Я попробую привести врача... Врача попробую привести.

Бабка нахмурила надбровья и замахала руками. Журавлев тоже махнул рукой.

— Бросьте. Видите, что с ней творится.

Бабка кивала головой, но по глазам Журавлев видел, что она плохо слышит.

— Я вернусь к вечеру, — сказал Журавлев. — Я буду здесь вечером.

— Ладно, — сказала бабка и вытерла пальцами уголки губ. — Ты упрямый. Возьми, там шаньга. — Она показала на шкаф.

Журавлев спрятал хлеб в карман и помахал бабке рукой.

— Пока.

Степана ему так и не удалось увидеть. Дверь была подперта снаружи и ветер со скрипом раскачивал калитку. Журавлев долго стоял возле нее в надежде, что появится Иннокентий. А его все не было и не было. И тогда Журавлев вернулся во двор, миновал огород и через жерди перебрался к Байкалу.

Зимняя тропа, переметенная снегом, едва угадывалась под ногами. Она была узкой, как дражный желоб и там, где с нее сдуло снег— черной. Солнце протаяло тропу сильнее, чем все вокруг, и теперь сапоги скользили и разъезжались на ней.

Журавлев миновал черно-белые навигационные знаки, плетни, прорубь, затянутую по краю иглистым льдом, и двинулся дальше вдоль обрывистого берега. Когда несколько минут спустя он оглянулся, то не увидел уже ни крыш, ни полосатых навигационных знаков — ничего, что напоминало бы о жилье. Впереди и справа лежало белое, дымящееся поземкой поле. Ощущение было такое, будто там, куда шел Журавлев, Байкал не замерз. Он туманил так же, как туманят в сорокаградусный мороз сибирские реки. И в этом тумане исчезло все, кроме покрытого тайгой берега, что уступами вздымался справа на расстоянии нескольких сотен метров. И Журавлев снова вспомнил редакционного шофера и то, как бабка рассказывала о предательских трещинах, заметенных недолговечным весенним снегом. Он пожалел, что не захватил с собой какую-нибудь палку. Она могла бы заменить посох и с ней было бы легче идти.

Поземка крутилась, шуршала и билась о ноги, и порошила глаза так, что приходилось смотреть сквозь прищуренные веки.

Журавлев шел согнувшись, с усилием преодолевая упругий воздух.

Вначале он был уверен, что после обеда, часа в два или, может быть, в три будет на месте.

«Просто нельзя прийти позже, — думал он. — Если прийти позже, врач будет лишь к утру». Он снова подумал о Нютке и вспомнил ее потемнелое от жара лицо и разметанные на подушке волосы, шелковистые и теплые.

Ноги разъезжались и Журавлев чувствовал, как напряжены мышцы икр. Они напруживались, едва начинали скользить подошвы. Это было утомительно и трудно — все время чувствовать, как они натянуты. Чтобы не упасть, Журавлев балансировал и взмахивал руками, как канатоходец.

После того, как позади осталось еще несколько сотен метров, пройденных таким образом, Журавлев подумал, что раньше вечера ему все-таки не добраться. И вообще неизвестно, сколько до Сосновки, — подумал он. — Можно говорить о расстоянии по воде, и можно по суше. Черт его знает, где оно в семь километров. Ладно, если по суше. Тогда Байкалом ближе. Не намного, наверное, но все-таки ближе. Километра на два или три, может быть. Хотя и не так мало. Все-таки есть разница. Еще бы, по такой дорожке!

А вокруг свистела белая мгла. Она сливалась с серым небом и между ними не было границы. Теперь в ней терялся даже берег, потому что тропа уводила все дальше и дальше в море, срезая бухты. И Журавлев вдруг понял: дальше километры, которые он может не пройти. Это было бы совсем плохо, если б он не сумел их пройти.

Для него просто не должно было оказаться таких километров. Но они были, потому что через весенний Байкал суждено перейти не каждому.

2

Здесь были крепкие брусчатые дома. Издали они походили на приземистые желтые буханки хлеба, раскиданные как попало. Журавлев увидел их около семи. Он увидел их и черно-белую дорогу с голубыми глазами застывших луж, и черные тучи над Байкалом. Он увидел все это в тот момент, когда обламывая ногти, взобрался по обрывистому берегу наверх и остановился, чтобы перевести дыхание.

За спиной и сбоку пылала заря, узкая и кровавая, как след взлетевшей ракеты. В ее отблесках тучи над Сосновкой были оконтурены поверху пылающей каймой. Заря рыжими зрачками светилась в холодной корке луж, в

окнах, в изломах льда около берега. Вся поверхность Байкала была искристой и красной.

А ветер не стихал. Он дул так же сумасшедше, как утром. И Журавлев стоял, покачиваясь и улыбаясь запекшимися губами, как улыбаются понявшие, что самое трудное позади.

Должно быть, это была глупая улыбка. Но Журавлев не замечал ее, как не замечал сорванных ногтей, и не чувствовал, как саднит сбитые в кровь колени. Стоило присесть или постоять минуту, чтобы брюки будто клеем прихватило к ним. Журавлев отрывал их, морщась от боли. Это было неприятно, но это ничего не стоило по сравнению с тягостным ощущением одиночества и потерянности, которое он испытал несколько часов назад, отдыхая в крохотном ледяном гроте. Там было гулко, как в раковине и с потолка свисали прозрачные сосульки. С них даже в этот лютый ветреный день капали под ноги веселые капли. А снаружи свистел ветер и снег воронками завихривался у входа и нигде больше на многие километры вокруг не было ни единой живой души...

Журавлев начал спускаться к поселку. Он вошел в его улицы, обойдя штабеля желтого бруса и пахнущих смолой бревен. И пошел узким дощатым тротуаром, заляпанным стылой глиной, мимо домов, в которых кое-где уже зажигались огни.

Он миновал магазин, поселковый совет и школу, за окнами которой виднелись ребячьи головы. Журавлев помнил, что больница где-то около столовой в боковой улочке, уходящей в распадок.

— Мне нужна больница. Это там? — Журавлев спросил об этом у парня в лоснящейся мазутом телогрейке. Он нес в руках гаечные ключи и попался навстречу Журавлеву в самом конце полупустой улицы у поворота.

— Там, — сказал парень. — Поднимешься в горку и в самый раз.

Здесь уже не было тротуара и вдоль дороги дожди проели глубокую змеистую канаву, запорошенную снегом. Через низкие заборчики и штакетник Журавлев видел дворы и крытые драньем стайки. Из труб клочьями срывался синий дым и низко мчался по распадку. Было слышно, как где-то гремят подойником, звенит топор и шаркает пила.

Больница — длинное брусчатое здание, облицованное вагонкой и выкрашенное голубым, стояла на крохотной ровной площадке. Улица карабкалась от нее дальше вверх по распадку, а около крыльца было вкопано несколько незатейливых скамеек.

Журавлев поднялся по ступеням и толкнул застекленную дверь. За ней была спокойная тишина и пахло свежей штукатуркой, краской и лекарствами. Девчонка в белом халате и косынке сидела за столом, отделенным от приемной низким барьерчиком, и читала книгу. Когда вошел Журавлев, она подняла лицо и посмотрела на него.

— Послушайте, — сказал Журавлев. — Срочно нужен врач.

У той за барьером было курносое лицо с крашеными губами и густым слоем туши на бровях и ресницах. Она еще не очнулась от прочитанного и смотрела на Журавлева круглыми навыкат глазами, как на стенку.

— Вам нужен врач? — спросила она наконец и, кокетливо подняв руки, стала засовывать под косынку льняные кудряшки.

— Не мне. В Уткином носу тяжело болен человек.

— В Уткином но-осу, — у нее был разочарованный голос. — Это далеко.

— Не близко.

— Что с больным?

— Я не медик, — сказал Журавлев. — Помоему что-то вроде воспаления легких.

— Пневмония? Температура, конечно.

— Конечно. Очень высокая.

— Сколько?

Журавлев пожал плечами:

— Сорок, сорок один... Я не знаю. Очень высокая.

— Не знаете, а говорите высокая. Как фамилия больного?

— О черт, откуда я знаю ее фамилию, — пробормотал Журавлев. Он оперся локтями и перегнулся через барьер.

— В конце концов, какое это имеет значение? Человек тяжело болен и ему нужно помочь, понимаете?

— Понимаю. А вы не кричите.

— Я не кричу.

— И хорошо. Чтобы помочь я должна зарегистрировать. А чтобы зарегистрировать, я должна знать фамилию. Как я могу зарегистрировать без фамилии? Даже скорая помощь спрашивает фамилию. Я училась в городе и знаю. Вы мне не рассказывайте.

— Хорошо, я не буду рассказывать. — Журавлев заставил себя говорить спокойно. — Есть здесь главный врач, директор, кто-нибудь, с кем мне можно переговорить?

— Когда зарегистрирую — позову. Никого в больнице нет. Может быть, вам нужен акушер — так он здесь.

— Нет, — сказал Журавлев, — акушер мне не нужен. Что у вас других больных нет? Таких, которым нужен не акушер?

Та, за барьером, опять пожала плечами.

— С чего это нет? — она кажется обиделась. — Есть. Ногу сегодня сломал один. Вон погода-то. Лежит теперь.

— Ноги ломать всегда не весело. Тут погода ни при чем, — сказал Журавлев. — Но все-таки, как мне быть?

— Назовите фамилию больного.

— Ну, хорошо. Иванов вас устроит?

— Устроит. — Она стала рыться в картотеке и, вынимая карточки, все время повторяла: — Иванов... Иванов... Иванов. В Уткином носу нет Иванова.

— Неправда. Ивановы есть всюду.

— Может быть, он никогда не бывал у нас?

— Никогда, — сказал Журавлев. — Абсолютно никогда.

Она принялась заполнять карточку.

— И нечего было вам говорить, что не знаете фамилию. Когда понадобилось, небось, вспомнили. А еще пожилой человек.

Журавлев был зол. Пожилой человек. Хорошенькое дело — пожилой человек.

— Послушайте, когда вы позовете врача?

— Сейчас. Не понукайте меня. Сядьте вон там и подождите. — Она посмотрела на Журавлева и у нее в глазах светилось превосходство.

Пусть. Пять минут ничего не решают. Журавлев повернулся и увидел себя в зеркале возле гардеробной. Нечего сказать, видик. Растерзанная на локтях и груди телогрейка, потрепанные брючишки, на щеках успела пробиться свежая щетина.

Пожилой человек. Журавлев усмехнулся и сел на табуретку. В приемной было тепло и тихо. Было слышно, как где-то гулко капает вода:

Блим... блим... блим...

Журавлев поставил ноги на перекладину табуретки и подпер кулаками щеки. Шапку он положил на колено под локоть.

Блим... блим... блим... Когда она вызовет этих своих врачей?

Должно быть, он задремал, потому что, когда почувствовал, что кто-то тормошит его за плечо и поднял голову, то увидел перед собой женщину в белом пуховом платке и черной дошке. Она была уже немолодая, высокая, даже чуть выше Журавлева и носила очки в тонкой блестящей оправе. Наверное, он задремал, потому что не слышал, как они подошли, эта и та, вторая, которая заполняла карточку. Журавлев поднялся.

— Здравствуйте.

— Что там случилось? — Женщина внимательно смотрела на него через очки, а та, вторая, толстенькая и любопытная, выглядывала у нее из-за плеча, привставая на носки. — Нет, нет, — остановила Журавлева женщина, когда он подробно начал рассказывать, что там случилось. — Это я уже знаю. Скажите, температура очень высокая, да?

— Да, очень. По-моему, около сорока или выше. Скорее выше.

— Кашель?

Журавлев пожал плечами.

— Чуть-чуть разве. — Он почувствовал себя виноватым, что не заметил этого. — Я както, знаете, не обратил внимания.

— Ну, хорошо. Как мы будем туда добираться? Вы думали об этом? — У нее было строгое лицо, даже красивое, если бы не длинный подбородок, который его портил. — По такой погоде добраться туда — это проблема, вы понимаете?

— Конечно, — согласился Журавлев. — Но там больной человек. По-моему, очень больной. Как вы туда добираетесь обычно?

— Сегодня туда не доберешься, — сказала толстушка. — Я говорила об этом.

Журавлев не помнил, чтобы она говорила об этом.

— Подожди, Катя, — поморщилась женщина и скинула с головы платок. У нее были очень черные, гладко расчесанные на пробор волосы. — Обычно — это по воде, а зимой — машиной по льду. Зимой это можно, а сейчас? Нет, нет, — она не дала Журавлеву заговорить и протестующе подняла руку. — Я не спорю: нужно ехать или идти, я не знаю как, но добраться туда нужно.

— И как можно скорее, — сказал Журавлев.

— И как можно скорее. Но вы посмотрите. — Она показала на окна. За ними было черно. — И потом на машине сейчас трудно проехать.

— Очень рискованно, — согласился Журавлев, — но проехать можно. Я же прошел. Часть дороги я просто прополз, но проехать же легче.

Она внимательно посмотрела ему в лицо, потом перевела взгляд на телогрейку и руки, в которых он держал шапку.

— Я тоже думал, как вы туда доберетесь, — сказал Журавлев. — Мне казалось, что туда можно пробраться машиной. По льду.

— Рискованно.

— Конечно, рискованно, но ведь можно.

У женщины было решительное лицо с твердыми морщинками в уголках губ.

— Да, — сказала она. — Можно рискнуть. Это опасно, но если попробовать утром...

Она повернулась к Кате и вопросительно посмотрела на нее. Катя отрицательно затрясла головой и льняные кудряшки снова высыпались у нее из-под косынки.

— Может быть, попробовать попросить в экспедиции вертолет? — нерешительно сказал Журавлев. — Я думал об этом, когда шел.

— Черта с два, — сказала Катя. — Зимин жадюга. — Она смешно наклонялась и выдвигала вперед лицо, когда говорила. — И все равно вертолет надо еще вызывать. А потом Зимин будет говорить: кто будет платить, это не положено. — Она презрительно кривила губы. — Зимин всегда так говорит, когда мы его о чем-нибудь просим. Да, Клавдия Сергеевна?

— По-моему, Зимин симпатичный мужик, — сказал Журавлев. Я с ним встречался. Вы зря на него так.

Клавдия Сергеевна пожала плечами.

— Можно попробовать. Но это же все равно не раньше утра.

Журавлев снова посмотрел в окно. Даже если Зимин согласится и радист вызовет вертолет... Ветер стучался и терся пушистым вербником о черные стекла. В них отражался матовый абажур и Катина фигура в белом, и лицо Журавлева длинное и хмурое с неестественно высоким в кривом стекле лбом и всклокоченными волосами.

— Да, конечно, — сказал Журавлев. — Он чувствовал, как устал. Совершенно смертельно устал и у него дрожали колени, потому что вся эта нагрузка была еще не для него. Он слишком измотался до этого.

— Хорошо, — сказала Клавдия Сергеевна. — Давайте не будем ходить к Зимину... — она помолчала. — У вашего больного, действительно, такое трудное состояние?

— Действительно. Она хрипит, и как-то, знаете? — Журавлев пошевелил пальцами. — Молодая девчонка.

Катя внимательно посмотрела на Журавлева подведенными глазами.

— Я думаю, что помощь нужна совершенно немедленно, — сказал Журавлев. — Уж очень она...

— Катя, вы сейчас соберете все, что мне может понадобиться. Вы знаете?

— Да, Клавдия Сергеевна.

— Потом вы сходите за Гришей и объясните, в чем дело. Пусть он заедет за мной. Я пока переоденусь. — Она направилась к двери. — Да, Катя, и пожалуйста, покормите товарища. В столовке хоть, что ли. Мне будет некогда разогревать. — Она вышла, а несколькими минутами позже вслед за ней вышли Журавлев и Катя.

Над крыльцом раскачивался фонарь, прикрытый сверху эмалированным, похожим на тарелку, абажуром. Тени метались по земле, по стенам соседних домов и скамейкам.

Они шли вниз, пересекая желтые квадраты света, падавшего из окон, и спотыкаясь на стылых комьях и колеях. Вдоль главной улицы плясали и раскачивались огни и было слышно, как где-то, наверное, у клуба, играет радио. Мелодия доносилась порывами и едва угадывалась:

Если вы не бывали в Свердловске...

— Я не бывала в Свердловске, — сказала Катя. — Я еще нигде-нигде не бывала. Жуть. А это ваша девушка, да?

— Нет, — сказал Журавлев.

— Вы не туда идете. К столовой нужно здесь. Так совсем близко.

VII

Было около шести. Рассвет едва серел.

— Осторожнее. Здесь прорубь, — сказал Журавлев.

Машина остановилась, не доезжая ее. Журавлев услышал, как хлопнула задняя дверца и вышел тоже. Шофер развернул машину так, что фары освещали берег — огороженный жердями край огорода и вмерзшие в глину доски, и уже совсем чуть-чуть угол бани, до которой свет едва достигал.

Они пошли вдвоем — Журавлев и Клавдия Сергеевна. Шофер остался в машине. Они поднимались, а впереди двигались их тени. Вначале широкие, закрывавшие почти весь склон, они становились уже и короче по мере того, как Журавлев и Клавдия Сергеевна поднимались вверх. Клавдия Сергеевна была в потрепанной шубе и все в том же белом пуховом платке. В руках она несла чемоданчик и, когда оступалась, в нем что-то брякало и перекатывалось.

— Это здесь, — сказал Журавлев. Он пошел впереди и обогнул угол бани. Свет сюда уже не проникал и некоторое время, пока не привыкли глаза, Журавлев шел ощупью. — Теперь сюда, Клавдия Сергеевна. — Журавлев подал ей руку и они прошли через калитку.

В избе было темно, глухо и Журавлев засветил спичку. Он сразу заметил, что кровать пуста. Она была покрыта байковым одеялом так же ровно, как в первый день, когда увидел ее Журавлев.

Спичка обожгла пальцы. Журавлев выронил ее и засветил другую. Он отыскал на столе жестяную лампочку и поднес огонь к фитилю. Стекло было не по размеру и болталось в решетке. Журавлев добавил света и обернулся.

— Посидите минуту, — он выдвинул на середину кухни табуретку и направился к печи. Бабка свесила с нее голову и подслеповато щурилась от света. Серебряные космы падали ей на лоб.

— Это я, бабушка, — сказал Журавлев. — Где Нютка?

Бабка провела сухими дрожащими пальцами по губам.

— Где Нютка? — повторил Журавлев. — Что здесь случилось? Я привез врача.

Бабка перестала моргать и затрясла головой.

— Нету... Нютки нету. Иннокентий утащил, — она показала кривым ревматическим пальцем на окно. — Пришел и утащил. Да. Как понужнул... Кхо-о-й, — бабка закряхтела, выбираясь из-под одеяла, и сухое лицо ее искривилось болью.

— Вот как понужнул.

Журавлев обернулся. Клавдия Сергеевна выжидающе смотрела на него сквозь очки.

— Нам придется пойти, Клавдия Сергеевна. Это рядом, — сказал Журавлев. Он чувствовал, как тик начинает сводить щеку в том месте, где пролег шрам.

Клавдия Сергеевна поднялась и Журавлев направился к двери.

— Нужно позвать шофера, — сказал он, когда вышли. — Все это будет не так просто. Вы подождите здесь. Не боитесь?..

Журавлев спустился по откосу и отыскал в темноте машину...

— Кто там шарится? — Это было первым, что они услышали, когда вошли к Иннокентию. Двери здесь не замыкали и они без стука вошли в душную темноту.

— Засветите лампу, — повелительно сказала Клавдия Сергеевна.

Послышалось кряхтение и было слышно, как гремят в коробке спички. Вспыхнул робкий огонек. Иннокентий щурился, прикрывая ладонью лицо.

— Чего еще надо.

Он раскорячась стоял посреди комнаты и придерживал рукой подштанники, чтобы они не разъезжались спереди у прорехи.

— Где больная? — спросила Клавдия Сергеевна.

Они втроем стояли у двери и Журавлев быстро оглядывал комнату.

— Это здесь, — сказал он и показал за печку.

— Чего вам надо? — снова прохрипел Иннокентий и закостылял навстречу, согнувшись и выдвинув подбородок.

— Я врач, — сказала Клавдия Сергеевна.

— Уходите, уматывайте отселя. — У него был яростный голос и в горле все время что-то булькало. — Уматывайте. Бог вернет нам здоровье, а все сатанинское рухнет, рухнет... А-а-а, — Иннокентий остановился перед Журавлевым и, заложив руки за спину, пронзительно уставился на него снизу. — Яви-илися. Испортил деваху, а теперь явился, — в уголках губ у него закипала пена.

— Возьми лампу и пройди с Клавдией Сергеевной, — негромко сказал Журавлев шоферу.

— Явился, докторов приволок, сволочь!

Журавлев оттеснил Иннокентия к окну. Когда шофер понес лампу, Иннокентий рванулся вслед.

— Куда, куда, язви тя в душу!.. Нютка, Нютка, мать твою!.. Молися. Душу продаешь сатане, стерва.

Журавлев с трудом удержал его, преградив дорогу. Он стоял, сунув руки в карманы телогрейки и широко расставив ноги. Он чувствовал, как дрожат от возбуждения пальцы.

— Послушай, — сказал он, тронув Иннокентия за плечо. — Не ори. Ты видел, какая у Степана рожа, а?

Иннокентий ошалело посмотрел на него. Журавлев даже в полутьме видел, как диковато блестели сквозь нахмуренные брови его глаза.

— Соображай.

Иннокентий некоторое время стоял неподвижно, косолапо расставив ноги и держась за подштанники.

— Врешь!.. Вре-е-шь, — Иннокентий вцепился Журавлеву в воротник. Там за печкой звякали какие-то железки. Журавлев улавливал это подсознательно, не пытаясь и не успевая понять, что к чему. Он схватил руку Иннокентия, силясь разжать пальцы, которые так яростно стянули воротник, что дохнуть было невозможно.

Это были железные пальцы. Журавлев рванулся и почувствовал, как затрещала ткань. Дышать стало легче.

— Оставь, — просипел Журавлев. Он все еще сжимал руку Иннокентия, — без врача она не жилец... Понимаешь...

— Не твоего ума дело, — Иннокентий оттолкнул Журавлева и попытался пройти за печь, где лежала Нютка. — Бог в наказание за грехи наши посылает испытание.

Журавлев удержал его за плечо.

— Это тебе он посылает испытания. А ей жить. Останешься бобылем.

— Все одно. — Иннокентий, искривясь, смотрел на Журавлева через плечо. — Все од-

но. Кто умрет в вере — спасется. А все сатанинское рассыплется прахом. Изыди. — Прикрываясь, он поднял черную растопыренную пятерню.

Журавлев слышал, как Клавдия Сергеевна негромко сказала:

— ...принесете. — Это был обрывок какой-то фразы. Шофер прошел через кухню и скрылся за дверью. Следом из закутка показалась Клавдия Сергеевна. Свет желтыми полосами лежал на потолке, а стены закрывала тень неуклюжей русской печки, по ту сторону которой горела лампа.

— Послушайте, Иннокентий, — сказала Клавдия Сергеевна. Она была в белом халате. Иннокентий стоял перед ней с ощеренным ртом, взлохмаченный и злой, держась руками за пояс. — Вас, кажется, зовут Иннокентием? — Он молчал. — Вашу дочь придется положить в больницу. Здесь я не ручаюсь за исход болезни.

Она прислонила ладони к печи. Журавлев стоял возле Клавдии Сергеевны и чувствовал, как от нее пахнет каким-то лекарством и духами. Запах походил на пихтовый — очень тонкий и смолистый.

— Мы на машине и увезем ее. Вы можете прийти в Сосновку проведать. Здесь я не ручаюсь за исход болезни, — сказала Клавдия Сергеевна.

— Все от бога, — прохрипел Иннокентий. — Кто уверовал — спасется. И доктора не помогут.

Журавлев пошел к двери. Отсюда он видел лампу и весь закуток с узкой кроватью, маленьким столиком и табуреткой. Нютка лежала лицом к нему и смотрела сквозь полуопущенные веки. У нее было желтое в керосиновом свете лицо.

— Журавлев, — позвала она, — Журавлев.

— Я здесь.

— Не уходите, Журавлев.

— Тебя придется увезти в больницу, — сказал Журавлев.

— Все равно... Пусть... Не уходите, Журавлев.

— Нютка, стерва! Сатане... Сатане предаешься!..

Пришел шофер и поставил на пол носилки.

— Мы увезем ее, Иннокентий, — сказала Клавдия Сергеевна. — Приходите ее проведать. Можно даже завтра. — У нее был ровный и очень спокойный голос.

Иннокентий рванулся, но Клавдия Сергеевна протянула руку.

— Нельзя.

Он остановился, выставив вперед крючковатые пятерни, потом вцепился ими в лохматые космы и лицо его искривилось.

— Нечистики... нечистики. Уснут сном вечным и не пробудятся. И ты вместе с ними...

— Успокойтесь, — сказала Клавдия Сергеевна. Она уже надевала шубу. — Лучше сделайте вот что... — Дверь за носилками закрылась и Журавлев ничего больше не слышал.

VIII

1

Журавлев пришел в больницу перед обедом. Вчерашняя девчонка в кудряшках — Катя, — вспомнил Журавлев, — дала ему коротенький халат и, проводив до палаты, попросила подождать. Журавлев стоял в коридоре возле окна. За ним обессилевший ветер раскачивал ветки верб и скрипел фонарем.

Журавлев смотрел, как снег наметало в оставленные по грязи стылые следы чьих-то сапог и ботинок. Он смотрел, как снежинки доверху заполняли их и они становились белыми и четкими среди обнаженной серой земли. Журавлев думал о том, что если даже снег ляжет толстым и мягким, как вата, слоем, под ним все равно останутся эти следы. Если бы они были оставлены осенью, то продержались под снегом до весны. И люди смогли бы увидеть их, когда сошел снег. Они бы увидели эти следы, даже если бы с ними уже не было тех, кто их оставил. Но люди никогда бы не подумали, что эти следы принадлежат тем, кого уже нет. Они бы вообще не заметили этих следов, оставленных еще в минувшем году, потому что многие бывают на удивление невнимательны и хлопотливы и каждый слишком занят собой, чтобы замечать еще что-нибудь.

Журавлев смотрел, как белели и проявлялись следы. И его охватывало щемящее чувство одиночества и тоски. Оно всегда приходило к нему, когда падал косой снег и земля была стылой и звонкой, как асфальт. Обычно это случалось с ним осенними вечерами, когда падал этот снег и мела поземка и фонари бросали по сторонам бегущие тени. И он даже испугался, что это вновь вернулось к нему весной...

Катя тронула его за локоть и Журавлев обернулся.

— Я только сегодня узнала, что вы Журавлев, — сказала она. — Больная все время называет вас Журавлев, Журавлев и я узнала, что вы Журавлев.

— Это не важно, — сказал Журавлев. — Как она?

— Плохо. По-моему, к ней вообще нельзя, но Клавдия Сергеевна сказала, что вам можно. — Она взяла Журавлева за руку и повела в палату.

Это была совсем пустая палата. Там стояло шесть белых одинаковых кроватей, но только одна в самом углу у окна была занята. Когда Журавлев вошел, Нютка повернула к нему лицо и слабо улыбнулась. Журавлев принес белую табуретку и присел между кроватями.

— Ну, как дела? — спросил он. Она снова улыбнулась. Улыбка едва тронула уголки губ, а глаза оставались все такими же — очень усталыми и нездоровыми. — Теперь все будет хорошо. Ты скоро поправишься.

Она на мгновенье прикрыла веки.

— Поправишься и приезжай в город. Тебе надо учиться. — Все-таки она чем-то удивительно напоминала Анну. Такой, как та была несколько лет назад, когда они впервые встретились.

Журавлев снова вспомнил Нютку у проруби. И мягкий рыжеватый цвет волос, в которых будто отражалось солнце, и бегущий и все время ускользающий взгляд, и тонкие пальцы, которыми она держала ведро. И он вдруг протянул руку и коснулся ее щеки. Он провел по ней шершавыми пальцами от виска к подбородку и почувствовал, какая она горячая.

— Ты горячая, — сказал Журавлев. Она пристально смотрела на него из-под полуопущенных век. Взгляд был серьезный, прямой и впервые не ускользал и не уходил в сторону. Потом Нютка разжала спекшиеся губы в мелких, как оспинка, щербинках, оставленных жаром, который бушевал в ней.

— Отца жалко, — сказала она. Журавлев услышал ее хорошо, а Катя, она стояла у дверей, опираясь на спинку незанятой кровати, ничего не могла расслышать и у нее были любопытные и блестящие, как стеклышки, глаза. Нютка секунду помолчала, потом сухо облизнула губы:

— У меня такая неразбериха в голове.

Она прикрыла глаза и лежала неподвижно. Под толстым одеялом слабо угадывались очертания ее тела.

— Это все понятно, — сказал Журавлев.

Она покачала головой: «Нет».

— Понятно, — настойчиво повторил Журавлев. Он взял ее пальцы и почувствовал, какие они хрупкие.

— Его, действительно, жалко, — сказал он. — Было бы плохо, если ты хоть на минуту могла оказаться равнодушной к нему.

Он гладил ее пальцы, тонкие и шершавые. Почти такие же шершавые, как его.

— Он здесь ни при чем. Ведь он не был раньше таким?

Она снова покачала головой: «Нет».

— Значит, в этом виноваты мы. Человека, знаешь ли, нельзя оставлять в беде одного. Он здесь ни при чем. И было бы плохо... Понимаешь, по-человечески плохо, если бы ты ничего к нему не чувствовала. Ни жалости, ни сострадания, ни любви. — Журавлев помолчал. — Наверное, он очень любил твою мать?

Она снова слабо улыбнулась уголками губ.

— Мама была красивой.

Журавлев улыбнулся тоже.

— Вот видишь. Ты молчи. Тебе нельзя разговаривать.

Нютка открыла глаза. Она смотрела вначале мимо. Должно быть, на Катю, которая стояла где-то за спиной. Журавлев обернулся, но комната была пуста и он удивился, что не услышал, как вышла Катя. А потом, когда он снова посмотрел на Нютку, то увидел, что она смотрит прямо на него. Не в глаза, а куда-то ниже, на подбородок, что ли. Он провел ладонью по щеке и почувствовал, как зашуршала щетина.

— Я оставил бритву у твоей бабки, — сказал Журавлев. — Вместе с рюкзаком. Теперь у меня вырастет вот такая бородища. Представляешь?

Она не улыбнулась и все так же смотрела на него рыжим болезненным и пристальным взглядом.

— Я ничего не понимаю, Журавлев. Я думаю и не знаю, что к чему.

— В конце концов все станет на место и ты разберешься, что к чему. Просто тебе нужно больше читать, больше видеть. Нельзя жить, ничего не видя.

Нютка осторожно высвободила пальцы из рук Журавлева и провела ими вдоль шрама на его щеке. Потом она спрятала руку под одеяло и Журавлев на минуту увидел ее плечо — остренькое, с тонкой тесемкой от рубашки.

— Вы читали «Овода», Журавлев?

— Ты меня уже спрашивала. — Она отвернула лицо к стене и Журавлев видел теперь ее щеку, пылающее жаром ухо и веселые рыжеватые завитушки на затылке в том месте, где разметанные по подушке волосы обнажили шею.

— Это очень хорошая книга, — сказал Журавлев.

— Хотите, я вам скажу, — она говорила очень медленно. — Вы скоро уедете.

— Завтра, наверное. Может быть, даже сегодня, если пойдет машина.

— Мне дал ее... Я уже не училась тогда. Когда я пришла в школу за документами, один парень из Сосновки засунул ее в мою сумку.

— Это очень хорошая книга.

— А потом он уехал учиться в город. Они все уехали учиться. И девчонки. Я сейчас уже почти никого не знаю в школе...

Она замолчала и Журавлев молчал тоже. Он не хотел мешать ей.

— Я только дома ее нашла и потом читала. Отец разорвал. Я думала он меня убьет.

Она выпростала руку из-под одеяла и водила пальцем по тоненькому тканому коврику на стене. По средневековой мельнице, стадам оленей и пастушку, игравшему на свирели. Импортный коврик со средневековым рисунком, изображавшим несуществующую жизнь.

— Хотите, я вам скажу. Это потому, что я дура, наверно... Но вы ведь все равно уедете. Правда? И потом... Вы знаете, Журавлев, мне плохо бывает. Я будто умерла и не могу пошевелиться, а все слышу — и как мне уколы делают, и о чем врачи говорят. Я ведь все знаю, Журавлев.

— Ну, у тебя все хорошо. Ты нервничаешь просто.

Она, не оборачиваясь, покачала головой и провела пальцами по волнистой спине стада на коврике.

— Я вот когда вас тогда увидела... У проруби... Сразу вспомнила «Овода». У вас тут такой шрам... Только вы не подумайте чего,— она потерла по лицу пастушка — кукольному и равнодушному — будто хотела убрать его. — Вы не подумайте чего. Правда. — Она обернулась и в упор посмотрела на Журавлева. — А я тогда сразу вспомнила «Овода». И потом еще, когда вы говорили со Степаном, помните? Я вспомнила. Он был сильным, Журавлев. А у меня такой ералаш в голове.

Она говорила, как в лихорадке. Чувствовалось, что у нее очень сухо во рту — так невнятно она произносила слова. Журавлев видел, как у нее разгораются уши и щеки, и пальцы лихорадочно теребят бахрому у коврика.

— Тебе не нужно говорить, — сказал Журавлев.

— Он жил в этой мельнице. Я никогда не видела таких мельниц.

— Я же предупреждала — недолго. Несколько минут. Ты же знаешь, Катя... — Это говорили за дверью.

— Они так сидят, Клавдия Сергеевна.

Журавлев слышал, как в палату вошли. Он обернулся. У Кати было такое лицо, будто она подсматривала в замочную скважину. Клавдия Сергеевна покачала головой. Она стояла, засунув руки в карманы халата, а черные, гладко зачесанные волосы прикрывала белая шапочка.

Журавлев встал.

— Я сейчас, — сказал он. — Простите, пожалуйста.

Очки у Клавдии Сергеевны, отражая окна, холодно блестели.

— У нее снова начинается, — сказала она.

Журавлев обернулся к Нютке, все так же смотревшей в стену на придуманную людьми ненастоящую жизнь, и сказал:

— Я обязательно еще зайду к тебе. Совершенно непременно. Слышишь? Может быть, завтра.

Она не обернулась и Журавлев вышел. Он направился по коридору мимо белых дверей и мимо окон, за которыми раскачивались вербы и была улица, составленная из брусчатых домов, и вздымались горы бело-зеленые, с пестрыми проплешинами в тех местах, где вырубили тайгу. И Журавлев подумал, что рубить тайгу тоже нужно осторожно, потому что поправить покалеченное труднее, чем сберечь то, что уже есть.

2

Нютка была в том странном состоянии, о котором несколько часов назад она говорила Журавлеву. Она как бы растворилась в стойком душном жару и не могла шевельнуться.

Ей все время хотелось заговорить с людьми, которые, она слышала это, подходили к ней, но она не знала, как это сделать. Она чувствовала себя разучившейся говорить, а ей было совершенно необходимо заговорить, чтобы попросить тех, кто был рядом, затушить костер, который полыхал слева.

Это пухлый пастушонок, который играл на свирели, запалил огонь. И теперь красные языки ползли по стене и уже подбирались к мельнице, а пастушонок сидел и ничего не видел. И Нютке было страшно за него и жалко, но она не могла крикнуть. А потом, когда уже горела мельница и у пастушонка начали дымиться ноги в грубых башмаках с пряжками, он наклонился и свернул огонь в трубочку, как географическую карту, и бросил его на Нютку. И там огонь развернулся и запрыгал,

и затанцевал по одеялу, по подушке, по ногам, которыми она не могла двинуть.

А вокруг уже не было никого, чтобы попросить убрать огонь. И пастушонок сидел на скале, подобрав под себя ноги, а вместо рук у него были мельничные крылья и он в восторге крутил ими, разгоняя огонь и у него было плоское и довольное лицо.

— Горит... Ой, как горит!

Нютка знала, что она горит, но ничего не могла поделать. А огонь разливался по одеялу, и полыхал, и вдруг холодной волной выплеснулся на лоб и потек к вискам. И Нютка снова услышала, как кто-то стоит и разговаривает у постели.

Она подумала, что это пастушок в башмаках с золотыми пряжками, так он топал и так скрипели под ним половицы.

— С чего еще, — сказал пастушок. — Это за грехи ее. — У него был хриплый отцовский голос. — Грех противиться испытанию божьему.

— Но поймите же, Иннокентий...

Значит, его тоже зовут Иннокентий.

— При таком состоянии нужна кровь. У нас ее нет и сегодня не будет. Может быть только завтра, а это нужно сделать сегодня. Чем раньше, тем лучше. Неужели же вы не понимаете, что можете потерять дочь.

— Пущай, — сказал Иннокентий. — Радуюсь испытанию Иеговы...

Нет, не пущай... Нет, не пущай...

Нютка слышала, о чем они говорили там, по ту сторону полыхавшего в ней жара, и не могла вымолвить ни слова. Это было мучительно и страшно.

Так с ней было однажды во сне. Ей снилось, что она заночевала в тайге. А когда проснулась, то увидела себя на краю пропасти и там было полно извивающихся гадов. Они просто кишмя кишели в пропасти, на самом краешке которой она лежала. И некоторые были толщиной в руку и больше. И когда она подняла глаза, то увидела, что одна такая гадина свешивается с ветки прямо над ее лицом и тянется к ней, а язык мечется как выстрел у нее из пасти. И эта ужасная пасть была все ближе к лицу, а она не могла шевельнуться, чтобы спастись.

Это было мучительно и страшно. Так страшно и так мучительно, как бывает во сне, когда видишь приближающуюся опасность и не можешь шевельнуться, чтобы избежать ее.

И сейчас ей было так же, как тогда во сне. Она все слышала и все понимала, но у нее не было сил двинуть пальцем и она совершенно не умела говорить. А ей нужно было сказать. И сейчас, а не завтра, когда, может быть, будет поздно. Сейчас, когда плясал и бесновался испепеляющий огонь, зажженный пастушонком с хриплым голосом и плоским, как лист бумаги, лицом.

IX

1

Журавлев заходил в больницу дважды. Утром ему сказали, что Нютка спит и он ушел. Он побродил по поселку, зашел к Зимину — краснолицему, тяжелому и добродушному человеку, чтобы напомнить ему о машине на вечер. А потом он стоял на крыльце экспедиции и жмурился от солнца. Облачность была из тех, о которых в прогнозах говорят «переменная». Она то плотно закрывала солнце, то вдруг уходила и тогда солнце светило, как ошалевшее.

Когда Журавлев проходил возле магазина, ему показалось, что он увидел Иннокентия. Но он не мог с уверенностью сказать, что это был Иннокентий, потому что, когда Журавлев подходил к магазину, тот уже поворачивал за угол. У него была такая же согнутая спина, вытертая шапка и он так же приволакивал ноги. Он скрылся в боковой улочке, которая уводила по распадку в тайгу и Журавлев сразу же забыл о нем.

Он вспомнил об этой встрече позже, когда во второй половине дня снова пришел в больницу. В регистратуре никого не было. Журавлев остановился у барьерчика, поджидая Катю. Больничный коридор был длинным, белым, перечерченным по полу солнечной лестницей.

Журавлев рассматривал чернильный прибор, ящики с картотекой, какие-то бумаги под толстым стеклом на столе.

Крохотный коричневый динамик стоял на самом краю барьера у стены. Журавлев повернул ручку. Совсем немного, ровно настолько, чтобы можно было чуть-чуть слышать. Играли что-то грустное... Фортепиано... Кажется, это был Лист... Журавлев не мог вспомнить, что это было.

Все-таки он крепко устал в эту поездку. Усталость чувствовалась не сразу. С утра он вставал бодрым и сильным, а после обеда ему хотелось лечь, ткнуться головой в подушку и закрыть глаза.

Облака бродили за окнами. Их тени ползли по больничному коридору. Они то стирали солнечную лестницу на полу, то высвечивали ее снова.

— Послушайте программу передач на сегодня 3 апреля. Концерт из произведений советских авторов — в 17 часов. В 17 часов 20 минут — беседа «Навстречу Дню космонавтики...»

Да, кончился март.

Журавлев вспомнил, как в это же время два года назад он возвращался из командировки в Бурятию. Вагон был полупустой и он ехал в купе один. Верхние полки были подняты, пахло дерматином и гостиницей. Он сидел за столиком у окна и писал очерк, который нужно было сдать сразу после возвращения.

Писать было трудно: поезд болтало и строчки ложились прыгающие и неровные. Он часто откладывал карандаш и смотрел в окно. Там виднелись горы, на которых стойко держался сверкающий снег. И Журавлев вспоминал, как за три недели до отъезда они с Анной ходили на лыжах в тайгу и целых двое суток прожили там в крохотном охотничьем зимовье. Под утро мороз пробирался под одеяло и Журавлеву чуть свет приходилось растапливать сложенную из камней печурку. Он выходил на улицу, еще вовсе ночную и зябкую. Луна стояла высоко и все вокруг — и заснеженные склоны, и долина таежной речушки — было залито голубоватым призрачным светом, похожим на цвет сильно разведенного молока. Ежась от холода, он начинал колоть дрова, а когда возвращался в зимовье, ему уже бывало жарко до того, что на лбу выступал пот.

Зато днем солнце светило так, что было больно глазам, а снег был влажным и тащился за лыжами. Журавлев ругал себя за то, что не взял лыжную мазь.

Им было хорошо в те два дня, далеко от электрички, в тайге. Особенно вечерами, когда они затапливали печурку и сидели, обнявшись, перед открытой дверцей и молчали, и слушали, как за стенами с веток срываются подтаявшие за день снеговые шапки, и едва слышно свистят за горами поезда, и чайник булькает и с шипением выбрасывает на раскаленное железо бегучие водяные шарики. А по стенам плясали багровые отсветы и пахло влажным теплом и оттаявшей хвоей.

Им было хорошо сидеть, тесно прижавшись и молчать. Им казалось, что они уже переговорили обо всем на свете, но молчание не было им в тягость, потому что они слишком хорошо и достаточно долго знали друг друга.

Журавлев смотрел в окно и вспоминал эти вечера. И в это время поездное радио, которое не проронило ни звука с того самого момента, как он сел в вагон, вдруг захрипело, затрещало и послышалась такая торжественная музыка, что он удивился — с чего бы это в рабочий день быть такой торжественной музыке.

А потом заговорил Левитан и Журавлев услышал эти фантастические слова: «Человек в космосе!» Он ждал этого известия, потому что все к тому шло и все-таки сообщение прозвучало как сенсация.

Журавлев выскочил в коридор. Там уже были все, кто ехал в этом вагоне. Человек двадцать, наверное. И у всех были такие лица, будто им дали премию. Потом, когда Гагарин приземлился, они пошли в ресторан, но туда уже невозможно было протиснуться, и они с полковником из соседнего купе ждали минут сорок прежде, чем им принесли коньяк. Они выпили его за Гагарина, за космос, за русских мужиков и баб, которые и сами не знают, какие они сильные, нежные и настоящие люди.

После он написал об этом — и о лицах, которые он видел в поезде, и о разговорах, которые он там слышал, и о таежном зимовье, в котором на удивление хорошо поздними весенними вечерами.

Это был настоящий очерк. Журавлев улыбнулся, вспоминая его. И подивился, как быстро летят годы. Они летели настолько быстро, что ему было трудно вспомнить, чем один из новогодних праздников отличался от другого. Но он знал, что все эти годы, которые пролетели так, что он не замечал их, отличались друг от друга и их невозможно было спутать. Они отличались командировками, встречами, даже запахами, потому что каждая весна пахла по-своему и пробуждала воспоминания, которых не было до этого.

Журавлев думал обо всем этом, когда пришла Катя.

— Вы давно ждете? — спросила она, глядя на Журавлева так, будто знала что-то.

— Не очень. Как она?

— Сейчас значительно лучше. Клавдия Сергеевна говорит, что значительно лучше. Ночью ей сделали вливание и у нее спала температура. Вы знаете, какой паразит у нее отец?

Журавлев пожал плечами.

— Он паразит, — убежденно сказала Катя.

— Бросьте. Он просто темный.

— Нет, паразит. Он был здесь, вы знаете?

Журавлев вспомнил встречу у магазина. Значит, все-таки это был он.

— Пришел посмотреть, как вы ее довезли. А когда узнал, что ей нужна кровь, так руками замахал. Пусть лучше умрет, говорит. Ей ведь очень плохо было.

— Да?

— Да. А он ни в какую. Все, говорит, от бога. Радуюсь испытанию и всякое такое. Вот паразит, а?

— Не надо ругаться, Катя. Как же вы все устроили?

Она махнула рукой:

— А выкрутились. Зимин специально связывался с областью. Но оттуда все равно привезли только под утро. Мы ездили ночью встречать скорый. Вы могли бы уехать с нами до станции.

— Да, но я не знал, что вы едете.

Она кокетливо погрозила ему пальцем. Журавлев поморщился.

— Не о том речь, Катя. К ней можно пройти?

— Сейчас можно. Утром она долго спала. Часа три или четыре, вы знаете.

— Знаю, — сказал Журавлев. — Я пошел, да?

— Подождите, я провожу. — Она вздохнула. — Опять мне из-за вас будет попадать.

— Будто бы уж.

— А что я могу сделать? Вы ее любите?

Журавлев пожал плечами.

— Ладно, я не любопытная.

— Ну, конечно, — сказал Журавлев. Они прошли вдоль всей солнечной лестницы, потом за угол и вошли в ту же палату, где Журавлев был накануне. Катя осталась в коридоре. Она привстала на носочки и шепнула Журавлеву в самое ухо, когда он прикрывал дверь.

— Я не буду вам мешать, ладно?

Журавлев усмехнулся и подмигнул ей. Пусть потешится. Потом они сидели с Нюткой так же, как сидели накануне, и Журавлев сказал:

— Вот видишь, я говорил тебе, что все будет хорошо... — Он полез за пазуху и положил на тумбочку книгу, которую выпросил у библиотекарши еще утром. — «Овод». Старуха никак не хотела ее отдавать: государственная собственность. Журавлеву пришлось показывать документы и тысячу раз объяснять, зачем ему потребовалась книга.

— Хорошо, — сердито сказал он наконец. — Представьте себе, что я ее взял читать и потерял.

Библиотекарша вдруг засмеялась:

— Тогда купите другую книжку и больше не теряйте.

Так Журавлев и сделал.

Он положил книгу на тумбочку и сказал:

— Это тебе.

— Спасибо.

Она здорово изменилась даже по сравнению со вчерашним. Ее еще больше подтянуло, щеки запали и будто бы высохли.

— Я пришел попрощаться, — сказал Журавлев. — Мне нужно ехать. — Он подумал о том, что прошло уже четыре или пять дней, как он должен был вернуться в редакцию и что Анна, наверное, уже бьет во все колокола, пытаясь разыскать его след. — Теперь дело у тебя пойдет на поправку, — сказал Журавлев.

Она смотрела на него так же, как вчера — пристально и прямо.

— Да, — сказала Нютка. Очень тихо сказала и, как показалось Журавлеву, даже безразлично... — Я думала мы не увидимся, Журавлев.

— Ну, ерунда. Я же говорил, что обязательно зайду перед отъездом.

— Тут приходил... мой отец.

— Я знаю.

— Я думала, это просто так... показалось.

Они долго молчали.

— Значит, не показалось, — у нее было сосредоточенное лицо. — Вот что, — сказал Журавлев. — Тебе не нужно об этом думать. Теперь все будет отлично. Я тебе напишу адрес, как меня искать в городе. — Он забрался под свитер и вынул блокнот и карандаш. — Ты обязательно приезжай. Тебе нужно учиться.

Она закрыла глаза и лежала молча.

— Я положу тебе на тумбочку, хорошо? Может быть, он тебе пригодится.

Она сказала:

— Ладно.

— Ну вот, теперь у тебя все пошло на поправку, — повторил Журавлев. — Мне сказали врачи. Может быть, я еще приеду сюда попозже. Но ты тогда будешь уже совсем здорова. А может быть, мы увидимся в городе.

— До свидания, Журавлев. Спасибо.

— За что же спасибо, чудачка?

— Все равно спасибо. — Она еще раз посмотрела на него очень пристально и строго. Потом выпростала из-под одеяла руку и молча протянула ему.

— До свиданья.

2

Журавлев сел в кабину и крепко захлопнул дверцу. Облака уходили к югу и дорога была бугристой, черной и солнечной. Верзила с лошадиным лицом и рыжими, как медная проволока, усами попинал скаты и уселся рядом. Он натянул на веснушчатый лоб сплюснутую блином кепку, опустил боковое стекло и высунулся в него, пробуя подошвой стартер и глядя куда-то под колеса.

По тротуару вприпрыжку мчались школя-

ры. Две бабы на углу всплескивали руками — не понять — то ли ругались, то ли делились новостями. Деваха в плюшевой кацавейке торопливо обходила машину по грязной обочине.

— Ой, Светка, — шофер оскалил в улыбке лошадиные зубы, — куда налопатилась?

— Тороплюсь, — у нее было гладкое озорное лицо и пухлые яркие губы. — Сколько время?

— Для холостого полшестого, для женатого полдевятого. А? — шофер подмигнул, машина зарычала и мягко тронулась. — Ишь, так вся и ходит, кобыла. — Обгоняя Светку, приоткрыл дверцу:

— Эй, — она обернулась, — под шофера не попади!

— Вот тебе, — она погрозила кулаком.

— Ну, поехали, — сказал верзила и покачал головой. — Вот кобыла, а?

Журавлев не ответил. Машину корежило на промоинах и в кузове что-то громыхало и прыгало. Темные от старости дома с зелеными обомшелыми крышами и резными наличниками перемежались с корпусами из светлой брусчатки. За ними лежал Байкал, изжелта-белый, а в тех местах, где затаились облачные тени, сиреневый. И вдоль всего его берега тянулись строения. А там, где кончались они, возвышалась причальная стенка, и над ней виднелась решетчатая шея подъемного крана.

Города и поселки, как люди, имели свою судьбу. Одни рождались иногда в совершенно неожиданных местах, ширились, крепли. Другие хирели, старились и одиноко доживали свой век, лишенные радости, а порой и памяти тех, кто в них вырос. Сколько на земле таких древних и никому уже не нужных поселков, не ставших городами, и городов с возрастом впервые рожденных в них младенцев.

Города и поселки, как люди. Кто скажет, какими будут их судьбы, когда пройдут годы, десятилетия и уже не останется на земле многих из тех, кто их начинал!

Журавлев откинулся на спинку и закрыл глаза. Он думал о том, что города, как люди. А дорога вилась меж отвесных скал и пахла бензином и хвоей, и отходившей после заморозков землей. Обычная дорога, одна из многих, которыми он бродил по земле.

X

1

Горные склоны были лиловыми от багульника. Им пропахло все вокруг. Даже терпкий запах хвои стал глуше и мягче. Это было удивительное время, потому что пах не только багульник, но и каждая былинка по-своему, сильно и остро. И Байкал приносил свои запахи. Он дышал свежестью, солнцем и ветром. Воздух был насыщен таким ароматом, смолистым и тонким, что вечерами на побережье было больно дышать.

Нютка вернулась на Уткин нос в начале мая. Ей все казалось обновленным и не похожим на минувшие весны — и зеленая тайга, и лиловые склоны гор, и небо над Байкалом, высокое и высветленное солнцем.

Иннокентий встретил Нютку сумрачно и молчаливо. Нютка часто ловила на себе его сосредоточенный, прощупывающий взгляд и тогда ей становилось не по себе. И она вспоминала плоское лицо пастушонка и то, как полыхал и корчился брошенный им огонь, и как скрипели башмаки и хрипло звучал голос:

— Пущай... пущай... радуюсь.

И Нютка чувствовала, как все внутри сжимается в тесный, скованный холодным ужасом комок и становится неуютно, одиноко и страшно.

Однажды Иннокентий сказал:

— Будет. Молиться должна Иегове за прощение. Седни же, слышишь?

Нютка промолчала, а вечером, выдоив корову, ушла к бабке. Там, в тесном закутке за печкой, она развернула свои сокровища. Их было немного, этих сокровищ, привезенных из Сосновки.

В беленькой косынке с голубым горошком была завернута подаренная Журавлевым книга и несколько вырезок из газеты. Первая из них напоминала простой обрывок, помятый и косо оторванный. Он попал к Нютке случайно. Это было, когда она уже стала поправляться и целыми днями лежала, глядя в белый потолок. И в тысячный раз перебирала в памяти все, что случилось.

Иногда она брала книгу и перелистывала ее, и вспоминала Журавлева. У нее стойко держалось странное ощущение, что он не уехал, а ходит где-то рядом и в любое мгновение может распахнуть дверь.

Она вспоминала его лицо, узкое, мужественное и, как ей казалось, уже не молодое, потому что у него были колючие морщины в углах глаз и рубчатый шрам от краешка рта к подбородку. И очень жесткие темнорусые волосы, которые тугими прядками падали на лоб. Может быть, они были совсем не такими, а очень мягкими. Ей все время хотелось их потрогать, но она так и не решилась сделать этого. И они казались ей жесткими, потому

что пряди были густые, блестящие и лишь слегка волнистые.

Нютка читала книгу и вспоминала Журавлева. А потом она положила книгу на тумбочку, подтолкнула под щеку сложенные вместе ладони и тут увидела набранную черным и жирным фамилию: И. Журавлев.

Лоскут газеты, в которую Катя завернула утром мыло, свисал с тумбочки. Там были еще какие-то фотографии, но она видела только это: «И. Журавлев». Она подумала, что это однофамилец и дрожащими пальцами стянула с тумбочки газету так, что мыло гулко ударилось об пол.

Все-таки это был тот самый Журавлев. Оказывается он был «И.». Иван?.. Игорь?.. Илья?.. Она не знала, но сразу подумала, что это тот самый Журавлев, потому что он писал о буровиках, которые живут в тайге в передвижных домиках и еще о чем-то, чего она не знала. Лоскуток был слишком мал. На нем не сохранилось ни заголовка, ни того, что было вначале. Лишь самый конец и подпись: «И. Журавлев». И Нютке все время казалось, что самое главное было вначале.

Может быть, там было и о том, как она вынесла его из тайги. Это было трудно. Когда до берега оставались последние метры, ей показалось, что она не донесет, так онемели пальцы и дрожали колени.

Она спрятала обрывок газеты под подушку и все время трогала его рукой, а когда пришла Катя, сказала:

— Вот... вы газеты получаете, да?

— Получаем.

— Хоть бы почитать давали, что ли. С тоски тут помрешь.

Она сказала это безразлично, а сама чувствовала, как у нее под щекой вздрагивают пальцы и очень боялась, что Катя заметит это. Но Катя не заметила. Она приносила газеты и клала их на тумбочку. Вначале Нютка бегло просматривала их. Только подписи. Там не было ничего интересного. Нютка бросала газеты на тумбочку, отворачивалась к стене и сосредоточенно теребила на коврике бахрому.

А потом пришло сразу два номера — один и на следующий день другой. А там на третьей странице были такие большие статьи, что они занимали весь низ, и для подписи оставалось совсем немного места в правом нижнем углу.

Нютка прочитала их целиком. И о том, как цветут вербы, и как весна бродит по тайге, и мешает нефтеразведчикам жить. И еще о том, что самые счастливые это те, после которых на земле остаются новые города, и леса, и сады. А города, как люди. Они рождаются, и живут, и ширятся, и умирают тоже, как люди: медленно и грустно.

Эти газеты она тоже спрятала под подушку, а потом завернула их вместе с книгой, которая напоминала о Журавлеве.

Города, как люди, — думала Нютка. — Какие они? А за окнами бабкиной избы плескался Байкал и на кромке его у самого неба дымил, похожий на запятую, пароход.

Нютка смотрела в окно и слушала, как бабка копошится на кухне. Там в углу стоял большой сундук, кованный в ромб медными полосками. Когда бабка повертывала в замке ключ, раздавался тонкий, похожий на музыку перезвон и потом еще долго внутри сундука что-то прозрачно ныло, затихая, как тронутая ветром струна.

Это был старинный сундук, каких уже давно не делают. В нем хранились старые бабкины вещи — суконные девичьи платья, изношенные простыни, лоскутки, пожелтевшие от времени кружева, связанные из ниток «краше».

Нютка слушала как бабка перебирает эти вещи и смотрела в окно. Ей не хотелось возвращаться домой, но она знала, что этого не избежать. И все-таки сидела неподвижно у окна, глядя на Байкал, за которым были какие-то земли, может быть, совсем не похожие на ту, где жила она, и какие-то города, которые жили как люди, и какие-то люди, которые казались ей похожими на Журавлева.

— Бабушка, — тихо позвала Нютка, — слушай, бабушка...

— Это вот тебе, Нютка, — сказала бабка, появляясь из-за печи. Она не слышала, как звала ее Нютка и держала в руках старомодное шерстяное платье с бархатным воротником и тесной талией. Она растягивала платье за плечи и у нее было торжественное лицо и ликующие глаза. — Из хорошего материала дед заказывал. Две рыжих отдал да еще... А?

— Спасибо, бабушка.

— Хоро-о-шее платье. Две рыжих отдал.— Она присела на лавку и положила платье на колени. Бабка поглаживала его дрожащими узловатыми пальцами и у нее было грустное лицо, обращенное в прошлое. — Вот думала, ежели в город пойдешь...

— А я пойду, бабушка. Я скоро совсем от вас уйду. Далеко-далеко. Скоро-скоро.

— Да, — сказала бабка. — Скоро-скоро. Хорошее платье. Вот и ладно. А я лягу на печку и растаю и хорошо мне. Нету меня и ладно.

— Не надо, бабушка, — сказала Нютка. Она смотрела на бабкины руки — коричневые с синеватыми жилами и кривыми от нелегкой

жизни пальцами. И на платье — помятое, старомодное и все еще крепкое. Таких не носили даже в Сосновке.

— Его подправить можно. Перешить. Хорошее платье.

— Спасибо, бабушка.

— Нютка!.. Нютка, мать твою! — голос был хриплый и злой, как у того пастушонка, когда он бросил на нее свернутый в трубку пылающий огонь.

Бабка выпростала из-под платка ухо.

— Кличет, ирод.

— Зовет, — сказала Нютка. Она вцепилась пальцами в пушистые завитки над ушами и отчаянно затрясла головой. Лицо ее исказилось.

— Не пойду я, бабушка, не пойду.

— Нютка!

— Уйду.

— Давно те говорила, — сказала бабка и аккуратно свернула платье — пополам, рукавами внутрь, потом еще пополам и, поглаживая, положила рядом с Нюткой. — Сожрет он тебя, окаянный.

— Не сожрет, — сказала Нютка. — Я завтра уйду.

Солнце смотрело в окошко низкое и теплое. Оно вспыхивало на морской зыби недолговечными огнями и гасло и через секунду вспыхивало снова, золотистыми пьяными искрами.

— Уйду.

Бабка погладила ее сухой дрожащей ладонью...

— И будешь ты одинокая моря рыбка.

— Не буду, бабушка. Не буду я.

Бабка качала головой.

— Я у тебя останусь до утра, а? Останусь, — сказала Нютка.

У бабки были блеклые глаза и грустное старческое лицо с синим ртом и мягкими частыми морщинами на щеках.

— Все равно мне, бабка. Дверь замкну, вот, а?

Бабка качала головой и смотрела на Нютку пристально и ласково.

Было слышно, как бился о берег Байкал. Это походило на шум далекого поезда или на вздохи ветра, когда копошится он и ломит старые вербы. Но это бился прибой.

2

— Куда собралась?

Нютка, не отвечая, укладывала в узелок полотняные рубашки, обвязанные по низу широким кружевом.

— Куда?

Она затянула узел и направилась к двери.

— Ухожу я.

— Куда! — тяжело затопали сапоги.

Нютка кубарем с крыльца, за калитку и к бабке.

Старуха колола лучины. Она отбросила секач и поднялась с колен.

— Ну вот, — сказала Нютка, — и все.

Она сняла с гвоздя журавлевский рюкзак и опустила в него узелок. Рюкзак пах одеколоном и табаком. В нем лежали полотенце, помазок и безопасная бритва в коробочке, перетянутой резинкой.

Бабка стояла, подперев кулачком щеку. Она смотрела, как Нютка застегивает пряжки и временами прикасалась уголком косынки к влажно блестевшим морщинкам. А потом, когда Нютка уже забросила рюкзак на плечо, бабка вдруг замахала руками и бросилась к сундуку. И опять запел замок и долго даже после того, как была поднята крышка, звенела и ныла в сундуке какая-то пружина.

Бабка торопливо отбрасывала разноцветные тряпки, лоскутья и узелки.

— Вот, — она отыскала на самом дне железную коробку из-под монпасье. В ней что-то бренчало, когда бабка повернула ее набок. — Те сберегла. — Она порылась в коробочке и подала Нютке тоненькое колечко с похожим на капельку неба камушком. — Бирюзовое. Дедов подарок. — Потом вынула из той же коробочки тугой сверточек и размотала с него тряпку, лофтачек газеты и нитку. — Вот, — у нее дрожали пальцы. — Денежек маленько. С пенсии. На што мне.

— Не надо мне, бабушка. — Нютка обняла старуху и почувствовала, какая она сухонькая и худая под тоненькой кофтой.

— А мне на што? Бери, бери.968Мале-е-нько.

Бумажки были новенькие и пахли нафталином. Нютка ткнулась лицом в бабкино плечо. Она безуспешно пыталась проглотить душный комок и не могла и чувствовала, как у нее вздрагивает подбородок.

— Сгодятся! — Бабка вытерла уголком косынки Нюткины глаза, мягко прикоснулась к ним губами и суетливо перекрестила.

— Вот и ладно. И с богом, — и потом, когда Нютка спускалась с крыльца, а после пересекала двор, старуха все смотрела через окно ей вслед, и качала головой, и у нее был грустный дрожащий взгляд, а в морщинках под глазами затаилась блестящая влага. И она не замечала ее, потому что ей не от кого было ее таить.

А Нютка вышла на дорогу и проскользнула мимо родного дома, сумрачно смотревшего на нее из-под насупленных наличников, и за-

торопилась в гору, туда, где лежала береговая тропа на Сосновку. Она миновала соседний плетень и еще одну избу, из окон которой смотрели белоголовые мальчишки, когда сзади послышалось отчаянное и злое:

— Стой, падла, куда?! Сатане продалась! Стой!

Иннокентий выскочил из калитки всклокоченный, с яростно ощеренным ртом и сжатыми кулачищами. Он потрясал ими и топал сапогами. Ветер с Байкала рвал белую, распахнутую на груди, рубаху.

— К кобелю бежишь, сволочь. Убью!

Нютка подкинула рюкзак и метнулась к тропе. Через плечо она видела, как спотыкаясь, Иннокентий бежал к дому. Он скрылся во дворе. Тотчас появился снова. В руках было ружье. Матерясь, на ходу пытался загнать в казенник патрон.

— Убью!

Нютка почти достигла опушки, когда сзади хлестнул выстрел. Ей показалось, что он раздался возле самого уха. Сердце остановилось. Нютка вцепилась в шершавый сосновый ствол и оглянулась.

Иннокентий медленно поднимался с колена. Ружье валялось в траве и ветер относил в сторону пороховую гарь.

Вначале Нютке показалось, что Иннокентий ранен и она бросилась вниз. Но он встал и Нютка поняла, что ошиблась. Иннокентий стоял покачиваясь и глядя на ружье. Потом он посмотрел на руки и поднял лицо. Оно было съежившимся и белым. Иннокентий провел по нему пятерней. Пальцы дрожали. Он сжал ими подбородок и, мелко кивая, посмотрел на Нютку. Потом снова провел ладонью по лицу, подобрал ружье и поплелся к дому.

Иннокентий шел, держа ружье за ствол, и оно волочилось за ним по земле, как палка...

Нютка вышла на тропу. С моря тянуло свежестью. Деревья над головой были просвечены солнцем и под ногами лежали крапчатые тени. Волнение улеглось и Нютка с горечью думала об отце. И вспоминала его согнутую спину. И то, как он тащил за собой ружье. И как приклад поднимал пыль и подпрыгивал на колдобинах.

Однажды в просвете хвойных ветвей она увидела Уткин нос. Он лежал далеко внизу, ограниченный белой кромкой прибоя, с черными огородами, темными крышами изб и перевернутыми лодками на берегу.

Нютка отыскала глазами бабкину крышу и долго смотрела на нее. С высоты Байкал казался шире, а облака высокими и вытянутыми, похожими на крылья диковинных птиц. Это были совсем летние облака. И они плыли над Байкалом и отражались в нем, и пропадали за горизонтом. Они плыли над всей землей — совсем белые облака, похожие на крылья диковинных птиц, которых не видел ни один человек на свете.

Майя БОРИСОВА

Грибной дождь

— Я не понимаю тебя,—
Сказал мне молоденький физик.
(У него была тонкая шея
И наивные голубые очки,
Взлетавшие с загорелого лица,
Как детские воздушные шарики).

— Я не понимаю человечества,—
Сказал мне молоденький физик.
(У него были сильные пальцы
И пронзительные голубые очки,
Сверкавшие на загорелом лице,
Как острые магниевые вспышки).

— Я не понимаю людей,—
Сказал мне молоденький физик,—
Почему они так беспечны?
Почему они не думают о том,
Что сегодня над головою каждого,
Выражаясь несколько условно,
Висит сорок тонн тротила.
Эта цифра сейчас, наверное, устарела,
Но за сорок тонн я могу ручаться...—
Так сказал мне молоденький физик
И убежал на волейбольную площадку,
Где метались, сталкиваясь,
ладони и крики,
Где «ихние»
начинали теснить «наших»,
И мячик летел из-за сетчатого занавеса
Подобно маленькой и злой ракете.
А его
«почему?»
осталось лежать на столе.
Сначала оно было с чечевичное зерно
И пыталось уйти в землю.
Потом стало величиною с блюдце
И пыталось взлететь,
Но что-то явно препятствовало полету,
И вопрос сделался похожим на гриб.
Он сделался похожим на большой гриб.
Он сделался похожим
на большой гриб,
Но все распухал, поднимался, рос,
И рыхлой шляпкой
касался солнца и звезд,
И ветер отрывал от него куски
И нес, роняя на поля и кусты,
И города начинали ссориться с небом,
И вопрос становился дождем и снегом,
И падал, падал
на свет и во тьму:
Почему?
Почему?
Почему?

И я услышала, что сказала трава

Я лишь трава, трава, трава, трава.
По всей планете
кинут мой посев.
Какие в жизни у меня
права?
Быть вечно тише всех и ниже всех.
Я промокаю под дождем косым,
Я высыхаю, выцветаю в зной,
Иду стеной под лезвие косы,
И скот губою тянется за мной.
Слаба я, непригодна для борьбы.
Я гнусь от легкой тяжести росы.
Одно лишь я умею:
это быть.
Одно лишь дело знаю я:
расти.
Меня палило войнами дотла,
Меня сапог топтал за пядью пядь,
Меня давили камнем —
я росла.
В гудрон ковали —
я росла опять.
Меня ученый
в ступке растолок,
И посадил за хрупкое стекло,
И вместо неба дал мне
потолок,
И кварцевое солнце меня жгло.

Но снова клетки в нити я плела,
Извечную осуществляя цель,
И снова я наращивала цепь
И к возрожденью
ощупью брела.
Одна задача мне судьбой дана.
Ошибки при решении редки.
Я старюсь и роняю семена,
А семена пускают корешки.
По мне бегут дорога и тропа,
И пролетают трассы автострад...
Я лишь трава, трава,
трава, трава.
Но если мир
забудет стыд и страх
И, варварским безумьем обуян,
Ударит смертью
по лицу Земли,
И в ужасе забьется океан,
Материки топя, как корабли,
И смерч палящий выпьет воду рек,
И злой туман
испепелит ростки,
Во мне ты будь уверен,
человек,
Я все равно
сумею
прорасти.
Сквозь миллионы лет
Я прорасту.
Сквозь темноту и свет
Я прорасту.
Сквозь каменную твердь
Я прорасту.
Сквозь хаос и сквозь смерть
Я прорасту.
Сквозь тихие гробницы
Прорасту.
Сквозь мертвые глазницы
Прорасту.
Сквозь спекшуюся тину
Прорасту.
Сквозь прах радиоактивный
Прорасту.

И сказав это, замолчала трава,
потому что увидела: идет женщина.
Шла женщина, тяжело печатая шаг,
На раскрытых губах
баюкая голос свой.
И живот ее был огромен,
как земной шар,
И живот ее был сферичен,
как небосвод.
И плечи ее были круглы и сильны,
Как пара медлительных и добродушных волов.
И брови ее звенели, как две струны,
И легко взлетали
к ниве русых волос.
И глаза ее были, как два лесных озерка,
И ресницы, как сосны,
светло затеняли их.
И моря отражали ее в десятках зеркал.
И, прислушавшись к медленной песне,
ветер затих.

Вот о чем пела женщина

Дитятко малое,
Кровинка моя!
У своей у мамы я
Пятнадцатая...
Доля страшная
Ей была завещана:
Дочка младшая
На слезах замешана.
Ой, в земле мерзлой
Не растут семена!
Четырнадцать
мертвых
До меня, до меня.
Дощатые полати,
Крыша с трубой...
Проклятье, проклятье
Висит над избой,
Над бабьей головой.
А под каждым оком
Синь лежит.
А под наши окна
Поп бежит,
Говорит:
— Брось, брось!
Говорит:
— Спи врозь!
Мало ль слез пролито?
Проклята ты,
проклята!
Дощатые полати —
Защита слабая,
Сорок тонн
проклятья
Над одной бабою!

А мать попу-то:
— Уйди, цел покуда!
А мать — врачу:
— Слушать не хочу,
Сами квас заведем,
Сами остудим,
Будет у меня дите,
Будет, будет,
Четырнадцать неживых —
Живого желаю!

Четырнадцать
неживых.
Я — живая.
Зеленую почку
Не резать ножу!
Кровинку-сыночка
Под сердцем ношу.
Жги меня в огне,
Убивай, вешай!
Жизнь — во мне
Вечная, вечная.
За нее борюсь
Истово, верно.
Ничего
не боюсь:
Мамою
не велено!

Так пела женщина. Но тут откуда-то издалека прилетел страшный ветер — тяжелый и солоноватый, и тихие голоса звучали в нем. «Я с Эгины, с Эгины»,— прошелестел ветер и упал, обессиленный.

И стали слышны голоса узников с острова Эгины

Да, мы слыхали, что смерть над землею нависла
и, солнце тесня,
тяжело расползлась на полнеба.
Не был, не был
солнечный луч уже долгие годы
в склепе унылом, где нас, не убив,
схоронили,
где горе нас гложет и сердце тоска
нам сжимает тисками.
Из камня, из камня
голос наш слабый толкается, точно травинка.
Только отчаянье входит без пропуска
к нам в казематы сквозь толстые стены.
Стоны, стоны
хочет сорвать оно с губ
и ресницы слезами спалить,
и похитить из сердца надежды.
Где ж ты, где ж ты,
наша земля и полей наших скудное лоно,
и жены,
чьи груди иссохли без ласки,
и нежные девушки,
те, что повенчаны с нами,
с нами, с нами.
Но пусть мы забыли
запах волны и весла
и настойчивость вольного ветра,
вера, вера
наша прочнее, чем камни,
надежней, чем штык часового,
и бдительнее, чем пес коменданта,
кровавую пасть раздирающий люто.
Люди, люди,
там, на свободе,
над вами распахнуто небо —
очищайте, его, защищайте!
Солнце кладет вам на плечи ладони —
его не давайте в обиду!
Крик наш да будет набатом!
Пусть он вольется в уши живых
и к каждому сердцу
дорогу отыщет.
Тише, тише...
Близится срок,
и товарищей наших выводят
и ставят под дула винтовок.
Тише...
Минуты крадутся...
Залп!

И покачнулась Земля, и вздрогнули
стрелки часов, и старый мастер удивленно
выкинул из глазницы круглое стеклышко.
В это время на стол к нему упали
жгучие капли грибного дождя, но старик
ничего не заметил и бормотал
просто так.

Вот что сказал старый часовщик

Я — обычный ремесленник.
Я одинок и сед.
Я не врач, не учитель, но я
лечу и учу.
Ах, простите,
мне что-то сейчас заслонило свет...
Сорок тонн тротила?
Вы их отодвиньте чуть-чуть...
Как сказали вы?
Жизни кинуты на весы,
И лицо Земли от страха стало темней?
Но ведь я — часовщик.
Я должен чинить часы.
Это очень важное дело,
поверьте мне.
Вот уже долгие годы
к светящемуся окну
Ремесло меня прилепляет, подобно смоле.
Я минуты, как хлебные катышки,
в пальцах мну
И секунды пинцетом ловлю на моем столе.
Вы опять про тротил?
Ну, положим, взорван тротил.
На Земле только трупы — веселый обед червям.
И, как пьяный
кровельщик — со стропил,
Шар земной летит, кувыркаясь,
ко всем чертям.
Он летит во тьму, в никуда,
к неизвестным мирам,
К тем, не знающим, кто он, зачем,
и вообще чей сын.
Но ведь время-то живо.
И надо его
отмерять.
Значит, снова на мертвой планете
возникнут часы.
И опять мурашами
поползут между стрелок года,
И века, точно слезы,
будут скатываться со щек...
Но часы — они все же ломаются,
и тогда
Возле них непременно оказывается
часовщик!
Значит, мне уготована вечность.
В тишайшей из тихих бухт
Я укрылся от бурь,
и не страшно мне ничего.
Но учтите, люди:
время способно на бунт,
Если очень долго и больно ранить его.
И часы холодны и бесстрастны лишь до поры:
Иногда в них пружины клокочут,
как кровь рабов,
И тяжелые маятники взлетают,
как топоры,
И разносят в щепки футляры, как стенки гробов,
И людские заботы касаются их голов,
И ложатся минуты,
как пули,
тесней и ловчей,
И взбешенное время летит,
сбиваясь в галоп,
И себе под копыта сбрасывает сволочей,
И его не удержишь,
не крикнешь: «Эй, подсади!»
Не уймешь шамберьером,
загнав в циферблат, как в цирк.
Ну, а я прихожу, когда все уже
позади.

И часам распаленным регулирую балансир.
Люди,
все-то вам кажется:
время можно пинать
И кормить его порохом, и тротил заставлять
носить...
Но смотрите:
у него уже грузом сбита спина,
И дрожит оно, и кровавым глазом косит!

Наверное, старик говорил бы еще долго,
но тут произошло следующее:
Раздался удар.
Он был громок, как будто все пушки мира
обрушили снаряды
на стены высоких и хрупких городов.

Раздался удар.
Он был громок, как будто все пушки мира
выбросили из радостных жерл
ликующие огни фейерверка.

Прозвучал крик.
Он был оглушителен,
как измученный вопль победителей.

Прозвучал крик.
Он был оглушителен,
как яростный стон побежденных.

Это молоденький физик
на волейбольной площадке
срезал «крученый» мяч,
и игра закончилась
победой «наших»
со счетом 15:13.

Владимир ГУСЕНКОВ

ЗАЙДИТЕ К ДЕКАНУ

Повесть

1

Табачный дым застилал редакцию. Юра Войнарович с трубкой в зубах сидел у окна. Он знакомился с очередным рассказом Римана.

Действующих лиц было немного: окоченевший снегирь, выступающий в роли статиста («он печально мерцал бисерным глазом»), и молодой человек, вынужденный чуть ли не на двадцати страницах околачиваться в зимнем парке, куда его привела роковая страсть к воспоминаниям.

Прочитав сцену, где взволнованный юноша останавливается возле скамьи и мысленно покрывает ее поцелуями, Юра поднял голову и с усмешкой посмотрел на Римана. Кандидат в Мопассаны сидел на диване и небрежно поигрывал ключом от английского замка.

Горбоносый и бледный, Риман с его журавлиными ногами походил на водевильного маркиза. Еще со школьной скамьи он стал ревностным поклонником сцены. Ему очень хотелось сыграть роль Генриха IV. Но Генрих не носил очков, а без них Риман обязательно за что-нибудь цеплялся ногами. На факультете без него не проходила ни одна постановка, а так как он больше всех размахивал руками и цитировал Станиславского, ему и выпала честь стать режиссером. К мысли о писательском поприще Риман пришел совсем недавно.

— Ну как, на уровне? — спросил он.

Юра неторопливо выколотил трубку о подоконник и, вытянув ноги, меланхолично оглядел свои огромные чешские туфли.

— Как тебе сказать, — лениво заговорил он. — Сопливо это все и незначительно.

Ключ исчез в кармане Римана, а сам он, поправив очки, медленно поднялся с дивана.

— Понятно! Давай сюда рукопись!

— Понесешь в другую редакцию?

— Это неважно.

— Жуткий ты человек.

— Не я, а ты. Сидишь, как...

Риман нервно поправил манжеты и с ненавистью посмотрел на худые жилистые руки, в которых находилась судьба его рассказа.

— Никогда с тобой не договоришься, — приводя в порядок трубку, сказал Юра. — Приносишь разное дерьмо да еще и в бутылку лезешь.

— Ноги здесь моей не будет!

— Наконец-то...

Легким пинком Риман загнал под диван выглянувший снизу окурок и сел на прежнее место. Уходить было нельзя. По секрету он уже успел оповестить весь факультет, что намерен опубликовать в университетской газете одну из своих вещей.

— Отошел? — спросил Юра.

— Я не псих.

— ...вот и отлично. Почитай пока газету, а я тут у тебя кое-что уберу. Ты, конечно, не возражаешь?

«Мы решительно выступаем против всякой заумности, против слезливости и меланхолии. С этих позиций нам и хотелось бы проанализировать очередную литературную страницу».

Риман усмехнулся и стал читать дальше.

— Пять страниц, как у Хемингуэя, — от-

кладывая в сторону красный карандаш, сказал Юра.

— Там же было семнадцать!

— Могло быть и больше.

— Ладно! — уступил Риман.

Сонет, который в этот день намеревался дописать Валька Хлебников, был начат еще в четверг. Шла лекция по стилистике, и вся группа томилась под испытующим оком Великого Могола. Валька старался бывать на стилистике как можно реже. Но в тот день староста разложил перед ним журнал и показал все его пропуски. Пришлось остаться: с деканом Валька не любил иметь дело. Именно тогда он и начал свой четырнадцатый по счету сонет. Сегодня ему хотелось завершить его. В комнате пахло полынью и только что вымытыми половицами. Сергей Курков, исследовав шваброй все закоулки между чемоданами и стульями, прикончил в углу последнего паука и, вволю наплескавшись, завалился на кровать. У стола, неторопливо потирая щетину, стоял Леон Болотников. Он собирался бриться и теперь мучительно раздумывал над грудой старых лезвий.

Валька достал бумагу, приготовил карандаш и, подойдя к окну, облокотился. В городе была весна. С карнизов то и дело срывались целые глыбы льда и обрушивались на тротуары. Перед останками каменной ограды сгрудились лиственницы. Валька представил себе задворки, оглохшие от птичьего щебета — и внезапно грудь его стеснилась. Леон Болотников успел за это время взбить пену, приставить к чайнику зеркало и довольно обстоятельно обследовал свое лицо. Оно, как и следовало ожидать, не изменилось за истекшую неделю.

«Была у него крепкая, как бы из мрамора, шея и открытое лицо простолюдина», — не без иронии подумал он. Взгляд его снова остановился на лезвиях. Их давно пора было выкинуть, но этого никто не делал. Почему-то всем казалось, что если хорошенько порыться в заветной коробке из-под мармелада, обязательно можно найти более или менее сносное лезвие. Оно всегда находилось это «более или менее сносное лезвие». Двумя пальцами его подолгу гоняли в стакане, любовно оглядывали со всех сторон и приступали к делу.

— Я тебя понимаю, старик, — сочувственно заметил Курков. Он пошевелил ступнями, которые бесстыдно упирались в Колину кровать, и посоветовал смочить лицо горячей водой.

— Можно даже подержать физиономию над паром.

— Долгая история, — отозвался Леон и, выбрав лезвие, попытался определить его достоинство.

Кажется, карандаш им еще не затачивали,

— Вот Валя у нас счастливый человек, — продолжал Курков, — бреется один раз в месяц и никаких тебе хлопот.

— У лирических поэтов вообще растительный покров развивается очень замедленно, — сказал Леон.

— Странная особенность.

Курков уперся локтями в подушку и отвернулся.

В комнату ввалился Риман.

— Привет двадцать четвертой! — заревел он с порога и шумно обрушился на кровать.

— Тише! — остановил его Курков. — Не видишь, люди заняты. Валя вон мучается второй час. Кумир у него Бельведерский засел в голове.

— Минута — и стихи свободно потекут, — воздевая свои тощие руки, продекламировал Риман.

Этого нельзя уже было вынести.

— Скоты! — поворачиваясь, сказал Валька и швырнул в тумбочку голубую тетрадь. Четырнадцатый по счету сонет так и остался незавершенным.

— Слушай, дорогой, — обращаясь к Риману, сказал Леон (на подбородке у него уже красовалось два бумажных пластыря), — одолжи пятерку до понедельника? У тебя ведь есть...

— Только на трамвай.

— Втирает очки, — авторитетно заявил Курков, — есть у него деньги.

— Откуда ты знаешь?

— Тебе же каждую субботу папаша отваливает по четвертной.

— Кончились субботы.

— Это почему же?

— Мэ нарисовалась в деканате.

— Понятно. Обнаружились серьезные пробелы в воспитании ребенка, и дотация временно прекратилась.

— Вот именно, — сказал Риман, — со мной все ясно, а куда ты сплавляешь свою валюту? Скопидомничаешь? Видел я, как ты с работягами в то воскресенье траншею оттаивал. Махнул тебе еще рукой, да ты не заметил: поленья какие-то ворочал. Интересно, сколько вам там отваливают?

— А ты устраивайся, узнаешь.

— Это землю-то долбить? Лучше скажи куда деваешь деньги.

— Содержу двух женщин, — самодовольно усмехаясь, ответил Курков.

— По восточному обычаю, значит?

Леон, на лице которого появился еще один пластырь, с досадой придвинулся к зеркалу.

— Растрепались, как старые девы, — заметил он и покосился на коробку с лезвиями.

2

Алке не пришлось иметь дело с картофельным полем и кухонными котлами, поэтому все были потрясены ее чистыми ногтями и безупречным цветом лица. Очень скоро все пришли к единодушному мнению, что Алка недурна собой. Через неделю выяснилось, что она вполне вакантна во всех отношениях. Поклонники не замедлили о себе напомнить. В число рыцарей, ищущих вечного обета, попал и Леон. Алка никого не отталкивала, но разговоров о вечной любви старалась избегать. Не поддались ее чарам только двое: Коля Столетов и Сергей Курков. Внимание первого было целиком поглощено штангой. Что касается Куркова, то он смотрел на жизнь трезво и не собирался пополнять ряды безработных рыцарей.

Леон раньше других понял, что Алке нужны не поклонники, а товарищи. В соответствии с этим он изменил тактику. Разговоры его перестали носить априорный характер, серьезность уступила место юмору. Конкуренты не выдерживали.

Желая показать, каких недюжинных людей теряют иногда женщины, Валька Хлебников в ближайшие два года решил выпустить сборник стихов, пересмотреть всю периодику и развить в себе феноменальную память.

После второго курса они вместе попали в диалектологическую экспедицию.

Стояло ясное теплое лето. Облака-лежебоки, как розовые младенцы, лежали в своих божественных гамаках, щурясь от яркого солнца. На широких полянах пряталась в траве земляника. Охмелевшие от зноя цветы горицвета издавали густой аромат, и все удивлялись их богатырскому росту.

По проселочным дорогам, мимо столетних лиственниц и березовых рощ, экспедиция двигалась на север. Там были глухие деревушки, похожие на хутора, и в них жили сказители.

Великий Могол, строго следивший за порядком в экспедиции, изводил их по дороге лекциями, прививая любовь к русскому фольклору, однако без конспектов он скоро выдохся и вместе со всеми стал восторгаться птичьими гнездами. В сущности, он оказался не таким уж и сухарем, каким его представляли раньше. Именно от него на одном из привалов Железная Зинаида получила огромный букет клубники, который тут же был обглодан. Могол при этом долго смеялся, пытаясь скрыть свою сорокалетнюю грусть семьянина за неуклюжими остротами.

Когда экспедиция достигла реки, по ее берегам стали чаще появляться деревни. В них задерживались по три, по четыре дня.

Обычно в таких случаях Великий Могол посылал человека два в правление (прислушиваться к местным говорам), а остальных целыми днями водил по избам. Заспанные старухи, перебирая вязальные спицы костлявыми пальцами, принимали его за агитатора, приехавшего разгонять религиозный дурман. Могол требовал от них заговоров и объяснял, как это нужно для науки. Однажды он отыскал самую настоящую ведьму. Опираясь на клюку, она стояла в амбаре и пересчитывала только что вылупившихся цыплят. Могол тут же купил у нее две кринки молока, а вечером старуха, сообразив, наконец, что требует от нее наука, пробормотала несколько страшных заклинаний.

«Господи боже наш премилостивый, царю святый, отжени всяк недуг от раба своего, от душа и от тела... от пупа, от ключ, от сердца... от матерне и от своего соблазна, от лядвей, от бедр... вне уду и внутрь уду, преложи от немощи...»

На следующий день Леон не выдержал и предложил Алке удрать на остров. Пока Могол возился со своими записями, они успели спуститься по крутому берегу к воде. Отвязывая лодку, Леон кощунствовал над кладезем народной мудрости:

— ...вне уду и внутрь уду... к вечеру вернусь, к молоку приложусь...

Алка крестилась и плевала из-под руки.

На острове было много черемухи и красной смородины. За песчаной косой рдели багряные гроздья боярышника. Вытащенная на берег лодка с откинутыми веслами походила издали на огромную саранчу. Алка неторопливо стянула с себя платье и направилась к реке. Голубой купальник плотно облегал ее тело. Увязая в песке, она дошла до воды, подобрала пустую раковину, приложила ее к уху и, размахнувшись, бросила в воду. Леон достал папиросы, закурил и, запрокинувшись на спину, прикрыл глаза.

«Отжени всяк недуг от раба своего, — наклоняясь к нему, забормотала старуха, — от пупа, от сердца... от матерня и от своего соблазна...»

За кустами, позвякивая бубенцами, бродили стреноженные лошади. Перекликались ба-

бы. Огромный шмель плюхнулся рядом в траву и сердито заворочался.

«Если ты ее сегодня не поцелуешь, на веки вечные останешься круглым дураком». Леон открыл глаза и перевернулся на бок. Алка уже выкупалась. Она стояла на берегу и отжимала волосы. На ее высоких смуглых ногах вспыхивали капли воды. Когда она вернулась назад и опустилась рядом с ним на песок, он искоса взглянул на ее профиль.

Очень плавный и легкий он мог бы украсить альбом любого современного графика. И тогда искусствоведы решили бы, что здесь влияющую роль сыграла античная скульптура. Нельзя же, в самом деле, обойтись без ссылки на Поликлета или Фидия, если речь идет о таком классическом профиле.

«Хотя бы одна веснушка», — подумал Леон. Ему даже стало обидно, что Алка такая красивая. Окажись она чуть-чуть подурнее, и все обстояло бы гораздо проще: он опрокидывает ее на песок, она делает вид, что отбивается, следует волнующий кадр из фильма «Первый поцелуй» (дети до шестнадцати лет не допускаются) — и счастливая развязка близится к концу. Крупным планом лицо девушки. У нее не очень ровные зубы и мило вздернутый нос.

Леон выплюнул окурок. Алкины зубы были в идеальном порядке, нос никак не подходил к разряду вздернутых, а так называемая счастливая развязка нуждалась в серьезной проверке. Леон приподнялся на локте и совсем близко увидел беспомощно прилипший к шее завиток. Вода все еще сочилась с Алкиных волос. Его охватило смятение. Как некстати он выкурил эту папиросу. Просто свинство с его стороны. Можно, правда, подождать, но вдруг ей вздумается лечь животом на песок. Не поворачивать же Алку на лопатки. И чего только не придет в голову наедине с красивой девушкой.

Холодея от решимости, Леон осторожно охватил Алкину голову, привлек ее к себе и, закрыв глаза, поцеловал. Она спокойно отвела от себя его голову и, не отодвигаясь, в упор заглянула ему в зрачки.

— Ты думаешь, я от этого стала счастливой?

Леон ожидал, что она зардеется, на худой конец закатит ему оплеуху, но Алка вытерла губы платьем и, отвернувшись от него, стала смотреть на баб, которые шли к перевозу с корзинами, полными ягод.

Вечером Великий Могол послал их к одному старику, который, по слухам, знал якобы какие-то уральские былины. Все это оказалось сплошной липой. Старик ничего не знал, кроме анекдотов, и весь вечер ругал председателя колхоза. Долго задерживаться в насквозь прокуренной горнице они не стали. Огородами вышли к околице. У поваленного плетня нашли колоду и долго сидели на ней. Потом побрели вдоль реки по колено в траве и тумане. Из-за кустов проглядывала младенчески полная луна. Возле огромной, осевшей набок березы Леон притянул Алку к себе, но она, смеясь, отвернула голову и, не делая никаких попыток освободиться, спокойно стала поправлять волосы. Он слегка растерялся. Стоять под березой и держаться за Алкину талию становилось, безусловно, глупо.

— Отпусти, пожалуйста! Я ведь не упаду, — попросила она. Леон разомкнул руки и, отступив в тень, принялся внимательно изучать поверхность коры.

— Никогда не думала, что в тебе столько нежности, — прислонившись к березе с другой стороны, насмешливо заговорила Алка.

— Это у меня от дневной жары, — кратко пояснил он.

Алка вздохнула и положила голову на дерево. Замолчали они надолго. Смотрели на Большую Медведицу, слушали, как деревенские парни орали песни и потом крыли кого-то почем зря... Возвращались по намокшим, отяжелевшим от росы травам. Лаяли собаки. На острове, едва различимый среди кустов, занимался костер.

В городе Алка пригласила Леона к себе.

Высокая женщина в просторном оранжевом платье вышла ему навстречу и, улыбаясь свежими, как розовый бутон, губами, протянула руку. Сорокалетняя Диана стояла перед ним. Леон почтительно пожал целых два великолепных пальца (остальные почему-то выскользнули) и кротким голосом возвестил свое имя. Тут же он увидел мужчину небольшого роста с удивительно светлыми глазами и высоким благородным лбом. «Алкин отчим» — догадался Леон и с наслаждением стиснул костлявые серые пальцы.

— Однако, — сказал мужчина. С нескрываемой завистью он оглядел фигуру Леона и, помедлив, благосклонно кивнул головой.

Очень скоро Леон понял, что Ольга Борисовна любит читать «превосходных французов» и делать столичный салат, а Константин Матвеевич — курить сигареты и говорить о якутских алмазах, существование которых он «предсказывал еще в конце тридцатых годов». Тогда его затерли, послали на Хамар-Дабан, но пытливым теоретиком он все равно остался на всю жизнь. Слабостью Константина

Матвеевича был телевизор. Учитывая это, Леон намекнул Алке, что удобнее всего ему приходить по вечерам.

В тот самый день, когда Риман принес газету, Леон собирался к Алке. Приглашение было получено еще накануне. Предстояло выклянчить у старосты костюм, найти зажим для галстука, выкрасть у Вальки новые туфли и решить финансовую проблему.

Костюм удалось заполучить сравнительно легко. Оставалось дело за туфлями. Во что бы то ни стало нужно было перехитрить Вальку, который в этот вечер собирался куда-то исчезнуть и наотрез отказался уступить свои модные скороходы. Риман подвернулся прямо-таки вовремя. Если бы не он, до понедельника так никто бы и не узнал о пресловутой газете с напечатанной в ней статьей ректора.

Выслушав отзыв о своих стихах, Валька рассвирепел, как бык. Прессу он назвал продажной, посоветовал всем заткнуться и, запустив подушкой в Куркова, удалился в красный уголок; там его ждал старый диван, всегда готовый к услугам.

Ровно в семь Леон был у Алки. Она ослепила его белым платьем и новыми клипсами.

— Господи! Ты что, на колючей проволоке висел?

— Я брился бульдозером, — ответил Леон и страдальчески прикрылся рукой. В комнате он поспешил заговорить о клипсах, выразил надежду, что они сделаны одним из учеников Бенвенуто Челлини и затем перешел к платью. Оказалось, что алмазные подвески покойной королевы Франции могли бы с успехом заменить мельхиоровую брошь.

— Признайся хоть раз в жизни, на чем у тебя подвешен язык? — попросила Алка.

— На петле из бегемотовой кожи.

— Жаль. Видимо, он не скоро еще у тебя отвалится.

— А, собственно, что сегодня за день? На тебе даже новые туфли?

— Сейчас узнаешь.

Алка вышла из комнаты. Он уселся на стул и от нечего делать принялся разглядывать репродукцию, которая висела над Алкиной кушеткой. Врубелевский Пан невидящим взором смотрел на него из лесной чащи. Правой рукой он поддерживал свирель. Рассматривая изборожденное морщинами обросшее лицо Пана, Леон никак не мог отделаться от чувства странной неловкости. Словно тот обвинял его в неуважении к лесу и требовал вернуть ему нимф, разбежавшихся от него по городам.

— На свирели надо играть, — довольно нелюбезно заметил Леон.

— С кем это ты? — Алка поставила на стол вазу с апельсинами и два высоких бокала. Леон кивнул на репродукцию. Внимание его переключилось на апельсины.

— Не обижай моего уродца, — сказала Алка и с умилением посмотрела на Пана. — Сегодня мы выпьем с ним за мои именины.

— Так вот оно что, — Леон мрачно взглянул на Пана. Глаза лесного бога неподвижно глядели из-под лиловых страшных бровей, — значит бедного друга позабыли предупредить.

Алка расправила скатерть и, подойдя к Леону, шутливо тронула его за подбородок.

— Ну что ты?

— Да в общем-то ничего. Все в порядке.

— Разве я тебе не говорила, когда у меня день рождения?

— Возможно и говорила, да я не обратил внимания.

— Ах, вот как!

Алка отошла к проигрывателю, достала из-за него бутылку вина и поставила рядом с апельсинами.

— Помоги мне, пожалуйста, собрать на стол.

Леон молча взялся за штопор. Такие именины он видел впервые: подоконники не ломились от подарков, в кухне не стучали ножи, в прихожей не охорашивались гости, и улыбающийся отчим не затевал разговоров о пиритовых трубках, которые снились ему на Хамар-Дабане.

— Что ж ты замолчал? Настоящий мужчина давно бы на твоем месте улыбнулся.

— Возможно, я еще не совсем настоящий.

— Ну со штопором-то ты умеешь обращаться?

— Открывать можно и без штопора.

— Это как же?

— О подошву.

— Вот как! А я-то дура, часа два искала этот штопор.

Алка вздохнула и, улыбаясь, подсела к столу.

— Никогда не думала, что в день своего рождения буду говорить о подошвах.

— Знаешь что? — сказал Леон. — Давай я тебе завтра что-нибудь подарю.

— А может, мы сначала выпьем?

Она наполнила бокалы. Сообразив, что первое слово за ним, он приподнялся с места. Глаза их встретились: одни насмешливо печальные, другие все еще недоуменные.

— Дамы и господа! — начал он.

— Обойдемся без них.

— ...тогда за твое здоровье.

Бокалы осторожно сошлись над вазой с

апельсинами и, дружески толкнув друг друга в хрустальные бока, тут же разлучились.

Алка разрумянилась.

— На тебя действует? — спросила она.

— Это же десертное.

— Румынское, а не десертное.

— Все равно виноградное.

После второго бокала Леону захотелось рассказать о том, как ректор «покатил на них бочку», но Алка заявила, что у нее есть сюрприз. Она дотянулась до подоконника, взяла с него пластинку и подала Леону.

— Что это?

— Смотри...

«Морис Равель — прочитал Леон. — «Болеро».

— Тебе это ничего, я вижу, не говорит.— Она взяла пластинку и подошла к проигрывателю. Музыка захватила его. Он не раз слышал о поющих песках. Он читал о беспощадных, как само отчаяние, пустынях, о городах, покинутых жителями, о высохших пальмах и верблюжьих черепах. Но он никогда не думал, что все это можно вместить в партитуры, в мелодию, в непонятные ему октавы и квинты... Алка слушала, подперев щеки ладонями. Уходили вдаль караваны. Оборванные дервиши слонялись по синдбадовским базарам, а где-то за минаретами, за багровой агонией заката бродили миражи. Это был Восток с его владыками и с его рабами, с его оазисами, полными прохлады и ненависти, с его удивительным прошлым.

Тысячелетняя тоска светилась в изумрудных глазах лесного бога.

Они долго молчали. Уже прощаясь, он спросил у нее:

— Как ты думаешь — у нас неплохие с тобой отношения?

— Думаю, что неплохие.

— Мне почему-то тоже кажется, что неплохие.

3

Комнату вполне можно было назвать чиновничьим архивом или подвалом букиниста. Была она мала и годилась разве что под радиоузел. Юра Войнарович понял это сразу, как только его назначили ответственным за выпуск. «Теремок-теремок, кто в тереме живет», — став на пороге, вопрошал Юра. Из-за кипы газет на него приветливо глянула облезлая мышь. «Одна штатная единица на месте,— подумал Юра. — Будем работать». Громадный стол его огорчил. Писать на нем было неудобно. Сдвинуть — никакой возможности. Весь стол завален газетами и дипломными работами. Глядя на них, Юра вспоминал курские стога. Великим беспорядком пахнуло на нового «ответвыпа». Дальше не могло так продолжаться. И Юра устроил субботник. Он вынес из комнаты два стула, затащил вместо них диван, перевесил календарь с одной стены на другую и почувствовал, что гора с плеч свалилась. После произведенных реформ оставалось только закурить трубку, что он и сделал. Так Юра Войнарович приступил к своим полномочиям.

Редакторская работа его не очень утомляла, и это было в общем-то кстати, потому что он недавно поступил в аспирантуру. Газета выходила два раза в неделю. Редакционный совет функционировал. Дело было поставлено на широкую ногу. Так продолжалось до тех пор, пока на его массивном с яйцеобразными ножками редакторском столе не появилась статья ректора. Юра курил трубку и, недоуменно перебирая свои редкие кудри, читал уникальное творение шефа.

Статья была, что называется, шедевром. На склоне лет шеф проявил бдительность. Прочитав стихи университетских поэтов, он усмотрел в них «интеллектуальный кризис», а возможно и распад личности (прямо об этом не говорилось) и поспешил взяться за перо...

«Пришел король к портному», —усиленно раскуривая трубку, напевал Юра. Его карандаш безжалостно выпалывал восклицательные знаки, которыми изобиловала рукопись. Статья никуда не годилась. Это было совершенно ясно. И Юра решил собрать редсовет. Личность, таким образом, должна была столкнуться с коллективом.

Однако редсовет, состоявший в основном из пожилых деканов и доцентов, не пожелал обострять отношения с шефом. Атмосфера дружбы и взаимопонимания царила за столом; кое-кто откровенно поглядывал на часы, и только вечно взбудораженный Волков, отравивший своими речами не одно заседание, был, как всегда, в ударе. Целых полчаса он выуживал из рукописи весьма пространные выдержки, и с иронией поглядывал на приунывших коллег. Юра давно подозревал, что старый лингвист специально изводит университетских мэтров своим прогорклым красноречием. Недаром он всегда намекал на какие-то интриги, сыгравшие роковую роль в получении им докторской степени. Возвышенный эстет и немного сплетник, он не получил эту степень, зато блестяще овладел искусством риторики. Юра долго не мог понять, на чью мельницу вода, пока наконец Волков не заявил, что хотя он и понимает, как много еще надо работать над статьей, но присоединяется к общему мнению.

Государственный переворот не состоялся. Оставалось последнее: встретиться с шефом лично. Должен же тот понять, до чего глупа эта затея с посрамлением факультетской богемы.

Разговор состоялся на следующий день. Юра обстоятельно высказал свою точку зрения, однако, шеф, задумчиво оглядев нескладную фигуру нового редактора, мягко усмехнулся в остриженные полуромбом усики.

— Вот что, Войнарович,—заговорил он,— я понимаю, что вас беспокоит. Вы боитесь потерять клиентуру, это совершенно ясно. Можете не намекать мне на мою неосведомленность в литературе. Я — физик. Но мне становится не по себе, когда наши златокудрые отроки начинают сравнивать «Капитал» Маркса с могильной плитой, а лопухи — с ушами.

— Что ж тут такого? — заметил Юра. — Это метафоры.

— Не морочьте мне голову вашими метафорами.

Нахмурившись, Юра полез было в карман за трубкой, но, вспомнив, где он находится, оставил ее в покое.

— У Маяковского поезда подползают к мозолистым рукам поэзии и лижут их, — угрюмо проговорил он.

— Помню, — откликнулся шеф. — Срываются гробы, нервничают флейты. Все это я помню, Войнарович. Только давайте опираться не на авторитеты, а на наш непосредственный опыт. Скажите откровенно: вы в состоянии представить эти самые поезда, вылизывающие руки поэзии?

— Пожалуй, да!

— А я утверждаю, что нет! В вашем сознании возникает образ собаки. Только не паровоза, не поэзии и даже не ящера. Чепуха все это. Бред!

— Мифология, по-вашему, тоже бред.

— Применительно к нашему веку? Да!

— Вы субъективны.

— А вы?

Ответить на вопрос Юра не успел: в кабинет бесцеремонно ворвался проректор по хозяйственной части и сейчас же заговорил о коменданте одного из общежитий, который побывал в вытрезвителе. Негодяй пропивал содержимое кладовой. Неизлечимый алкоголик.

Шеф негодующе положил указательный палец на кнопку звонка. Пока он писал приказ, хозяйственник успел пожаловаться на одну милую артель, обжулившую его на целых пять плевательниц, и подробно обрисовать состояние мусорных куч во дворе.

Юра посмотрел на шефа. Плотная фигура с хорошо развитыми плечами красиво возвышалась над столом. Сухо поблескивали запонки, целомудренная белизна манжет любовно огибала запястья. Вообще шеф умел подчеркнуть свои внешние достоинства, и опрятность была его врожденным качеством.

— В трех экземплярах, — протягивая исписанный лист впорхнувшей машинистке, сказал шеф и задумчиво поглядел в окно.

— Вывозить надо немедленно... А плевательницы выбивайте из артельщиков сами.

Юра поднялся. С Маяковским все было ясно, со статьей тоже. Из приемной он вышел походкой каменного гостя. Газета со статьей появилась через неделю, и Риман первый ознакомился с ее содержанием. А затем ознакомились и остальные. Опальные поэты не показывались в редакцию, только однажды неизвестное лицо оставило на столе клочок бумаги, где был изображен скелетоподобный человек с трубкой в зубах, отдыхающий в гробу. Сделал это, разумеется, Болотников. Он и раньше делал пошленькие шаржи. Только на других. Как-то в коридоре Юра столкнулся с Клюевым; и тот лунатиком прошел мимо него, меланхолично обмахиваясь книгой. Матросы сторонились капитана, посадившего их судно на мель.

Клюев стоял у лестницы. Густая щетина обрамляла его подбородок. Появилась она сравнительно недавно и оформиться во взрослую бороду еще не успела. Клюев никому не объяснял, зачем ему понадобилось обзаводиться этим пресловутым украшением мужчин, однако многим было ясно, с чем это связано. Поговаривали, будто Клюев не раз уже ходил в военкомат и просил послать его на Кубу. Свирепо поглаживая свое колючее сокровище, он отмалчивался, когда его спрашивали об этом, или рявкал столь устрашающе, что пропадала всякая охота допытываться.

Вечным спутником Клюева был Кольчугин. Унылым привидением он всюду следовал за ним по пятам, заглядывая в лицо своему властителю. Часто он изводил Клюева чтением своих стихов. Хмуро всматриваясь в круглое безбровое лицо друга, Клюев презрительно усмехался и молча вертел указательным пальцем подле виска. Такая оценка обижала Кольчугина. Часами бродил он после этого по коридорам и мстительно разглядывал расписания.

На этот раз друзья стояли вместе. Когда Леон и Валька подошли к ним, они вели разговор о внеаудиторном чтении.

— Старик, у тебя как с немецким? — спросил у Леона Клюев.

— Двадцать тысяч осталось.

— У меня сорок пять. Старуха стучит клюкой. Послезавтра последний срок.

— Скоро изобретут электронного переводчика, — сказал Валька.

— Кому он к тому времени будет нужен,— с горечью произнес Клюев.

— А вот кибернетические поэты уже есть, — задумчиво проговорил Кольчугин.

Клюев понимающе взглянул на него.

— Ты бы купил такого поэта?

— Дорого стоит, — заколебался Кольчугин.

— Зато в одну минуту может написать десять фестивальных и сорок карнавальных. И все они понравятся ректору.

Обидеться Кольчугин не успел: по этажам прокатилось хриплое эхо электрических звонков. Распахнулись двери аудиторий. Коридор стал походить на вокзал, который наводнили беженцы. С глухим артиллерийским гулом обрушились на лестницы сотни подошв. Клюева чуть не стащили вниз. Он рявкнул на какого-то юношу, зацепившего его папкой и свирепо уставился на двух первокурсниц, обомлевших от его бороды.

— Скифы, — проворчал он, — настоящие кони.

— Это они в столовую, — пояснил Кольчугин, словно никто и не догадывался, куда можно лететь сломя голову после лекций.

Откуда-то появился Цветухин. Неторопливой походкой он направился к лестнице, попутно заглядывая в аудитории. В левой руке у него покоилось кожаное досье, украшенное металлическими застежками, с которым Цветухин никогда не расставался.

— Спасайся, кто может, — сказал Валька, — наш секретарь вышел говорить с народом.

Клюев насмешливо прищурил глаза.

— И почему он мне всегда напоминает адвоката? Просто кошки скребут на душе...

— Ты же ненадежный элемент, — заметил Леон.

— Возможно, — согласился Клюев, — с марта уклоняюсь от уплаты членских взносов.

Разговор пришлось прекратить. Заметив факультетских поэтов, Цветухин направился к ним. Кольчугин первый с откровенной тоской посмотрел на уходящую вниз лестницу. Бежать было поздно. Плотная, в отлично сшитом костюме фигура уже поровнялась с крайним окном. На белой, стриженной под бобрик, голове блеснули квадратные стекла очков. Леон посторонился. Цветухин с каждым обменялся стальным рукопожатием, после чего Кольчугин незаметно спрятал руку за спину, разминая склеенные пальцы, а Валька слегка побледнел — безусловно его приняли за грушевое дерево.

— Ну как жизнь? — спросил Цветухин.

— Хорошо, — вяло отозвался Кольчугин.

— Это самое главное, — одобрил секретарь и, обращаясь к Леону, заговорил о «Комсомольском мече». Боевому органу стенной печати требовались поэты.

— У вас ведь есть на факультете лито. Вот и помогите нам. Будем подбрасывать вам темы, а вы уж там оформляйте их...

Цветухин сделал паузу и обвел всех глазами.

— Ну как? Договорились? Что-то, я вижу, все скромно потупились.

— Тлетворные мы, — промычал Клюев.

— Это почему же?

— А разве ты статью ректора не читал?

— В обязательном порядке.

— Ну и как? — спросил Леон.

— По-моему, кое на что стоит обратить внимание...

— Особенно на то место, где Клюева и Хлебникова вежливо попросили не носить больше стихов в редакцию, — вставил Леон.

— Ну, это уж вы просто перегибаете.

— Чего там перегибать. Ясно сказано — редакция допустила ошибку. А раз допустила, значит должна исправлять.

— О! Какие вы обидчивые. — Цветухин с напускным добродушием хлопнул Вальку по плечу и сверкнул очками. — Парни вы — что надо. Только вот паникуете зря. Меня знаете, как разносили на конференции? Перья летели! Думал, брошу все к черту и буду читать свою криминалистику. А потом одумался, понял, что крыли-то, в общем, правильно. И все наладилось...

— У нас не наладится, — сказал Валька.

— Будете участвовать в общественной работе — наладится. Верно, Болотников?

— Конечно, — кивнул головой Леон. — Могу завтра же организовать коллективный выход в кино.

— А как же с «Мечом?»

— Там же нужно иметь сатирический склад ума, а мы в основном лирики. Разве что Кольчугин...

— Не шути, старик, — поспешил вмешаться Кольчугин.

Потупившись, Цветухин задумчиво погладил свой белый бобрик и, подняв голову, посмотрел перед собой. — Значит для непосвященной черни поэты не желают себя утруждать. Ладно.

На могучих цветухинских скулах четко обозначились бугорки желваков.

— ...обойдемся, — как бы для себя проговорил он, и по тому, каким тоном это было сказано, всем стало ясно, что Цветухин не забудет этот разговор.

Леон швырнул окурок в ящик с песком и направился в аудиторию. Остальные молча потянулись за ним.

4

О приближении Миртова знали еще задолго до того, как он входил в аудиторию.

— Спорят! — объявили сестры Гавричковы, последними показываясь в дверях, и всем было ясно, что Миртов снова не может отвязаться от Волкова.

— Именно так я и толкую, — доносилось из коридора. — Это всего лишь смелая компиляция! Ах, я превратно вас понял? Ну тогда мы снова обратимся к фактам. Сейчас я вам напомню один занятный анекдотец...

Волков переходил на зловещий шепот, и аудитория замирала. Все напряженно вслушивались в разговор, пытаясь угадать, о чем говорит старый лингвист, но шепот перерастал в сверлящий свист, потом в бульканье и, наконец, все смолкало. В дверях вырастала высокая фигура Миртова. Гремел замками потертый, чуть ли не из бычьей кожи портфель, катились по столу куски мела — и передние ряды спешно брались за карандаши и ручки.

Леон раскрыл тетрадь, на обложке которой было выведено крупными буквами «Диалектический материализм». Собственно, на этом все и обрывалось: дальше шли чистые страницы, а в самом конце — несколько выдержек из романа Ильи Эренбурга «Хулио Хуренито». Миртов не настаивал на том, чтобы его лекции записывали в обязательном порядке. Даже став деканом, он великодушно обходил этот вопрос молчанием и только изредка намекал на особого рода задумчивость, которая появляется во время экзаменов у студентов. Леон разделял эти опасения, однако исправляться не спешил. Во-первых, потому, что слушать лекции Миртова было гораздо интересней, чем записывать, и во-вторых, всегда к его услугам были конспекты Коли Столетова. Широко раздвинув локти, Мамонт корпел совсем рядом. Его массивная шея медленно багровела от усердия. «Вспомните о Радищеве, — покосившись на исписанную страницу, прочитал Леон. — Не русская императрица сослала его в Сибирь, а безбожник Вольтер. Пример второй: Ницше никогда не разрабатывал стратегических планов захвата России, но все крупповские пушки лежали в его письменном столе».

Да, Коля умел сочетать штангу с пером.

— Болотников!

Леон поднял голову.

— ...зайдите ко мне после лекций.

— Хорошо, Станислав Львович.

За дверью было тихо. Видимо, Волков ушел домой писать свою очередную брошюру о связи философских концепций с неологизмами в русском языке. Два года он уже сидел над этой брошюрой и каждый раз скромно уведомлял своих слушателей, что дело, слава богу, движется — скоро им представится возможность ознакомиться еще с одной страницей его творчества.

Толкнув дверь, Леон вошел в деканат. Миртов был один. С папиросой в зубах он сидел на диване и листал иллюстрированный польский журнал. Справа от него стоял книжный шкаф, на котором, как всегда, красовалась сова. Старое чучело порядком пооблезло. Особенно голова. Зато глаза сохранили прежний янтарный блеск и невозмутимо глядели из мохнатых орбит. По всей вероятности, сова уже давно ни за кем не числилась. О ней просто забыли — и теперь вместе с таким же ненужным глобусом и грудой пыльных рулонов она загромождала верхнюю часть шкафа.

— Проходи, Леон, — бросая журнал на стол, сказал Миртов. Его седеющая голова с круто отесанными скулами едва приметно дернулась в сторону левого плеча.

Так было всегда, когда Миртов резко поворачивался лицом к собеседнику. Леон заметил это еще на первом курсе. Они тогда были в колхозе, и случилось так, что пожилой философ спас провинившегося первокурсника от большой неприятности (стоял вопрос об исключении). Студент Болотников совершил тогда хулиганский поступок. Так, по крайней мере, расценил Волков. Но выглядело-то все несколько иначе.

...Их поселили в полуразвалившемся от старости клубе. Во дворе соорудили навес под кухню, разрешили распотрошить соломенный стог, чтобы набить тюфяки — и потекли сельские будни с их утомительной копкой картофеля и перевозкой зерна. Так продолжалось до тех пор, пока не пошли дожди. На третий день скряга-кладовщик отпустил им на обед испорченное мясо, полагая, что в плохую погоду можно есть и такое. Вечером слег Валька. За ним — несколько девочек. Ночью пришлось бродить по деревне и спрашивать

заспанных жителей, где живет фельдшер. В кромешной темноте едва нашли нужный дом и с трудом отбились от двух огромных собак.

Когда рассвело, Леон выскреб из чугуна остатки мяса и, собрав их в алюминиевую миску, отправился к председателю. Тот пришел примерно через час. Оглядев фигуру студента, вошедшего следом за ним в кабинет, председатель спросил, в чем дело.

— Я принес вам вчерашний обед, — ответил Леон.

— Зачем он мне нужен?

— А вы попробуйте.

Председатель оказался не в духе и, решив, что его разыгрывают, попросил весельчака за дверь. Леон не выдержал. Он подошел к столу, вывалил мясо в груду старых сводок и, не глядя на онемевшего от гнева председателя, покинул кабинет. Через час Волков нашел скандалиста на нарах. Объяснив, каким путем можно взять «академический отпуск», он выразил надежду, что студент Болотников к вечеру отбудет в город. Миртов подоспел вовремя. Председателя он попросил подписать небольшой акт в присутствии двух поваров и фельдшера, а Леона перевел работать на элеватор, предварительно уговорив Волкова не уведомлять никого о случившемся. Перед отъездом Миртов пригласил виновника мясных бунтов прогуляться с ним по березовой роще. Тогда-то Леон и заметил, как странно дергается у философа голова.

— Присаживайся.

— Спасибо, Станислав Львович.

— Что-то ты, брат, выглядишь неважно. А?

— Трудности роста, — туманно пояснил Леон.

Миртов усмехнулся. Зловеще и весело шевельнулась его правая бровь.

— Вот что, Леон. Ты, кажется, живешь в одной комнате с Курковым?

— Да, Станислав Львович.

— Почему он так часто пропускает лекции? Например, сегодня...

Леон потупился. Не случайно Карлов с таким зловещим видом сидел сегодня над журналом посещаемости. Весна, как всегда, разлагающим образом действовала на группу. Приходилось со многими беседовать. И чаще всего с Курковым. В последние дни староста решил, что с него хватит. Когда человек, вместо того, чтобы объяснить свои пропуски, начинает говорить о лондонских туманах, с ним лучше не связываться.

— Вы собираетесь наказывать Куркова?

— А ты, что же, не советуешь?

Миртов насмешливо прищурился. Леона это несколько задело. Точно так же Миртов щурился и раньше, но тогда не ощущалось никакой иерархии. А сейчас она была, потому что человек, успевший за три года завоевать его доверие, стал неожиданно деканом.

— У Куркова есть уважительная причина, — безразлично глядя на свои поношенные туфли, сказал Леон.

— Мне почему-то так и думалось. Староста, правда, на него обижен. Он даже склонен думать, что Курков пропускает лекции из чисто юмористических побуждений.

— Конечно, — сухо поддержал Леон. — Карлов только юмор и подмечает. Ему же не надо содержать больную мать да еще помогать и сестре.

— Мило, — доставая портсигар, сказал Миртов. — А где же у Куркова отец?

— Там же, где и многие. Сгорел в танке еще в сорок втором.

— А почему Курков ни разу не обмолвился о своем тяжелом семейном положении?

— Наверное, не хочет, чтобы ему сочувствовали. Лично я не стал бы тоже объяснять Карлову, как здорово болит у тебя спина после разных там мешков и ящиков...

— Понятно, — задумчиво проговорил декан. — Если каждому жаловаться на свою судьбу, недолго попасть и в белые вороны.

— В бедные, Станислав Львович.

— Ну да. Существенная поправка. Кстати, у тебя мой друг, тоже есть пропуски, но теперь уже как-то неловко о них говорить. Не унижать же в самом деле старых друзей из-за каких-то двенадцати часов.

— Десяти, — поправил Леон. — Карлов ошибся.

— Возможно. Спорить не стану... — лицо Миртова приняло почти враждебное выражение. — А теперь разреши мне сказать пару слов о вашей так называемой гордости. Она, по-моему, граничит с одиночеством. Войнарович мне сказал, что вы теперь обходите его стороной. Это после статьи ректора, которую он напечатал. Какая мудрая политика. Их, видите ли, распирает гордость — и поэтому они молчат. Живут на одном юморе. Поздравляю. Продолжайте в том же духе и вас занесут в списки терпеливых мучеников.

Миртов поднялся с дивана и, не глядя на Леона, потянулся за шляпой.

— Вот, — кивая на сову, добавил он, — можете взять за образец.

— Ты-то мне и нужен! — обрадованно сказал Курков. — Имеется возможность схо-

дить в «Ноев ковчег». Пьянчуга опять потерял трех человек...

— Звонил по телефону? — спросил Леон.

— Приходил сам.

— О! Тогда стоит сходить.

Курков удовлетворенно вздохнул:

— Значит, я, ты и Валька.

5

Прораб сидел за столом. Его бугристый нос ярко пылал. Дремучие брови коромыслом сходились на переносице. Это был Ной Никанорович, тот самый «пьянчуга», о котором упоминал Курков. Он-то и распоряжался угольным ковчегом, где спасали свои души все, кто нуждался в хлебе насущном. В основном это были студенты, которым прораб сочувствовал. Когда-то он сам мечтал поступить в институт, но из этого ничего не вышло, потому что началась война. А потом была послевоенная любовь и серьезная нужда в деньгах. Пришлось завербоваться в китобои. Скитальческая жизнь больно отразилась на семейном счастье, но ожесточаться не стоило. Кроме женщин, на свете существовали пивные ларьки, веселые студенты, увлекательные романы и сладкая тоска по неизвестным городам, где все можно начать заново. С Ноем Курков познакомился в летнем павильоне. Хороший вид на цветочные клумбы и дюжина бутылок пива сблизили их настолько, что прораб тут же предложил ему вакантное место.

— Я, Сережа, люблю задушевную беседу, — признался он. — Человек я не скандальный, но жена от меня ушла.

...Увидев старых знакомых, прораб вылез из-за стола, предложил им выбрать лопаты, сваленные тут же в углу, и повел их на угольный склад.

Тонкий мартовский лед похрустывал под ногами. Быстро сгущались сумерки. Вдоль высокой насыпи, протянувшейся от железнодорожного перегона до угольных пирамид, вспыхнул прожектор. Тяжелые «пульманы» с наглухо задвинутыми створками стояли на путях. Ной первым поднялся по насыпи к одному из пульманов и твердой рукой ухватился за него. Заскрежетали шарниры, и из темного квадрата хлынул антрацитовый поток.

— Молодые да здоровые. А ну, ребята, психанем.

Прораб блеснул зубами и отскочил в сторону. Валька кинулся на подножку, взобрался под самую крышу и вместе с углем рухнул под откос. У Куркова от смеха подкосились ноги.

— Летай иль ползай — все прахом будешь, — стоя над полузасыпанным «пришельцем», продекламировал Леон. Валька молча отыскал лопату, залез в вагон и, держась за створку, быстро заработал ногами, очищая для себя площадку. Леон пристроился рядом. Через полчаса все стали походить на углекопов. Поблескивали только белки да зубы. Пыль забивала гортань и ноздри. Валька выдохся первый. Когда стало ясно, что пора сделать паузу, Валька прыгнул прямо в черное месиво и сполз по нему вниз. В контору идти никому не хотелось. Растянулись тут же на угольной груде и закурили.

Где-то на стыках погромыхивали составы. Шагах в сорока скрежетали лопаты. На угольной пирамиде, размахивая руками, суетился Ной. В свете двух прожекторов он напоминал большое насекомое, запутавшееся в тенетах. Леон отыскал глазами две яркие звезды и усмехнулся. «Если нам не изменяет память, — мысленно обратился он к призрачно мерцающим точкам, — вы и есть Большой Пес, насчет которого нас просветили в десятом классе». Школьный учитель иногда отвлекался. «Если вам захочется подарить кому-нибудь звезду, — предупреждал он, — будьте осмотрительны. Помните о ваших предшественниках — еще задолго до вас они успели раздарить своим возлюбленным все звезды вплоть до красного спектра. Не покушайтесь на чужую собственность».

Леон откинул папиросу и она, описав дугу, метеором ринулась в уголь. Зеленые кристаллы мерцали над головой. Какой-нибудь пастух-пелазг[1], вот так же, лежа в горах и глядя в глаза своему волкодаву, назвал эти звезды Большим Псом. Леон прикрыл веки и сейчас же увидел Алку. Она сидела с ним в горах перед угасшим костром и загадочно глядела в огонь. У нее над головой висело созвездие Зеленых Глаз. Пелазг постукивал лопатой. Он не сумел опоэтизировать женщин и поэтому стал углекопом...

— Надо написать манифест, — кутаясь в козлиную шкуру, угрюмо проговорил он.

Леон разомкнул ресницы. Над ним на четвереньках стоял Валька и заглядывал ему в лицо.

— Знаешь, на кого ты похож? — спросил Леон.

— Так как, старик, напишем?

— ...на черного козла.

— Манифест будет отпечатан на гектографе? — спросил Курков.

---

[1] Пелазги — одно из древнейших греческих племен.

— Его будут проходить в школе, — пояснил Леон.

— Идиоты, — обозлился Валька. — С вами только в этом дерьме и копаться.

— Это уголь, Валя. У-голь. Скажи ему, Серега, что такое уголь?

— Черная кровь индустрии.

— Вот видишь. А ты говоришь дерьмо.

— Поэт Хлебников и манифест четырех.— Курков покровительственно похлопал Вальку по плечу. — Параграф первый: мы решительно протестуем против статьи ректора.

Леон приподнялся и припал к Валькиному уху.

— Давай прикончим этого жука, — предложил он и молча навалился на Куркова. Завязалась борьба. Все трое покатились по углю. Первым отлетел в сторону Валька. Леон делал отчаянную попытку удержать в руках голову Куркова, но тот внезапно перекинул через него тело и, заломив ему руку, повалил на землю. Самодовольно усмехаясь, он разрешил «убийцам» воскреснуть.

— Парашютист! Членовредитель! Мало тебя в армии на гауптвахте держали. — Леон едва перевел дыхание. Обессилевшего Вальку пришлось поднимать вдвоем. Отдохнув, двинулись на приступ угольного бастиона.

— Вперед заре навстречу, — прихрамывая запел Валька.

...В шестом часу работа была закончена. Волоча лопаты, с трудом доплелись до конторы. Ной храпел за столом. Грохот лопат разбудил его. Он поднял опухшее лицо и тяжело вздохнул. На подоконнике стояли бутылки из-под пива. Жалким объедком розовел уцелевший пластик сала. Покосившись на него, Ной застегнул на груди ватник и широко зевнул.

— Отпахались?.. А я, ребята, сон видел. Будто посадили меня на угольную пирамиду, а в руки всучили петуха. К чему бы, думаю, такое...

— В больницу скоро попадешь, — сказал Курков и потряс заснувшего на лавке Вальку.

До общежития добрались, когда уже светало. Нелепая громада здания возвышалась, как обсерватория. Лиственницы смутно проступали на фоне облупившегося фасада. Общежитие было когда-то монастырем. В нем сохранились глубокие ниши для распятий и узкие лестнички с потайными дверьми. Толстые своды тяжко обрамляли коридоры.

Остановившись у входа, Курков закатил глаза и принял стандартную позу экскурсовода.

— Дети! — начал он. — Перед вами памятник русской культуры. В годы нужды и бесправия здесь содержались юные узницы. Их обрекали на безбрачие. Им не разрешали есть мясо и не пускали на танцы.

— Они не знали, что такое электричество, — вставил Валька.

— У них не было теплого клозета.

— И парового отопления тоже.

— Теперь это кажется кошмаром.

— Позор русскому духовенству.

«Экскурсовод» прогнал с лица горькую усмешку и, уронив голову на грудь, шагнул в дверь.

На первой площадке спал за столом дежурный. Густая копна каштановых волос рассыпалась по конспектам. Рядом с телефоном, сладко потягиваясь, лежал щенок — хранитель большого стола и вечный раб кухонных отбросов. Он довольно вразумительно лаял в телефонную трубку и раз в сутки оправлялся у порога комендантской комнаты. Увидев трех размалеванных призраков, щенок вильнул хвостом и ткнулся носом в ухо задремавшего стража.

— Слуги преисподней! Вытрясите душу из этого нечестивца, — гробовым голосом простонал Леон и скрипнул зубами. Дежурный дернулся, обомлел и едва удержался на стуле. Курков, валясь на перила, стал подниматься по лестнице. Всех качало от голода и смеха. В комнате было тихо, словно в барокамере. На ближней к дверям кровати спал Коля Столетов — староста, штангист и вегетарианец. Валька тенью проскользнул мимо него. Коля уважал режим и не любил, когда его нарушали. В противном случае он начинал сердиться и, выходя из себя, грозил перевестись в другую комнату. Этого никак нельзя было допускать, потому что у Коли был электрический утюг и сапожная щетка. Валька молча покосился на широкую Колину грудь и залюбовался его руками. Колиной правой можно было расколоть медвежий череп, как кокосовый орех. Это утверждал один врач, у которого Коля сломал прибор для измерения силы. Двадцать четвертая могла быть спокойна за свой суверенитет.

6

Утром стало известно, что после обеда состоится генеральный смотр общежития. Обещал появиться сам проректор по хозяйственной части. Предлагалось навести порядок в тумбочках и как следует вымести из-под кроватей.

Комендант общежития Паша Чикин ходил по комнатам и, потупляя свою кудрявую голову, заглядывал в помойные ведра. Он вы-

гребал веником забившихся под лестницы котов, произносил суровые речи по поводу разгильдяев, бросающих куда попало грязное белье и, наконец, обнаружив под столом дежурного заспанного щенка, предал его одиночному заключению в ящике из-под угля. В двадцать четвертую Паша не заходил. Еще осенью он рассорился с Колей Столетовым из-за стиральной доски и поэтому общался с ним через третьих лиц.

Кроме того, двадцать четвертой не хватило двух этажерок и эмалированного таза. Не хватило условно, то есть конфигурально. Просто Пашиной жене стало жалко отдавать эти вещи в неопытные руки Коли Столетова.

Проректор появился в пятнадцать нольноль. Медленно поднявшись по лестнице, он с достоинством оглядел плафоны, поковырял пальцем отставшую в углу штукатурку и попросил показать ему журнал дежурств. Паша взял со стола красивую в голубом переплете тетрадь, но хозяйственник вежливо отстранил ее рукой и, выдвинув ящик стола, достал старый, истрепанный, как ветхий завет, журнал. Показная мишура была хорошо знакома проректору. Старый кадровик стоял перед Пашей, и его крупные, властно оттопыренные пальцы листали доподлинную летопись ночных дежурств.

1.2.62. Второй час. Завтра буду спать до двенадцати. Это уж точно. Скука-то какая в этом храме! Только что пришла наша скромная Сонечка. Спина в известке. Сразу видно, что любила в подъезде.

6.3.62. Люди! Кто знает, где живут привидения! В одиннадцатой комнате. Сам видел. Только почему они в ночных рубашках? Не понимэ...

6.4.62. Бессовестные вы, ребята. Честное слово бессовестные! Ну, зачем писать разные глупости?..

— Что это такое? — спросил проректор.

Паша растерянно пожал плечами. Он туманно намекнул на отдельных товарищей, все еще пребывающих в детском возрасте, и мягко упрекнул членов студсовета.

— Достаточно, — холодно сказал хозяйственник, — мы еще к этому вернемся.

Крестным ходом процессия двинулась по этажам. Заходя в комнаты, проректор задумчивым взором окидывал кровати, потом извлекал из-за тумбочек пустые бутылки и, поднося их к носу, агонизировал ноздрями.

— Дайте нам стипендию,—бормотал он.— Мы ее пропьем. Пороть нас некому. Мы уже большие. Так ведь, комендант?

Паша уводил свои глаза от пристального взора хозяйственника, объяснял, что беспорядков не было, и вместе с членами студсовета обещал произвести дознание.

В двадцать четвертой внимание проректора привлекла подкова. Она висела над кроватью Столетова. Под ней была прибита репродукция «Обнаженной натурщицы» Ренуара.

Проректор подергал плечом, спросил, чьи это реликвии, и приказал немедленно снять. Вперед выступил Коля. Он немного волновался, но это его не смутило.

— Репродукция куплена в магазине, — заметил он. — Что плохого в том, что она висит на стене?

— А подкову подарил вам Буденный, или вы ее тоже купили в магазине?

— Подкову я привез из колхоза, — не желая замечать насмешки, ответил Коля. Он небрежно задвинул под кровать двухпудовую гирю и скрестил на груди руки.

— Все равно это безнравственно, мальчики, — вмешалась Железная Зинаида. — Зайдешь к вам в комнату и не знаешь, куда глаза деть.

— Как же ты историю искусства изучаешь? — поинтересовался Курков. — Там и фиговых листков-то по пальцам перечтешь.

— Я вижу, вы успели разглядеть всех антиков, — сказал хозяйственник. — Посмотрим, чем вы занимаетесь в свободное время.

Он распахнул Колину тумбочку и стал перебирать ее содержимое. На пол полетела мыльница, за ней вывалилась волейбольная покрышка, завернутая в спортивные трусы.

— Вы бы лучше дали нам стиральную доску и спросили, как мы жили зиму без второй рамы, — с ненавистью глядя в апоплексический затылок, — проговорил Коля. Проректор поправил галстук и молча направился к следующей тумбочке. Ее заслонил Леон.

— Здесь лежат мои вещи, — пояснил он.

— Вот и хорошо. Посмотрим, что у вас за вещи.

Пальцы проректора вяло побарабанили по спинке кровати.

— Вы, я вижу, не очень-то дорожите своим местом в общежитии, — сухо произнес он. — Потрудитесь отойти. Я имею право осмотреть ваши вещи.

— В конституции этого не записано, — сказал Леон.

— Это обыск, — проворчал Коля.

В комнате стало тихо. Проректор повернулся к Паше. Лицо его побагровело, но губы не дрогнули.

— Тебя будут разбирать, Болотников, — тихо проронил Паша.

Леон швырнул окурок в ведро и, повалившись на кровать, закрыл глаза. Он давно не видел Бекешина. Проректор, как две капли воды, походил на него. Эта молодцеватая выправка, пальцы, поросшие светлой шерстью, и слегка припухшие влажные веки.

Бекешин. Он первый вернулся с фронта в тот знойный, усыпанный лепестками цветущих яблонь день. На нем были узкие интендантские погоны и блестящий офицерский мундир. Ослепительно сияла единственная, полученная им медаль, «За победу над Германией». Весь двор видел, каких трудов стоило Бекешину это возвращение: пять чемоданов с трофейными сувенирами плыли следом за ним. Родственники едва удерживали их благородную тяжесть. Овеянный легендарной пылью, Бекешин весело раскланивался с дорогими согражданами. Окна в домах большого двора были распахнуты настежь.

— Боже! Как он располнел, — глухим голосом сказала мать Леона. Она не улыбалась. Она только издали кивнула головой «вернувшемуся герою» и отошла от окна. На пороге дома Бекешин споткнулся.

— Несите сюда вино! — крикнул он. И когда ему вынесли стакан, он осушил его залпом, разбил о крыльцо и под одобрительные возгласы вошел в дом.

Мать Леона еще долго смотрела на осколки разбитого стакана. Ждать ей было некого. Лейтенант Болотников погиб под Варшавой.

Два дня в доме Бекешиных ели и пили, два дня пьяный аккордеонист блевал на нежно зеленеющие акации, а на третий день вернулся с фронта литейщик Михеев. Шел он медленно, опираясь на витую дрезденскую трость. На нем была старая солдатская шинель и выгоревшая под солнцем пилотка. Вещмешок свободно болтался у него за спиной. Остановившись против Леона, Михеев долго его разглядывал. Заросшее лицо осветилось улыбкой.

— Здравствуй, Леня! Не признаешь?

Из бокового кармана фронтовик извлек губную гармошку и протянул ее Леону. Тоскливыми оленьими глазами проводил он свой подарок и тростью распахнул ворота. Зимой сорок третьего умер Мотька. Он был единственным сыном в семье Михеева. В переулке шпана отобрала у Мотьки хлебные карточки, и он решил замерзнуть под старой яблоней. Его принесли домой с обмороженными ногами. А через неделю Мотьку задушил жестокий плеврит.

Узнав о Михееве, Бекешин распорядился выставить стол на террасу и отправился за фронтовиком. Литейщик не отказался от приглашения. Гулянка продолжалась до вечера. В сумерках у палисадника Леон подслушал разговор. Говорил Михеев. Его сухое тело вздрагивало, а щека терлась о шершавую кору тополя.

— ...сука ты, а не фронтовик. Часы мне подарил. А кто Мотьку мне подарит? А?.. Не знаешь?.. С немками крутил, падла! Ты не дурак... Возьми часы. Я на работу не просплю. Не просплю я на работу, Степа, геройский ты командир...

Через три дня Михеев ушел на завод.

Бекешин с приятно опухшим лицом каждое утро брился у распахнутого окна и, насвистывая «Фигаро», поджидал спекулянтов. Он отдыхал после изнуряющих буден войны и понемногу сбывал содержимое своих чемоданов. Отлично сшитый немецкий костюм придавал ему вид импрессарио. Строгий покрой офицерского френча теперь уже не привлекал бывшего интенданта. Месяца через два Бекешину предложили скромную должность заготовителя на одном из овощных пунктов и он не отказался.

Мать Леона презрительно усмехалась при виде молодцеватой фигуры заготовителя... Бекешин, как всегда, улыбался ей со своей террасы и бархатным тенором приглашал на чай. Его жена, похожая на расхворавшуюся ворону, лениво распускала известковые губы и снисходительно смотрела на супруга. Загадочно поглядывая на красивую вдову погибшего лейтенанта, Бекешин похлопывал ладонью по колену. Как-то осенью он предложил матери огурцы и картофель. Понижая голос, он объяснил:

— По кооперативной цене, Софья Андреевна. Для вас...

— Разве на рынке не будет картофеля? — спросила мать.

Бекешин стал клясться, что он хотел хоть чем-нибудь помочь семье старого товарища, но уж если его не так поняли, он умывает руки.

К тому времени, когда Леон учился в десятом классе, Бекешин уже заведовал центральным универмагом. В гараже у него стояла собственная «Победа», а в палисаднике сидела чистых кровей овчарка.

Первая денежная реформа застала Бекешина чуть ли не врасплох. Он был в отъезде и вернулся только накануне. Все, что можно было скупить в магазинах, уже скупили. В универмаге шла ревизия. Филиал, где производилась перепродажа вещей, был пуст. Оставался огромный гипсовый мопс, который простоял на полках ровно пятнадцать лет. Но и на него нашлись покупатели. Бекешин был в отчаянии. И тогда он вспомнил о книгах.

— Гадина! — кутаясь в платок, говорила Леонова мать и загоревшимися, жгучими глазами следила за энергичным завмагом. Бекешин перевозил книги. В этот день он стал обладателем самой большой библиотеки в городе. Весь букинистический отдел, все до последней корки уместилось в его квартире.

— Читальный зал откроем, Степан Осипович. Полистаем Гоголя... — говорил Михеев.— На бабушкино наследство и не то можно купить.

— Какая там бабушка! — обрывал его Бекешин.

«Богоугодные» дела волновали его меньше всего. А что касается Гоголя, то неистовый бичеватель общественных зол в общем-то недурно сохранял валюту: потери составляли не более двадцати процентов.

Леон избегал бывшего интенданта. Он его попросту ненавидел: завмаг воровал. Это было ясно каждому. Это было написано на лице Бекешина, на его машине, на дверях дома.

Странно, что Бекешин когда-то, до войны, по рассказам матери, ходил к ним в гости, и работали они с отцом в одной организации. Он был тогда порядочней, хотя временами и хамил. Возможно, он и тогда приобретал на стороне кое-какие сувениры, но жить на широкую ногу не спешил. Теперь это можно было позволить: за плечами стояло славное прошлое, а многие из тех, кого можно было бы опасаться, пали увы! на полях войны.

Однажды во дворе разразился скандал. Кто-то стащил из бекешинского гаража несколько шайб, резиновую камеру и связку краковской колбасы. Начались поиски. С помощью все той же овчарки удалось напасть на след похитителя. Им оказался маленький Юлька, который со своим безногим отцом Архипычем жил в подвале. Их часто заливало водой, мокрицы свободно разгуливали по стенам, но комиссии, приходившие к ним каждый год, никак не могли убедить старого инвалида временно переселиться в деревянный барак. Упрямый Архипыч заявлял, что ему нужна квартира в каменном доме с балконами и только на втором этаже.

Когда завмаг с упирающимся Юлькой спустился по скользким ступеням в подвал, Архипыч был навеселе. Работая в сапожной артели, он не считал себя заскорузлым пьяницей, но в свободное время у него всегда ломило поясницу. На этот раз сапожник уже справился с первым приступом хронического недуга.

Внимательно выслушав обе стороны, он приказал Юльке «сгнить в углу» и, взявшись за костыли, двинулся на гостя. Бекешин не стал медлить. Проворные ноги стремительно вынесли его из подвала. Вслед ему несся вдохновенный монолог Архипыча.

— Продавец!.. в христа бога Иисуса. Мы воры... Ах ты, стерва брюхатая! Обокрал полгорода... а мы же воры! Поймать тебя некому, морда. А поймают... — Архипыч задохнулся от патетического гнева. Слушать его сбежался чуть ли не весь двор. Поглядывали на гараж и на окна, закрытые тюлем, осторожно поощряли расходившегося сапожника. А на следующий день с Архипычем беседовал участковый.

С тех пор Юлька превратился в неуловимого мстителя. Больше он не попадался, но было ясно, кто нарисовал на пожарном щите толстяка в непристойном виде (подпись: «Бекешин»), кто привязал к замку гаража двух дохлых мышей, кто накормил овчарку мелкими гвоздями, спрятанными в рыбью голову.

Втайне Леон завидовал Юльке. Отравлять жизнь бывшему интенданту мертвыми крысами в семнадцать лет было уже поздно; записываться на прием к прокурору не хотелось (все равно, что привыкать к наушничеству), оставалось одно: написать в редакцию — и Леон сел за фельетон. Он написал о книгах и о Юльке, о текинских коврах, сбываемых завмагом «подозрительным гражданам», и о многом другом. Ответ пришел через две недели. Некто Груздев сообщал, что если факты подтвердятся, фельетон появится в одном из ближайших номеров. Фельетон не появлялся. Зато однажды вечером в квартиру постучался высокий человек с бархатно-печальными глазами. Он и оказался Груздевым. Мать предложила гостю стул и, узнав в чем дело, сильно изменилась в лице. Гость ее успокоил: ничего страшного в поступке Леона не оказалось. Напротив, редакция очень признательна, но факты, к сожалению, оказались чисто внешними. Книги, конечно, были, машина действительно стояла в каменном гараже, а хулиган Юлька и в самом деле жил в подвале, но все это ровным счетом ни о чем таком не говорило. Все движимое и недвижимое имущество Бекешин приобрел на честно заработанные деньги. Он не находил бриллиантов в желудке домашней утки, не откапывал в подполье горшков с золотыми монетами, он даже не получал большого оклада, зато в годы войны все свое жалованье скромный офицер откладывал на сберегательную книжку. Целых пять лет.

— Врет, — мрачно сказал Леон, и Груздев устало похлопал его по плечу.

— Со временем из вас получится неплохой журналист, — снисходительно заметил он. —

Только будьте хладнокровней. Зверя лучше бить наповал и желательно чем-нибудь покрупней. Ваша дробь не годится.

После ухода гостя мать долго говорила о новом Дон-Кихоте. По ее мнению, связываться с Бекешиным было бесполезно: этим должны заниматься следственные органы, а не наивные мальчики.

Леон молчал. По вечерам, когда двор пустел, ему хотелось достать с неба луну и нарисовать на ней свинью. Мать перепечатывала на «ундервуде» рукописи молодых кандидатов и разных графоманов. Засыпая, он слышал, как быстро бегают по клавишам маленькие, в розовых морщинках пальцы. Им приходилось трудно. Леон это знал, и поэтому, получив аттестат зрелости, попросил Михеева устроить его на завод. Немного подумав, старый литейщик сказал, что ему нужны подручные. А через неделю, втискиваясь с Леоном в переполненный людьми трамвай, Михеев деловито пояснил:

— Четыре остановки. В семь — туда и в пять — обратно. Дом, завод, трамвай. Понял?

7

Можно было просто пройти мимо старосты и устроиться на задних рядах. Там всегда царило оживление и зрели самые потрясающие идеи: например, как во время лекций провести шахматный матч, не получив ни одного замечания от педагога! (Валька предложил играть ногами, расставив фигуры прямо на полу). Талантливые люди населяли «галерку», но Курков не сразу добрался до них. Его утлое судно натолкнулось на айсберг, имеющий форму ноги.

— Осторожней! — сказал Карлов и, подняв голову, сердито посмотрел на Куркова. — А! Это ты.

— Я.

— Вчера опять не был.

— Телесно, — хладнокровно пояснил Курков, — душа моя всегда находится здесь. Она незрима, но ты ее должен отмечать, как положено: плюсом, а не минусом.

— Ладно! Для тебя я сделаю исключение, — пообещал Карлов. — Напишу в примечании, что ты теперь обзавелся душой. Футляр от нее шляется где попало, а сама она слушает лекции.

Курков согласно кивнул головой.

— Скрепим наш договор кровью? — деловито доставая перочинный нож, предложил он.

Карлов отшвырнул от себя тетрадь.

— Хватит! — заорал он. — Объяснишься на собрании, а скреплять договоры можешь с другими.

— Ну как хочешь.

Курков посторонился, пропуская разгневанного старосту к дверям, и, пряча нож в карман, неожиданно увидел Железную Зинаиду. Глаза ее были широко раскрыты. Под очками они казались удивительно огромными, и в них застыл такой ужас, что Курков на мгновение даже растерялся. Староста безусловно был переодетым Мефистофелем, но все равно не стоило так бездарно искажать сцену из «Фауста» и пугать добрую смешную Зинаиду каким-то жалким обломком стали. Курков улыбнулся. Рассеянно и непринужденно, как актер, только что покинувший сцену, он подошел к ней — и тогда Зинаида медленно перевела дыхание.

— Сережка! Ты совсем одичал. Такой у тебя был вид, просто кошмар. Ведь это у тебя совершенно серьезно... Ты сам не понимаешь! А со стороны...

— Спокойно, Зиночка, — мягко сказал Курков. — Поговорим лучше о нашей свадьбе. Итак, после пятого курса...

— Ну, зачем ты так ведешь себя Сергей?

— ...можно, конечно, и после четвертого, — рассудительно заметил Курков, — но я боюсь за одного человека.

— Перестань!

— ...да. Я боюсь, что его не станет.

— Тебе очень нравится изводить людей?

— ... не станет честного семьянина.

Взгляд Куркова мечтательно устремился в потолок. Зинаида вспыхнула. Лицо ее похорошело от румянца, а в голосе появилось нечто от виолончели.

— Ну это уж слишком, — сверкая очками, проговорила она и отвернулась. Ей было понятно, что за человека имел в виду Курков. Мелентий Герасимович! Великий Могол. Тот самый, что подарил ей в экспедиции букет свежей клубники. Это он был честным семьянином и безутешным другом Железной Зинаиды. К ней он питал слабость. На почве общих интересов к диалектологии между ними установился чисто дружеский контакт, однако в последнее время Великий Могол так часто и страстно стал говорить с Железной Зинаидой о родниках и первоистоках народной мудрости и так ярко светились его иконописные глаза, что сомневаться уже не приходилось: честный семьянин не успел еще до конца израсходовать своих нежных чувств и сердечного трепета. Он увлекал свою единомышленницу куда-нибудь к подоконнику, бродил с ней по длин-

ным коридорам, и, задумчиво касаясь белых локотков, цитировал страницы древних апокрифов.

— Друг мой, Зинаида, — сказал Курков,— любви все возрасты покорны, но помните, что в сорок лет люди страдают одышкой, жалуются на головные боли и втайне завидуют восточным обычаям...

Предостерегающе подняв указательный палец он взглянул на «галерку» и, пожав Зинаиде руку, направился туда. Ему ничего не стоило оглянуться, но Курков этого не сделал. И совершенно зря, потому что в этот миг глаза Железной Зиночки светились таким же удивительным огнем, какой ей приходилось видеть в запавших глазницах Великого Могола.

Вечерний лед. Да! Это был последний лед, который уже раскисал в полдень, но по вечерам все еще молодо перекликался с коньками.

Солнце медленно оседало за досчатый забор. Сейчас оно походило на одинокого болельщика, нехотя покидающего облюбованную им ограду.

Алка сидела на восточной стороне амфитеатра и следила за уменьшающимся краем диска. Стадион казался вымершим. Только у центрального входа виднелась небольшая группа фигуристов. Мартовский вечер наполнил город счастливыми сумерками.

Задумчиво глядя перед собой, Алка наблюдала за тем, как все неясней становились крыши дальних домов, и уже не видны были поперечины телевизионных антенн, а только силуэты деревьев радостно и больно выступали на фоне зари, вживаясь в то новое, уже успевшее наполнить их состояние, которое вернулось к ним с приходом весны.

Одинокая фигура закружилась по огромному циферблату стадиона. Стремительно и тонко звенели коньки, и Алке вдруг стало невыносимо грустно, словно ее оставили в очень большой и прохладной комнате, и положили у ее ног часы, и ушли от нее.

Почему ей именно сегодня захотелось побывать на катке, она и сама не знала. Три года ее не тянуло сюда, но сегодня, вернувшись с лекций, она неожиданно наткнулась на коньки. Мать обнаружила их под грудой старого тряпья. Привинченные к ботинкам, они слабо поблескивали в полутемной прихожей, и Алке стало жаль их. Вещи так часто вызывают у людей жалость.

Алка вздохнула и дотронулась рукой до одутловатой серебристой поверхности. Она так и не переобулась, и не спустилась даже вниз, и коньки так и остались лежать рядом с ней, а одинокая фигура продолжала крутиться по стадиону. Закат все еще пытался охватить город оранжевым полушалком, но в стороне от него уже зажглась первая звезда.

Нет. Кататься ей решительно не хотелось. Возвращаться домой она тоже не торопилась: там были французские романы, геологические справочники, зеленые туфли отчима и телевизор. В маленьких чашечках вечно холодный кофе, который отхлебывает мать перед тем, как приступить к очередной странице, и ангорская кошка на коленях предсказателя якутских алмазов. Просто удивительно, как это мать ухитрилась выйти замуж за низкорослого, похожего на подростка человечка. К тому же у него были совершенно бесцветные глаза. Он любил баклажанную икру и шоколадные конфеты. Алка помнила, как он приносил эти конфеты, брал ее за подбородок и говорил, какой у нее был славный отец: настоящий кладоискатель; о! если бы не этот рудник, в котором он заработал плеврит... Ее выворачивало от этих сцен. Слащавый гном. Он умел притворяться. Ему приходилось бороться с рутиной, и он бился, «как усталый гладиатор», одолевая многочисленных врагов. Сколько было торжества в его глазах, когда мать сидела рядом с ним за свадебным столом.

...Одиннадцать кругов насчитала Алка, глядя на огромный циферблат, по которому кружил черный конькобежец. Дощатый забор стал почти неразличим. Только деревья попрежнему явственно и четко рисовались на фоне вечернего неба. Хлынувший в лицо теплый ветер слился с мелодичным звоном коньков — и в памяти всплыла еще одна подробность: отчим рылся в ее письменном столе; застигнутый врасплох, он заговорил о родительском долге и заявил, что у нее тоже когда-нибудь появятся дети. Ее тогда сильно поразили эти слова о детях. Отчим и не догадывался, как близок он был от истины.

Алка открыла глаза и посмотрела на конькобежца. Тот все еще кружил по огромному циферблату стадиона, низко наклонив голову.

8

Когда Карлов объявил, что у них на факультете вводится еще один спецкурс по библиотековедению, поднялось всеобщее недовольство. Спецкурсов хватало и без того. Карлов пытался объяснить, что подобные предметы вводятся для общего развития, но его перебил Курков. Он спросил, нельзя ли заодно открыть у них курсы художественной кройки и шитья.

— Можно! — сказал Карлов. — Открывайте хоть ресторан, а меня больше ни о чем не спрашивайте.

Библиотековедом оказалась женщина лет пятидесяти. У нее были пепельные букли, приятный голос и доброе сердце. После первых же часов выяснилось, что она крайне близорука, но на лекциях предпочитает обходиться без очков. Последнее оказалось настоящим благодеянием для аудитории. Мирно шелестели журналы, дочитывались последние романы Хемингуэя и Ремарка, слагались длиннейшие письма родным и знакомым.

Леон прислушался к захватывающему рассказу о том, как по алфавитному каталогу можно найти такую редкую работу Фридриха Энгельса, как «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и посмотрел на тоненькую шею Железной Зинаиды. За все три года она не пропустила ни одной лекции. Ее конспекты были в идеальном порядке. Записывала она все, даже библиотековедение. Курков недаром окрестил ее механической девой. Зинаида терпеливо сносила эти прозвища и только гордо замыкалась в себе. Зато, когда наступала сессия, все старались заполучить у Зинаиды хотя бы на пару часов ее спасительные тетради. Леон достал лист бумаги и, сделав генеральские погоны, осторожно возложил их на плечи Железной Зинаиды. Валька, сидевший сбоку, бегло проследил за этой операцией. В последнее время он стал увлекаться кибернетикой и теперь бесплодно бился над каким-то академическим выпуском, который сплошь был усеян формулами. Сестры Гавричковы («Розы Ширазы»), позируя и слегка кокетничая, пытались отвлечь его от этого занятия. У Гавричковых были самые тонкие талии на курсе. Они гордились этим и всячески эстетизировали свою походку. На младшую из сестер Валька поглядывал не без удовольствия и даже пытался при этом изобразить на своем лице обворожительную улыбку.

Воздав Зинаиде генеральские почести, Леон отыскал глазами Алку. Она сидела у окна. Рядом с ней он привык видеть меланхоличную Олю, у который была странная фамилия Ливердо, и не менее странный характер: разговаривая с кем-нибудь, она могла внезапно повернуться и уйти. Сегодня Алка была одна. Оля не пришла на лекцию. Леон взял Валькину тетрадь, вырвал из нее лист и начал писать:

«Дорогая кузина! Ваш несравненный друг весьма обеспокоен позой, в коей Вы пребываете более получаса. Разумеется, усыпительный яд рассуждений, источаемый этой седой кармелиткой, не столь уж приятен для Вашего слуха, но будьте к ней снисходительны...

Смею Вам напомнить о нашем уговоре. Ровно в семь карета, запряженная шестеркой гнедых лошадей, будет ждать Вас у «стены Святого Бенедикта». Заклинаю Вас выйти. Моя шпага расчистит дорогу в толпе негодяев.

Ваш преданный друг *Л. Б.*»

Леон свернул письмо и надписал на нем Алкину фамилию: Верейской. Затем он тронул за плечо Куркова и тот, взяв свернутый вчетверо лист, в свою очередь тоже притронулся к чьему-то плечу. Началась цепная реакция. Процесс был обратимым: через пять минут Леон получил ответ:

«Спешу уведомить Вас, добрый друг, что я во всем согласна с Вами. Ваша карета будет очень кстати. Мои обожаемые предки покинули родовое гнездо до понедельника, решив не разлучаться в опасном путешествии. Я осталась на попечении старой кошки, от которой нестерпимо воняет мышами... Итак. Я жду Вас, милорд.

Не являйтесь слишком рано.

Ваша кузина».

Леон спрятал записку в карман и с благодарностью взглянул на пепельные букли Серафимы Наумовны. За окном снисходительно щурилось солнце, покачивались голые кроны тополей. На них скандалили нахохленные воробьи.

Хриплое тремоло звонков подняло всех на ноги. У дверей образовалась настоящая свалка. Напирали с двух сторон. Близоруко щурясь, седая настоятельница алфавитных каталогов терпеливо следила за побоищем. Томить целых два часа такое скопление мыслящей публики и не дать ей размяться было бы сущим кощунством. Двери трещали. Среди наступающих Леон заметил повстанческую бороду Клюева. Он так решительно работал плечами, что филологи дрогнули. Но на помощь пришел Коля Столетов. Навалившись на историков, он вынес их в коридор под всеобщее ликование и покрыл очередным и вечным позором. Хмуро отмахиваясь от насмешек, Клюев задержал вышедшего Леона и отвел его к окну.

— Ты сегодня еще не был на втором этаже?

— Нет. А что?

Клюев прищурился и коротко усмехнулся.

— Сойди. Там цветухинская «Ювеналиада» висит.

— «Комсомольский меч?»

Клюев снова брезгливо растянул губы и ущипнул себя за бороду.

— Помнишь разговор на лестнице?

— Это насчет того, чтобы мы к Левченко явились?

— Ну да! Так вот, можешь сходить и посмотреть. Ты очень похожий получился, особенно лоб и скулы.

— А как другие? — ревниво спросил Леон.

— Сходи, посмотри...

Около газеты (рядом был буфет) благоговейно прожевывали пирожки и делились впечатлениями. Меч, нарисованный под малиновым заголовком, походил на кухонный нож. Под ним корчились грешники: грубияны, ленивцы, прогульщики, хулиганы. Все они были представлены в самых разгильдяйских позах и соответствующим образом прокомментированы. Фиолетовые носы и уродливые конечности подчеркивали сатирическую остроту номера. В нижнем углу Леон разглядел себя: небрежно отставленная в сторону нога, задранный вверх подбородок и папироса, прилипшая к нижней губе. У Вальки страшно взлохмаченная шевелюра и коровьи глаза.

Под рисунком подпись:

Грустят они в забавах мира,
Людской чуждаются молвы,
К ногам народного кумира
Не клонят гордой головы.

Валька не пошел смотреть себя в сатирическом обозрении.

— Может возникнуть нездоровый ажиотаж, — уклончиво пояснил он.

— Возможно, — глубокомысленно заметил Леон. — Этаж сотрясается от хохота. Уползают исключительно на четвереньках.

После лекций он спустился в буфет, купил папирос и, проходя мимо «Меча», задержался перед ним. Этого можно было и не делать, но его потянуло еще раз взглянуть на рисунок. Шея у Кольчугина была, пожалуй, чересчур длинна, а у Клюева вместо бороды красовалась метла.

«Ничего не поделаешь, — подумал Леон,— гипербола тоже нужна обществу».

В коридоре стояла тишина. Буфетчица запирала на замок свои пирожки и булочки. Из аудитории вышла Левченко. Она дошла до лестничной площадки и там оглянулась. Леон подмигнул Клюеву. Он прислушался к затихающим шагам и, насвистывая «Марш Черномора», отправился в раздевалку.

Валька вздохнул и еще раз перелистал то место, где было написано о пространстве и времени. Целую неделю его занимала одна весьма неглупая мысль. Ее как-то подал Миртов. Скорее всего он и не собирался ее подавать, но с Вальки было достаточно одной-двух фраз, чтобы его фантазия заработала, подобно вулкану. Такие вещи стали происходить с ним с тех пор, как он взялся за естественные науки. Разумеется, он не собирался делать больших открытий, но дополнить отдельные главы диалектического материализма ему никто не мешал.

Валька взглянул на Куркова, который по своему обыкновению читал, лежа в постели. Очень уж много приходилось перечитывать литературы. Веков через пять станет совсем невмоготу. Книг накопится столько, что ни одна электронная машина их не осилит. Люди будут изнемогать от знаний. Детям некогда будет пострелять из рогаток и сходить за грибами. В три года они засядут за тригонометрию и будут повторять формулы нуклеиновых кислот, а в пять лет доберутся до Эйнштейна. К тому времени на земле появятся еще десятка два сверхэйнштейнов — и всех их придется усваивать. В десять лет дети начнут потихоньку воровать ключи от звездолетов и сбегать на необитаемые планеты...

Валька очнулся от дум. Будущее, конечно, будет не таким, но книг все же накопится больше, чем рыбьей икры в океане... Впрочем, отвлекаться не стоило. «Итак,— рассуждал Валька,— если природа развивается вслепую, то человек — случайный продукт эволюции. Взять хотя бы Куркова.— Валька торжествующе взглянул на пятки, торчащие из-под одеяла — ...если же нет, то материя, создавая различные формы жизни, стремится как бы прозреть».

Валька представил себя со стороны (аристотелевский лоб, глубоко посаженные глаза, устремленные в бесконечность) и оперся подбородком на сцепленные кисти рук. Перед его мысленным взором возникло голубое облако Галактики. Это был кусок разумного хаоса, еще не проявившего себя в нуклеиновом цикле. У него расширились глаза. Казалось, вот она витает в воздухе интересная догадка, тайна должна была вот-вот оформиться в гипотезу. Но Курков вдруг вернул его в мир реальности:

— Валя, а как дела с манифестом?

Валька молча перегнулся через стол и, схватив свалявшуюся подушку, запустил ее в Куркова. В самый разгар схватки в комнату вошел Риман.

— О, Риман,— пытаясь поймать Вальку, сказал Курков.— Что-то тебя не видно... Ах, ты, лошадь! (Валька успел использовать еще одну подушку)... Это он из меня пыль выколачивает. Держи его, Риман, не пускай!

— Зверствуете,— отступая назад, заметил Риман.— А меня чуть ангина не задушила.

— Мир, Валя! Все! Смотри, сколько ваты на полу.

— А я к вам ненадолго,— сказал Риман.

— ...вот теперь ты мне попался. Говори — хочу жениться... Не кусайся — бесполезно!

— Отпусти! Риман, стукни его стулом... Хочу жениться! А-а-а!

— Вот теперь все.

— ...пришел к вам насчет телевидения. Между нами девочками говоря, мне уже намекнули...

Валька поднялся с пола и взглянул на Римана. Выглядел режиссер, действительно, неважно. Уши его стали отливать дынным цветом, а на скулах появились розовые пятна.

— А где у вас Болотников?

— С мисс Верейской.

— Славная чувичка.

— Ты что-то начал там о телевидении,— напомнил Валька.

— Большой эфир,— блеснул глазами Риман.— Я вам устрою передачу. Валентин Хлебников... в кадре лицо... Крупным планом. Как ты на это смотришь?

Валька небрежно пожал плечами. Кто же откажется от крупного плана. Пусть ректор послушает стихи отвергнутого им поэта...

Глядя на Валькино лицо, Риман грустно улыбнулся. На днях театральным советом был отвергнут его водевиль, после чего глотать стало особенно трудно. Ангина, как и насморк, влияли на судьбы творчества.

«Стена Святого Бенедикта» давно уже отпраздновала свой столетний юбилей. В одном месте она завалилась набок, однако в целом обещала простоять еще не менее четверти века. Собственно, никакого «Святого Бенедикта» не было. Вдоль столетних тополей тянулась каменная ограда с триумфальными воротами, выложенными в том линогравюрном духе, который пленил в начале девятнадцатого века воображение откупщиков и стряпчих. В глубине темнел старинный особняк. На парадных дверях его все еще висела выцветшая от времени табличка с фамилией грозного некогда обер-прокурора Бенедиктова, который перед смертью повелел выбить на воротах крест, чтобы «лукавый» по рассеянности не забрел в его покои и не похитил душу умирающего. Об этом рассказала Алке старая повариха, одиноко доживающая свой век во флигеле. Пятнадцать лет она верой и правдой служила обер-прокурору, за что и удостоилась неслыханной чести — обмыть его тело собственными руками.

Остановившись у ворот, Леон задрал голову и посмотрел на фронтон. Крест давно уже зацементировали и вместо него повесили фонарь. Теперь «лукавый» мог не опасаться господнего знака. Леон прошелся по тротуару и, остановившись на углу, стал закуривать. Накануне он получил анонимное письмо, отпечатанное на машинке. Лицо, пожелавшее остаться инкогнито, «умоляло» его прекратить свои прогулки вдоль пресловутой стены и оставить в покое А. В. Ниже перечислялись меры, которые будут приняты в том случае, если он не одумается. К письму прилагался полтинник и две контрамарки на вход в клуб имени Дзержинского. Сначала Леон решил, что это Валькины козни. Подумал он и о Куркове. Но оба решительно опротестовали это чудовищное обвинение.

Алка вышла без пяти восемь. Она окинула взглядом пустынный переулок и нетерпеливо повела бровью.

— Карету, конечно, задержала автоинспекция, мой добрый друг?

Леон почтительно выплюнул окурок за дерево и, неуклюже шаркнув подошвой, тут же принялся расписывать историю о кучере, упавшем якобы от старости с козел.

— Бедняга скончался на моих руках,— лицемерно вздохнул он.

Алка милостиво улыбнулась. Запахнувшись в китайскую шубку, она пристально посмотрела через дорогу. Леон тоже повернул голову. Ничего, кроме желтых ворот и двух кленов, он не увидел.

— Мы не опоздаем?— спросила Алка.

Леон взглянул на часы.

— Начало в восемь пятнадцать... Ты, по-моему, кого-то высматриваешь?

— А ты все подмечаешь.

— Я же не умышленно.

Алка стала натягивать на руки перчатки.

— Тут живет один Вовик,— понизив голос, сказала она.— Недавно я стала ему нравиться... Ты слушаешь меня? Теперь он специально выходит меня провожать...

— Когда я с ним могу поговорить?— осведомился Леон.

— Говорить с ним не надо. Я это сказала тебе на всякий случай: у Вовика много друзей.

Леон нащупал в кармане полтинник и молча сжал Алкин локоть. Они вышли на

центральную улицу, где в сумерках уже начинали вспыхивать неоновые контуры женщин, быков, патефонных пластинок и улыбающихся над молочным коктейлем младенцев. Торговая геральдика расцветала пышным букетом соблазнов, бросая вызов авансам и выигрышам, получкам и гонорарам. Молодые люди, повязанные шарфами, с выдающимся видом дефилировали вдоль ярко освещенных витрин. Прикрываясь короткими воротниками, они неутомимо разглядывали женские лодыжки и провожали их глазами оборотней. Парами и целыми выводками прогуливались рано оперившиеся десятиклассницы. Это был Бродвей для начинающих мальчиков, Елисейские поля для разочарованных крошек, место сборищ и встреч, место первых знакомств. Это была старая, укутанная гудроном улица, с музеями и фонарями, с кафе и ресторанами и уж, разумеется, с центральным кинотеатром, в котором демонстрировался новый художественный фильм «Человек ниоткуда». Существо с марсианскими глазами и пунцовым ртом облучило Леона загадочным взглядом.

— Замечаешь, как на тебя поглядывают?— спросила Алка.

— Накрашенная пигалица,— отворачиваясь от леопардовой шапочки, проговорил Леон.

— Хорошенькая девочка.

— По глазам видно, какая она девочка.

Алка насмешливо взглянула на него сбоку.

— Какой ты опытный мужчина. Определяешь женщин с первого взгляда.

Впереди показалась мерцающая огнями реклама. Несколько человек бросилось к Леону, надеясь перехватить лишний билет. Они даже попытались оттеснить его к стене, но узнав, что «лишних нет», кинулись искать другую жертву.

Полтора часа «снежный человек» увеселял зрительный зал. Он глотал эскимо, скандалил на стадионе и по водосточной трубе благополучно скатывался к ногам оторопевших милиционеров. Алка смотрела на экран довольно спокойно. Против юмора она никогда не возражала, однако на этот раз скоморошьи выходки придурковатого дикаря почему-то ее мало трогали. Леон и Алка вышли на улицу. Они прошли мимо памятника, по краям которого дремали бронзовые орлы. Возле кальмарообразного дерева с уродливо скрученными, как щупальцы, ветвями Алка остановилась. Редкие фонари остались позади. Лунный свет падал на одинокие скамейки с подмерзшей вокруг них водой, выхватывал из темноты обрушенные за зиму беседки и крался по уцелевшим перилам водной станции. Алка протянула перед собой ладони и запрокинула голову навстречу серебристому лунному ливню, который падал ей на лицо, заливал глаза, сочился сквозь пальцы — и она пригоршнями черпала этот бледный, неверный свет, приходящий на землю, как солнечное эхо, отраженное от мертвых кратеров и пустынь одинокой планеты.

— Алка! Пошли на меня звезду...

Алка не ответила.

— ...пусть она меня испепелит.

Алка промолчала.

— Летит!— Леон закрылся рукой и пригнулся.

Алка повернулась к нему.

— Ты когда-нибудь повзрослеешь?— спросила она.

Леон выпрямился и поправил воротник плаща.

— За мной некому следить,— сказал он мрачно.

— Тебе нужна заботливая супруга. Женись на Гавричковой старшей. Она уже давно ищет твоей благосклонности.

— В прошлый раз ты предлагала мне расписаться с Ливердо,— заметил Леон.

— Она уже раскусила тебя...

Леон начал нервничать. Его пальцы затосковали в карманах, нащупывая папиросы. Вообще разговор начинал принимать нежелательный оборот. В последнее время Алка стала к нему холодней. Он чувствовал себя запасным игроком, которого никак не решаются ввести в игру. Леон повернулся к Алке. Закурить он так и не осмелился. Сейчас даже простой виток дыма мог быть истолкован превратно. Он-то знал, как долго нужно ждать, пока из Алкиных глаз подуют теплые ветры.

— Я давно тебе хотела сказать, Леон...

За рекой сквозь туман мелькнули окна электрички. Низкий вой понесся вдоль берегов, хлестнул по набережной и оборвался за предместьем.

— ...что ты напрасно уделяешь мне так много времени.

— Да у меня его хоть отбавляй.

Алка вздохнула и стала глядеть на мутные пятна привокзальных фонарей. Она долго не сводила с них глаз.

— У тебя не замерзли ноги?— заботливо осведомился Леон.

— Сейчас пойдем.

...Через двадцать минут Алка, взобравшись с ногами на кушетку, угощала Леона чаем.

— Накладывай как следует,— сказала она, придвигая к нему сахарницу. Леон нерешительно взялся за чайную ложечку.

— Дай-ка лучше мне!

— Спокойно, Алка, я же не лошадь.

— Ничего с тобой не случится.

Расплескав чай, она небрежно сунула ложечку в сахар и, уткнувшись подбородком в колени, стала наблюдать за Леоном.

— Алка! Можно у тебя спросить одну вещь?

— Только не о наших с тобой отношениях.

— Почему?

— Сейчас об этом лучше не спрашивать.

— Но когда-нибудь можно будет спросить?

— Не знаю.

— Я всегда буду думать об этом.

— Как хочешь.

— Я знаю, что ты скрываешь от меня что-то очень важное...

— У тебя остывает чай.

— ...возможно ты во всем разочарована?

— Нет.

— Какая же ты странная, Алка.

Леон молча выпил чай и, отставив стакан, взглянул на Пана. Лесной бог с загадочной грустью смотрел со стены.

Неожиданно погас свет. В окно тонкой иглой впилась крохотная звезда. Было тихо, как в бездонном колодце. Звякнула фарфоровая чашечка, поставленная Алкой на край стола, закряхтела кушетка и снова все смолкло. Леон закрыл глаза.

— О чем ты думаешь?— словно из чащи донесся до него голос.

— Я Гомер,— внушительно сказал Леон.

— Ты будущий учитель.

— Все равно Гомер. Я слышу поступь гекзаметра.

— Это часы.

— Это морской прибой.

— Ты ненормальный, Леон.

Звезда в окне зябко вздрагивала и переливалась. Свет вспыхнул и ослепил обоих. Теплыми бликами заиграли бока сахарницы, беззвучно опрокинулась в окно ночь и накрыла собой звезду.

После ухода Леона Алка еще долго не ложилась спать и, лениво разглядывая голые ноги, сидела на мягком верблюжьем одеяле. Она думала о человеке, с которым не виделась уже три года.

Они познакомились в ночь под Новый год, на небольшом семейном банкете, куда отчима пригласили вместе с его супругой и «дочерью». Гости в основном собрались солидные. Закладывая руки за спину, они прогуливались по комнате, собирались возле мраморного столика и в ожидании лучших минут говорили о чем придется. Их взгляды витали над столом. Трунов заметно выделялся среди гостей. Вежливо улыбаясь, он сидел перед радиолой, рассматривал пластинки и весьма непринужденно окуривал восемнадцатилетнего отрока. Алку представили молодым людям и выразили надежду, что в обществе дамы им станет веселее. Юный Альберт еще энергичней насел на пластинки и постарался показать себя в самом лучшем свете, однако за столом с ним случилась оказия; вместо шампанского он по ошибке выпил бокал водки и вынужден был надолго отправиться в смежную комнату. Алка осталась на попечении Трунова. Новый год застал всех врасплох. Стол, усеянный костьми и обильно закапанный сметаной, едва успели привести в порядок. Ожил динамик. В наступившей после переполоха тишине раздались удары курантов. Все поднялись. Тяжелый запотевший бокал Трунова приблизился к Алкиной рюмочке — и глаза их встретились. В эту ночь они много танцевали. Трунов позволил себе расстаться с пиджаком, но остался при галстуке. Он много пил, рассказывал о Москве, где закончил архитектурный институт, и, успевая перебрасываться с гостями веселыми репликами, незаметно пожимал Алкину руку. К концу вечера всех рассмешил Альберт. В одних носках он прокрался к столу и потребовал встретить Новый год в полном составе. Второй час ночи он объявил недействительным. Трунов поддержал это предложение и, пока гости со смехом рассаживались вокруг решительного Альберта, рассказал Алке, где он живет.

— ...дом, конечно, не в стиле французского Лувра, но отличить его можно сразу. Единственный, фриз на всю улицу. Понимаете, что это такое?.. О! Нет. Совсем не Греция. Если говорить языком современности, то это называется архитектурным излишеством. А мне нравится это излишество. И деревья, которые растут под моим окном, тоже мне нравятся. Видите, Алиса, сколько во мне сентиментальной чепухи... Но я вам не сказал главного. Моя дверь! Знаете, кто на ней изображен? Роджер! Череп — и под ним скрещенные кости. Мне уже предлагали уплатить за него штраф, но ничего из этого не вышло... Приходите, Алиса! Посмотрите моих импрессионистов. Ручаюсь, что таких литографий ни у кого в городе вы не найдете.

Дверь действительно была украшена фиолетовым «роджером». Он весело скалился, встречая гостей, и, глядя на него, вспомина-

лись невольно бригантины с их флибустьерами, которые на все Средиземное море горланят песню о сундуке некоего скряги, ставшего, к счастью, мертвецом.

— Как мастерски сделано,— вежливо заметила Алка.

— Ничего особенного,— дымя папиросой, объяснил Трунов,— кусок резины, не совсем тупая бритва, немного терпения — и «роджер» готов. За одну ночь можно опечатать все двери города.

Пока Трунов рассказывал, как было бы смешно взглянуть утром на соседей, обнаруживших на своих почтовых ящиках отпечатки черепов, Алка успела разглядеть квартиру молодого архитектора. Она походила на большой натюрморт. Широкий подоконник был весь завален коробками из-под папирос, чешскими журналами и газетами. Здесь же размещалась коллекция минералов, стояли пузырьки с загадочными реактивами, валялась электробритва и поблескивали запонки. Стены были украшены эскизами, а под самым потолком висел гоночный велосипед. На диване валялись боксерские перчатки.

Больше всего понравилась Алке библиотека. Она состояла из дорогих монографий, репродукций и приключенческих романов. Перебирая свои сокровища, Трунов стряхивал пепел в морскую раковину, рассказывал, какие у него связи в книжных магазинах, и спрашивал Алку, что она слышала о Гогене, Ван-Гоге и вообще о импрессионистах. На прощание он подарил ей репродукцию с врубелевского «Пана».

Очень скоро она поняла, что Трунов ей нравится. Его продолговатые цыганские глаза могли одновременно быть печальными и страстными, а когда он говорил, легкая задумчивость придавала ему нечто романтическое.

Это был не тот Витя Корочкин, с которым она впервые целовалась в школьном саду. Тогда их седьмой «А» повально заболел любовью. Все считали чуть ли не своим долгом обзавестись «близким человеком» и услышать от него заветные слова признания. Общему искушению поддалась и она. Витя Корочкин очень искренне исполнил свою бесхитростную роль, и прежде чем разбить его сердце (так уж полагалось по традиции), ей хоть чем-нибудь захотелось возместить ущерб, нанесенный Витиным чувствам. Они поцеловались в школьном саду, где горько и радостно пахло сожженными листьями, а вокруг набухали и лопались почки.

На Трунова Алка смотрела совсем другими глазами. Перед ней был мужчина, который знал архитектуру и живопись, курил крепкие папиросы и презирал людей, за всю свою жизнь так и не рискнувших выйти на ринг или хотя бы побывать на велотреке...

Дом с единственным на всю улицу фризом очень скоро настолько хорошо запечатлелся в Алкиной памяти, что она даже тайком нарисовала его в своем дневнике. Бывать у Трунова было приятно. Чуть ли не полмесяца они копались в импрессионистах и голландцах, а потом он предложил сделать вылазку на каток. Возвращаться обратно пришлось через сквер. Шел редкий и теплый снег. Она даже не помнила, почему им вдруг вздумалось свернуть к увязшей в сугробе скамье, до которой они так и не добрались, потому что Трунов повалился в снег и увлек ее за собой. Под столетней лиственницей они поцеловались, и прощаясь у ворот, сделали то же самое. А затем это стало повторяться так часто, что она уже перестала закрывать глаза и только пугливо загораживалась руками, если архитектор позволял лишнее. Как-то он пригласил ее на вечеринку к своему товарищу. Гостей оказалось немного. Хозяин квартиры, вялый, медлительный юноша, сейчас же повел их к столу и молча стал разливать коньяк. Верзила-бородач размахивал руками и рассказывал о каком-то американском художнике. Хорошенькая девочка постоянно его перебивала, с назойливым кокетством пыталась прикрыть ему рот бумажной салфеткой — и бородач наконец не выдержал. Он посадил ее на колени и потребовал водки. Коньяк его не устраивал. Солидный мужчина в зеленом костюме, в пять минут опорожнивший тарелку с холодными котлетами, подсел к магнитофону, вытащил из нагрудного кармана шоколадного цвета рулон — и через мгновенье комната наполнилась грохотом тамтамов. Их сменили гавайские гитары, трубы мексиканских оркестрантов и сладко рыдающие голоса перуанских фермеров. Все кинулись танцевать. Только женщина с длинным, как у стрекозы, телом осталась сидеть на диване. Она курила сигарету, щурилась и загадочно усмехалась, искоса поглядывая на Трунова. Хозяин раза два приглашал Алку станцевать с ним необычайно темпераментный «квикстеп». Его заносило в сторону, но это ровным счетом ничего не значило, потому что все были в отличном настроении.

Когда бородач стал рваться к выключателю, она попросила Трунова отвести ее домой. Они вышли на улицу. От выпитого коньяка кружилась голова. Деревья казались нереальными, словно их только что вырезали из фанеры и выставили вдоль домов для какого-

то представления. Алка пыталась разобраться в своих чувствах, но это оказалось не так-то просто. Женщина со стрекозиной талией, усмехаясь, наблюдала за Труновым, а потные ладони медлительного юноши все еще сжимали ее руку. Алка остановилась и, сняв перчатки, набрала полные пригоршни снега. Архитектор молча наблюдал за тем, как она, не спеша, оттирала чуть ли не каждый палец. Видимо, он догадался, чем это вызвано. Осторожно заглянув ей в лицо он попытался ее обнять, но она отстранилась. Верзила-бородач, несомненно, уже добрался до выключателя, и внезапная мысль о том, что Трунов когда-то тоже не прочь был остаться в темной комнате, где тихо бренчали гавайские гитары, заставила ее отшатнуться.

— Ты плохо обо мне подумала, Алиса,— тихо сказал он.— Я не очень близок с этими людьми. Ты можешь мне не верить, но так оно и есть. Во всяком случае, ночевать я предпочитаю в собственной квартире... Конечно, странно, что я имею дело с такими людьми. Но знаешь! Они славные ребята. Несмотря на все их чудачества и даже недостатки... Они себя не обманывают. Им наплевать на разные там карьеры и прочее. У них свои вкусы, и если уж они о чем-то рассуждают, то газетами не пользуются. Ты слышала, как говорил этот бородач? С ним шутки плохи. Дикарь! А посмотрела бы ты, какие он делает гравюры! Жуткий пессимизм, только от него кулаки почему-то сжимаются... Думаешь, его признают? Приходится работать таксистом и держать альбом с набросками под сиденьем...

...Весной Трунов заговорил об одиночестве. В промежутках между приступами «леденящей тоски» он работал над проектом новой городской бани и рассказывал, как римские патриции купались в мраморных термах. Одновременно он готовился к велосипедным гонкам, пил по утрам чай с медом и перечитывал биографию Гогена. Временами Алке становилось жаль его угасающего таланта. Вокруг молодого архитектора плелись какие-то интриги, так, по крайней мере, явствовало из его реплик. И вообще Трунов устал: от себя, от собственной комнаты, от чертежных комбайнов и гнусной атмосферы чиновничьих апартаментов.

Только она могла наполнить его жизнь новым содержанием, но при мысли о семейном рае на Трунова нападал столбняк. Он зло говорил о бюргерстве и язвительно высмеивал загсы, где люди оскорбляют свои лучшие чувства, подписывая гарантийные бумаги на законное сожительство.

Алку злили эти разговоры. Выходило, что она была ничуть не лучше других. Красивая мещаночка, полюбившая талантливого архитектора. Холодная решимость росла в ней с каждым днем.

В апреле мать и отчим улетели в Крым. На третий день (была суббота) Алка захватила с собой флакон духов и отправилась к Трунову. Фиолетовый «роджер» встретил ее зловещей усмешкой. Алка достала носовой платок, опрокинула в него флакон и, не спеша, принялась за дело. Череп тускнел. Минут через пять все было кончено. Выглянувший Трунов невозмутимо осмотрел ее работу и пригласил помочь ему почистить селедку.

...Потом была ночь. В открытую форточку доносился робкий шорох ветвей. Горела настольная лампа. Трунов в кальсонах сидел посреди комнаты и курил. Алка лежала в постели. Кающаяся Магдалина смотрела на нее из-за стеклянной дверцы книжного шкафа.

Она ни о чем не жалела. Трунов обращался с ней бережно и только иногда как-то странно поглядывал на нее со стороны. Он говорил о совместном путешествии на Черное море. Там были яхты и пальмовые аллеи. Возможно, им посчастливится достать хорошие акваланги с кислородными баллонами...

Путешествие не состоялось. В июне Трунова арестовали. Его подвели кое-какие долги, которые он компенсировал за счет жилищного фонда. Суд состоялся недели через три.

Всю ночь она читала «Безобразную герцогиню» Фейхтвангера, а на следующий день в полдень бородач передал ей небольшой конверт.

Письмо было короткое:

«Я оказался подонком. Об этом нетрудно было догадаться. Но дело теперь не в этом. Я тебя действительно люблю и через три года приду к тебе.

Евгений».

Тряхнув носовым платком, Цветухин приложил его к лицу и, сделав над собой небольшое усилие, посмотрел на «Комсомольский меч». Сомнений быть не могло: постарался кто-то из четырех. Правый угол, где красовались корифеи, исчез бесследно.

— Аккуратно сделано,— сказал Цветухин, и взглянул на Левченко.— Значит, стоял, говоришь, только один Болотников?

Левченко спокойно расправила на груди кружевной воротничок. На ее длинном, некрасивом лице холодно блеснули стекла очков. Она осторожно прикоснулась к отставшему

краю газеты и еще раз объяснила, что, кроме Болотникова, в коридоре никого не было. Оставалась, правда, буфетчица, но ей-то уж рисунок мешал не больше, чем Эйфелева башня.

— И в читальный зал ты заходила?

— Заходила. Там было шесть или семь человек...

— Вечерники тоже не занимались,— размышлял Цветухин.— А никого из этих (он кивнул на вырезанный параллелограмм) ты не видела?

Левченко отрицательно помотала головой. Цветухин еще раз скользнул взглядом по разгильдяям и спрятал платок в карман.

— Газету придется снять... А Болотникова вызовем на бюро. Надо с ним кончать.

9

Чернильный прибор был настолько громоздок и неуклюж, что приходилось только удивляться, как это Волков собственноручно втащил его на третий этаж. Должно быть, он долго не мог отдышаться и, глотая валидоловые таблетки, топтался перед столом. А потом это мраморное чудо мыли теплой водой. Миртов усмехнулся и еще раз оглядел наследство, доставшееся ему от Волкова. На массивном основании покоился лев, обильно покрытый фиолетовыми пятнами; его мраморный бок давно пожелтел от окурков, которые почему-то складывали тут же, в выемке для перьев. Старого лингвиста крайне огорчало такое отношение к настольным украшениям. Лично Миртову он не решался делать замечаний, но глядя на вавилонские башни, вмещающие в себя по флакону чернил, он с подчеркнуто страдальческим видом разгонял папиросный дым. Теперь Волков обосновался на кафедре русского языка и литературы. Будучи деканом, он ухитрился за небольшой сравнительно срок изнурить всех заседаниями и написать уйму докладных. Предложение о его переизбрании было принято единогласно, однако Волков не спешил с капитуляцией. Он регулярно появлялся в деканате, чтобы ввести своего преемника в курс дела и поделиться накопленным опытом.

Если дверь открывалась плавно и вкрадчиво, можно было не сомневаться, что вслед за этим покажется сутуловатая фигура лингвиста. Входил он обычно спиной, держа портфель под мышкой, и только плотно прикрыв за собой дверь, оборачивался к Миртову, чтобы произнести свою сакраментальную фразу: «Надеюсь, я не помешаю?»

На этот раз Волкову не повезло: у Миртова сидел проректор по хозяйственной части. Засеменив к дивану, старый доцент на ходу прошелестел свое «ну, я не помешаю» и, пристроившись в уголок, стал нервно протирать очки.

— Так вот, Станислав Львович,— возвращаясь к прерванному разговору, вздохнул хозяйственник.— Меня это крайне огорчило. Я, видите ли, стал для них жандармом. Каково?

Миртов задумчиво постучал мундштуком папиросы о портсигар. По тому, как проректор вздергивал плечи и очень прямо смотрел перед собой, нетрудно было догадаться, где он приобрел такую выправку. Ротный командир. Полковые смотры и до блеска начищенные пуговицы. А теперь вместо казарм общежития. На стенах — Ренуар и подковы... Недисциплинированность, отсутствие элементарной этики и беспорядок.

— Я понимаю вас, Виктор Моисеевич,— сказал Миртов.

— Не хотелось бы оставлять это без последствий, — хмурясь, произнес проректор.

— Простите,— ожил на диване Волков.— Нельзя ли мне узнать, в чем дело?

Проректор повернул к нему голову:

— Охотно повторю. Но не будет ли лучше, если вы, Станислав Львович, сами посвятите...

— Нет, отчего же,— вежливо уклонился Миртов.

— Ну хорошо. Извольте.— Хозяйственник пожал плечами и кратко рассказал о том, что случилось с ним в общежитии.— Я тоже коечто смыслю в живописи. Но голая женщина — это не для комнат, где живут здоровые юноши,— закончил он.

— Озорство,— захихикал Волков.

— Секс, — уточнил проректор и снова нахмурился.

Миртов небрежно ткнул окурком в мраморную ногу льва и незаметно взглянул на часы. До лекций оставалось пятнадцать минут.

— А Болотников по-прежнему ведет себя вызывающе,— доставая платок, заметил порозовевший от смеха лингвист.— Наш давний с вами разговор, Станислав Львович... Все возвращается на круги свои.

— Вы правы,— заметил Миртов.— Коечто действительно возвращается,— он снова оглядел фигуру проректора. Волосатые пальцы, распростертые на коленях, начинали его раздражать.

— Насколько я понял вас, Виктор Моисеевич, вы производили смотр личного имущества студентов?

— Не совсем так. Но я считаю своим долгом следить за порядком в их тумбочках.

— Надеюсь, вы не заглядывали в тумбочки?

Проректор с недоумением посмотрел на декана.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что мы с вами не таможенники.

Миртов встал из-за стола и, уже не стесняясь, посмотрел на часы.

— Нам с вами пора на лекции, Герман Абросимович.

— Ради бога!— взмахнул руками Волков.— Мы еще не выяснили всех обстоятельств...

— Их надо выяснять не здесь,— багровея, проговорил хозяйственник. Он стремительно поднялся с места и широким солдатским шагом, не прощаясь, вышел за дверь.

В этот день у Миртова состоялось еще три разговора. 1. По телефону с одним старым приятелем:

— ...вот что, Федор. Ты не забыл о моей просьбе? Нет! Прекрасно. Значит, говоришь через сутки... А что, собственно, за работа?.. Ага! Понимаю. Ну тогда все ясно. Давай адрес.

2. Со студентом третьего курса Курковым:

— Садитесь, Курков. Вот тут староста собрал кое-какие сведения... Ах, не надо. Значит, были очень заняты? Любопытно... Придется объявить вам выговор. Объяснительную записку?.. Оставьте ее при себе. И вот что, Курков. Возьмите-ка этот адрес и на обороте ознакомьтесь с условиями работы. Жаль, что я не знал раньше. Мне давно хотелось предложить кому-нибудь это место...

3. С секретарем-машинисткой:

— Давайте-ка мы с вами, Лидочка, по случаю всемирной весны совершим небольшую реформу. Пора убрать со стола эту мраморную штуку. Куда? А к той вон сове. Я встану на стул, а вы мне подадите.

Это был их последний литературный четверг. Больше решили не собираться. Как всегда, долго клянчили у вахтерши ключ от аудитории, а потом, рассевшись за столами, читали новые стихи Кольчугина, который давно настаивал на том, чтобы его обсудили «за круглым столом». Сам он молча стоял у окна, сложив на груди костлявые руки. Глаза его тревожно поблескивали. За последним столом сидел Клюев. Теребя свою бороду, он с жестокой усмешкой поглядывал на юбиляра и многообещающе поигрывал авторучкой. Кольчугину отчего-то вспомнился купец Калашников на той самой иллюстрации, где все готово к казни. Он умоляюще посмотрел на Леона, и тот, наконец, занял свое председательское место. Можно было начинать. Все притихли, когда Кольчугин высоким рыдающим голосом прочел свою первую миниатюру. За ней последовала вторая, а затем уже трудно было разобраться, что и за чем следует, потому что стихи лились свободно — без цезур и интервалов. Экзотическая муза Игоря Северянина старчески усмехалась за спиной молодого клеврета. Леон придвинул к себе одну из миниатюр, подсунутую ему ухмыляющимся Валькой, и пробежал глазами взятую в кавычки строфу:

Где же она?
Вот и парк,
И следы...
Где же Вика?
Вижу скамью,
Вижу снег,
А под ним — ежевика...

Нехорошее чувство на миг овладело Леоном. Это было чувство тщеславия. Под рукой лежали плохие стихи — и этого было достаточно, чтобы увидеть себя в более выгодном свете. Наверное, нечто подобное испытывали и другие: нетерпеливо щурился Валька, зевал обстоятельный Клюев, и только Алка, сидевшая рядом с Курковым, серьезно смотрела перед собой.

Кольчугин, наконец, кончил. Усадив его за отдельный стол, Леон попросил желающих высказаться. Первым поднялся Клюев. Полистав рукопись, он небрежно ткнул в нее пальцем и обратился к Кольчугину:

— Когда ты написал свою «Ежевику»?

— В прошлом году,— неохотно ответил Кольчугин.

— Вот на этом и надо было кончать.

— Женя! Давай посерьезней,— вмешался Леон.

— Я вполне серьезно. Он историк и я историк. Третий год учимся вместе, а по большому счету так и не успели поговорить.

— Зачем считаться? Собрались-то ведь мы обсуждать.

— А что обсуждать? Это!— Клюев схватил рукопись и потряс ею перед собой. Кольчугин стал медленно подниматься из-за стола. Его правое веко подергивалось. Пальцы машинально перебирали листки.

— Значит, я, по-твоему, графоман? Да! — задохнувшись выговорил он и двинулся к Клюеву.

— Тихо, Гера! — загораживая проход, сказал Валька, но Кольчугин, отодвинув его плечом, протиснулся к Клюеву. На его побледневшем лице еще резче обозначились светлые полоски бровей. Поднялся из-за стола Курков. Ему хотелось подоспеть вовремя, но разнимать поэтов не пришлось. Криво усмехнувшись, Кольчугин вырвал у Клюева рукопись и вернулся к столу.

— Кончено! — сказал он. — На глазах его показались слезы. Оглядев аудиторию, он яростно сгреб свои рукописи и начал раздирать их на части. Леон бросился к нему.

— Где мое пальто?— прохрипел Кольчугин и, топча рассеянные по полу клочья бумаги, стал одеваться. Через мгновенье его шаги простучали по каменным ступеням лестницы, в фойе хлопнула дверь и стало тихо. Подобрав несколько уцелевших страниц, Леон заложил их в книгу.

— Жаль, — ни на кого не глядя, произнес он.

— А мне не жаль!— взорвался вдруг Валька.— Женька прав. Если человек сам не понимает, что он графоман, с ним так вот и надо разговаривать...

— Валя!— мягко перебил Леон,— представь себя на его месте и скажи... только честно. Поверил бы ты, что у тебя нет таланта, если бы тебя вот так же тюкнули по голове, безо всяких доказательств...

— Я не кретин,— обиделся Валька.

— Вот то-то и оно. Кольчугин тоже не кретин,— но писать, по-моему, все равно не бросит.

— Значит его надо всячески поддерживать?— угрюмо спросил Клюев.

— Зачем поддерживать? Выразить в более мягкой форме. Для этого мы и собрались...

— Плевать я хотел на мягкие формы,— озлился Клюев.

Алка, до сих пор молча наблюдавшая за происходящим, поднялась с места и стала одеваться.

— Домой?— поинтересовался Курков и взглянул на Леона.

— К себе, если выразить это в более мягкой форме,— ответила она.— Довели человека до слез, а теперь состязаются друг с другом в непримиримости. Подумать только, какой вред литературе нанес бедный Кольчугин... Непримиримые.

Поправив шапочку, Алка усмехнулась и, опустив голову, направилась к дверям.

— Сеньоры! — глядя ей вслед, сказал Курков.— Я тоже протестую против мягких форм. Все должно быть железным.

Карлов положил на стол журнал и стал разглядывать свою группу. Кое-кто уже, конечно, успел удрать с лекций.

— У нашего старосты плохое настроение,— вполголоса заметил Курков.

— Глаза большие и мутные,— согласился Валька.

— Настоящий Вий.

Взор Карлова остановился на Леоне.

— Болотников! После лекций зайдите к декану. Столетов тоже...

Староста открыл журнал, извлек из кармана авторучку и, сунув ее в пузырек, стал нагнетать смертоносную жидкость. Все притихли. Зрелище было тяжелое. На днях Карлову опять сделали крупное внушение за плохую посещаемость в группе, и теперь он был зол.

— Покурим?— предложил Курков.

Леон поднялся и, проходя мимо доски, одним росчерком нарисовал профиль Карлова. Сестры Гавричковы закрылись шарфами, остальные оживились. На лестнице в позе «отца русской демократии» стоял Риман.

— Где же ваша газета?— спросил он.

— Какая газета?

— А где вас разрисовали?

— На втором этаже,— пояснил Леон.

— Там одни кнопки.

— Значит, сняли.

— Жаль,— протянул Риман.

Коля Столетов был явно растерян. Разминая в руках каучуковый мяч (Коля не расставался с ним никогда) он обратился к опустевшим скамьям и произнес краткую речь о проректорах. Лекции кончились. Аудитория уже опустела, и только Курков, собирая книги, не торопился покинуть друзей.

— Не раздражайте шефа, потупляйтесь и краснейте,— поучал он.

— Заткнись! — коротко посоветовал Коля. Его совсем не радовал предстоящий разговор и поэтому, подойдя к дверям деканата, он великодушно посторонился, пропуская Леона вперед. Миртов стоял у окна. Даже через двойные рамы было слышно, как дружно постукивает внизу капель.

— Разрешите?— сказал Леон.

Декан повернулся к вошедшим. Из-за яркого света, бившего с улицы, трудно было разглядеть выражение его лица. Опираясь руками о подоконник, он заговорил:

— Вот что, дорогие друзья. Вызвал я вас по поводу недавней истории с проректором.

Жалоба поступила к ректору. Понятно? Явитесь к нему сегодня же. В четыре часа. Инструктировать вас, надеюсь, не нужно. Все.

— Можно идти?— спросил Леон.

— Да!— тихо произнес Миртов.

Кабинет шефа был оформлен в духе старого академизма: лепной потолок, набитые книгами полки и тяжелые бархатные шторы с бронзовыми кольцами у верхней каймы. По правую руку (если смотреть от дверей) висел портрет Ломоносова. Великий ученый с любопытством глядел на пустые столы, окруженные строгим конвоем стульев. Тонкие, почти иконописные пальцы сжимали гусиное перо. Под портретом сидел сам шеф. Оторвавшись от бумаг, он с любопытством оглядел двух скандалистов. Темные, слегка запавшие глаза остановились на Коле, которому на этот раз пришлось войти первым, так как у Леона в приемной неожиданно развязался галстук.

— Столетов и Болотников. Кажется, так?

Мушкетерские усики, безукоризненно подстриженные ромбом, едва уловимо дрогнули. Коля хмуро уставился на пресс-папье.

— У вас всегда такой мрачный вид?— поинтересовался шеф.— Если да, то я не завидую вашим будущим ученикам... Впрочем, не будем отвлекаться, Столетов. Объясните-ка лучше, почему вы так развязно себя вели с проректором?..

Коротко изложив, что получилось во время обхода, Коля не забыл упомянуть версию с подковой (ему подарил ее веселый комбайнер Гоша), объяснил, кто такой Ренуар и что писал о нем Луначарский и, поймав на себе ироническую усмешку шефа, заговорил о Пашиной черной душе.

— Достаточно, Столетов. Достаточно. Смею лишь заметить вам, что подковы можно держать в чемодане, а раздетая женщина в общежитии ни к чему.

— Я купил ее в магазине,— заметил Коля.

— Неважно, — отрезал шеф. — В магазине можно купить не только Ренуара...

Леона разбирал смех. Он стал глядеть на Ломоносова, но от этого стало только хуже. Автор «богоподобной Фелицы», придворный бунтарь и несравненнейший из академиков лукаво глядел со стены... Улыбка не ускользнула от внимательных глаз шефа.

— Напрасно вы так веселитесь, Болотников. Боюсь, что вам придется писать объяснительную записку. Можете изложить в ней свои конституционные взгляды.— Шеф поиграл логарифмической линейкой и, понизив голос, добавил: — имейте в виду, вторично вам уже не придется со мной разговаривать.

— Но проректор устроил повальный обыск.

— А вам не кажется, что вы преувеличиваете?

— Нет.

— В таком случае позвольте вам напомнить, что вы живете в общежитии...

Леон выслушал до конца краткие доводы шефа и сдержанно вздохнул. Оставалась объяснительная записка. Судя по всему, ректору она нужна была не более, чем гвоздь в пироге. Спрятав руку за спину, Коля осторожно разминал каучуковый мяч.

Проходя мимо объявления, в котором говорилось, что все участники хора должны явиться сегодня в семидесятую аудиторию в шесть часов вечера, Леон обратил внимание на дату.

Девятнадцатое марта... Выведенные тушью цифры растекались по бумаге. Хвостик девятки повис безжизненной кляксой. Леон отвел глаза от объявления и медленно направился к выходу.

В этот день умерла его мать. Два года прошло с тех пор, как ее не стало. Он был на лекциях, когда ему позвонили из клиники и коротко объяснили, что в его распоряжении минуты. Такси не помогло: он опоздал. Еще когда он работал на машиностроительном заводе после десятого класса, у матери было несколько тяжелых приступов, но ему тогда и в голову не приходило, что через год все будет кончено.

От учреждения, где работала Софья Андреевна Болотникова, на дом пришла делегация.

Маленького роста женщина с пепельно-белыми завитками на висках неторопливо перекладывала цветы возле гроба. Приходило много людей. Печально опустив руки, стоял Михеев. К нему дважды протискивался Бекешин и что-то шептал литейщику на ухо. А потом была дорога, борт плывущего среди кустов грузовика, осыпающиеся комья глины и чистая гряда облаков за березовой рощей.

Возвращаться в опустевшую квартиру не хотелось, она стала вторым кладбищем, большинство вещей потеряло всякий смысл.

Как-то вечером в комнате появился Бекешин. Его сопровождал сухощавый человек, в профиль похожий на кофейник. Тонкая, как отощавшая змея, усмешка пряталась в уголках его губ.

— Гутя!— отрекомендовал его Бекешин.— Аккордеонист и гений.

Завмаг поставил на стол бутылку «Столичной», разложил колбасу и сыр и строго посмотрел на Гутю. Гений смутился, снял с плеча аккордеон и из потертого плаща достал еще одну бутылку. Леон не возражал. Пили из стаканов. Навалившись грудью на стол, Бекешин говорил о матери. Она была к нему слишком сурова и даже отказалась от путевки, которую он ей предлагал еще осенью. Бекешин тяжело переживал эту трагедию. Софья Андреевна была для него идеалом. После Бекешина стал говорить Гутя. Ему жестоко не повезло в жизни. Семья загубила редкий талант музыкального юноши, и он стал алкоголиком. Гутя сыграл на аккордеоне «Карусель» и снова стал жаловаться, в каких невыносимых условиях он живет: одна небольшая комната и целых три дочери, не считая его жены, — сущего дьявола, посланного ему в наказание самим небом.

Леон плохо помнил, чем кончился этот вечер. Бекешин под конец стал говорить, как тяжело жить в квартире, где по ночам бродят тени умерших родителей, а Гутя обнимал его за плечи.

На следующий день аккордеонист пришел один и снова завел разговор о квартире. Леон понял, чего от него добиваются. Он посоветовал Гуте не валять дурака и проводил его до лестницы.

Летом, во время сильного ливня, затопило подвал, в котором жили Архипыч и Юлька. Старый сапожник сидел на ящике из-под гвоздей и ругал горсовет. У ног его валялись старые пожитки, а невозмутимый Юлька лежал на кровати и жевал пирожки, купленные у лотошницы. Леон предложил Архипычу поселиться пока у него. Тот согласился и в знак благодарности починил все ботинки, найденные им в квартире. Однажды Архипыч рассказал Леону, что у него есть одна знакомая женщина. Правда, она выглядит несколько старше своих лет, но зато у нее золотое сердце. Свекольного цвета румянец на щеках безногого квартиранта досказал все остальное. Осенью Леон переписал ордер на сапожника и получил место в общежитии.

10

Через неделю после проректорского смотра состоялось заседание студсовета. Коля произнес обличительную речь против Паши Чикина и растопил холодное сердце Железной Зинаиды. Она сказала, что ей тоже кое-что не нравится в работе коменданта, но что выговор Болотникову и Столетову следует дать. Возмущенный Паша заявил о своем нежелании работать с таким либеральным составом и, наконец, махнув рукой, неожиданно смягчился: выгонять из общежития? Да он и не думал — ограничиться хорошим внушением, в крайнем случае вынести порицание.

Подкову пришлось снять. Коля не верил в приметы, но, укладывая ее в рюкзак, почему-то подумал, что все теперь пойдет по-другому. Его мучили сложные предчувствия: можно завалить экзамен, перед соревнованиями по штанге растянуть сухожилие, или вообще попасть под автобус и всю жизнь пролежать в больнице. Пока подкова висела на стене, Коля чувствовал себя уверенней. Как бы там ни было, а металл обладал магическим свойством. По военному делу Коля, например, получил зачет только потому, что, уходя, притронулся к своей ржавой старушке рукой. Полковник в тот день перепутал фамилии, и пока разбирал зачетные ведомости, успел перезабыть, кто как отвечал. Решив не усложнять дела, он оглядел Колину фигуру, сказал, что в здоровом теле больного духа не бывает, и с миром отпустил его домой.

Ренуара Коля заменил плакатом, на котором были изображены энцефалитные клещи. На разносчиков страшного заболевания ходили смотреть со всего общежития. Валька вынужден был ввести таможенный налог в размере одной копейки. Сам он на клещей не смотрел: это было настолько гнусное зрелище, что его мутило. Паша, увидев плакат, долго скреб под тельняшкой; в принципе он не возражал, но Ренуар был все же приятней.

Риман после долгих колебаний решил поставить на сцене отрывок из «Демона». Его давно пленило то место в поэме, где жениха Тамары, рискнувшего отправиться на свадьбу, в пути застает ночь. Верные кунаки засыпают у костра вместе с князем. Появляется Демон и произносит монолог. Его появление сопровождается огненной вспышкой и клубами черного дыма. Риман заранее предвкушал овации, которыми будет встречена эта сцена; ему даже самому захотелось сыграть отверженного богом ангела, но он переборол в себе это желание: Демону надлежало быть без очков. Вскоре за кулисами закипела работа. Понадобились пиротехнические приспособления и, само собой разумеется, взрывчатые смеси. Риман раздобыл и то и другое. После долгих приготовлений состоялась пробная репетиция. Все шло, как по маслу: монархом восседая на опрокинутом ведре, Ри-

ман держался за рубильники. В нужный момент его рука сработала как автомат, однако вспышки не последовало. Дух изгнания уже выступил из тьмы. Несколько удивленный отсутствием пламени, он все же счел нужным приступить к монологу. Режиссер долго не мог сообразить, в чем дело, пока взгляд его не упал на разгорающиеся сучья; только тогда стало ясно: в спешке он перепутал рубильники и вместо адского пламени снова включил костер. Ошибка тут же была исправлена. Слепящая вспышка заставила всех отшатнуться, поднялась паника, темная фигура в длинном плаще с воем метнулась в зал и рухнула на пюпитры. Постепенно дым рассеялся, ослабевшие от смеха кунаки катались по сцене. Когда они стихли, из-за кулис появился озверевший Демон в трусах и парике. Загнав режиссера под рояль, он чуть не задушил его покрытыми копотью руками и, потребовав штаны, навсегда удалился со сцены.

Хуже всего было то, что все это происходило на глазах у Эльки, с которой он долго не мог наладить контакт.

Впервые он увидел ее в приемной у ректора. Она сидела за пишущей машинкой и разбирала письма. Риман попытался с ней заговорить, но удалось ли ему это, знает один бог, потому что сам он своих слов не помнил. Потом ему было неловко, и он долго не мог сообразить, каким образом весь его всегдашний запас комплиментов так и остался невысказанным. Придя в себя, Риман попытался разобраться в своих чувствах, однако к определенному выводу так и не пришел. В любовь с первого взгляда он не верил. Следовательно, эта версия отпадала. И тем не менее Элькино лицо преследовало его до тех пор, пока однажды он не столкнулся с ней на вечере. Им удалось разговориться. Они танцевали. В полночь он проводил ее до ворот какого-то дома. Театральная луна смотрела из-за дерева. Хотелось говорить и целоваться, но на последнее Риман решился только через месяц, а еще через месяц он пригласил Эльвиру Мохову в свою труппу. Да! Она должна была сыграть Тамару, и он, печальный Демон, готовился склониться над ней лично, но ничего из этого не вышло, потому что его загнали под рояль, а Эльвира хохотала вместе с кунаками. Девушка со сложным интеллектом ни за что бы не стала так примитивно запрокидывать голову. Уж он-то это понимал. Все было кончено. Риман понял, что с него хватит. Отныне он решил переключиться на эстраду и испробовать себя в роли конферансье.

— Надо искать новые формы,— сидя в двадцать четвертой, теоретизировал он.— Лермонтов устарел.

— Устарело очень многое,— поддержал его Леон.— Взять хотя бы Шекспира.

— Классика вообще себя изживает,— перебил его Риман. Он был в ударе и говорил исключительно небрежно.

— ...вот я и говорю. Все дело в новаторстве,— разжигал его Леон.

— А то как же?

— Ты-то это понимаешь, Риман, а вот остальные...

— Главное — эстрада,— внушительно заговорил недавний постановщик «Демона».

— Значит, крышка Шекспиру?— не вытерпел Курков.

— Крышка не крышка, а эта резня королей надоела.

— А в Москве ставят «Гамлета».

— Охлопков уже отошел от этого,— продолжал вольнодумствовать Риман.

— И куда же он отошел?

— К Мейерхольду.

— Назад, значит?

— Как это назад?

— Ну, то есть коленками...— пояснил Курков.

— Слушай, Риман,— вмешался Валька,— как там обстоит с телевидением?

— Неважно, парни. Передачу обещали поставить в план только на конец мая.

— А что ты вообще делаешь на телевидении?— поинтересовался Коля.

— Как что?— удивился Риман.— Меня же там знают.

— Он у них чернила разводит,— пояснил Валька.

Риман сухо посмотрел на него и, не желая больше разговаривать, занялся ногтями. Продолжалось это недолго. Помолчав, он вытащил из кармана пачку билетов, положил подле себя на стол и на его негритянских губах заиграла пиратская усмешка.

— Чуть не забыл,— развязно сообщил он.— Послезавтра вечер. Кому сколько?

Увидев билеты, Алка потупилась, долго перебирала бусы, наматывая их на палец, и наконец заявила, что в понедельник ей обязательно надо сдать курсовую. Кроме того, ее беспокоила портниха: целых три платья лежали уже вторую неделю у этой «яги», а она и не собиралась к ним приступать. Было бы смешно появиться на вечере в давно немодном сарафане с какими-то оборками — лучше

уж посидеть дома. Леон сказал, что одному ему, пожалуй, будет не совсем весело слушать великого маэстро Римана, что же касается танцев, то он легко может обойтись и без них. На этом они и расстались. Билеты Алка взяла для Ливердо, с которой по-прежнему находилась в самых приятельских отношениях.

...И все же на вечер он пошел.

Нервная дробь подошв далеко разносилась в морозном воздухе. В конце марта внезапно выпал снег — и теперь желающие попасть на факультетский вечер вынуждены были считаться с еще не умершей балетмейстершей-зимой. Леон присоединился к толпе, осаждающей парадные двери. Здесь были все те, кому не хватило билетов. Кутаясь в плащ, Леон уже начинал сожалеть, что постеснялся попросить билет у Вальки или Куркова (оба они уже давно находились по ту сторону фойе). Четыре человека с презрением глядели на самозванцев из-за толстых дверных стекол. Это была стража. Возмущение нарастало с каждой минутой. Для организованного штурма «самозванцам» не хватало Лжедмитрия, но вскоре объявился и он. Светлая куртка сразу выделила его из общей массы — и он возглавил движение. Толпа выстроилась «свиньей» и замерла в грозном молчании. Как только двери распахнулись, пропуская лишь тех, у кого на руках были билеты, «самозванцы» плотным косяком хлынули в фойе и чуть не разнесли в щепы стол, поставленный поперек прохода. Не теряя времени, Леон нырнул в гардеробную, на ходу скинув плащ, бросил его в окно. С номерком на пальце можно было спокойно отправляться на второй этаж, где играла музыка. У лестничных клеток и в боковых коридорах одиноко томились женоненавистники. Леон собрался было уже отыскать Вальку и предложить ему вместе пойти домой, когда вдруг увидел Алку. Она стояла к нему спиной перед самой сценой и разговаривала с юношей, лицо которого было густо усеяно крапинками, словно на нем молотили горох. Эти крапинки и эти волосы цвета опавшей хвои в сочетании с голубыми глазами заставили Леона насторожиться. Соперники вызывали в нем примерно такое же чувство, что и тесная обувь. Задержавшись в дверях, он стал наблюдать. Судя по всему, юноша в чем-то убеждал Алку. Она отрицательно мотала головой и нетерпеливо поглядывала в сторону. Потом к ней подошла Ливердо. Алка взяла ее под руку и, грациозно изогнув шею, повернулась к юноше спиной. В ушах блеснули клипсы. Увидев Леона, она слегка смутилась, направилась к нему, заговорила: Ольга, разумеется, насильно вытолкала ее на вечер, если бы не она...

— Ты, кажется, тоже не очень-то собирался?

— У меня оказался лишний билет.

Заиграли фокстрот.

— Пойдем?— улыбаясь, предложила Алка.

— Мне что-то пока не хочется. Я лучше выйду покурить.

— Ты обиделся?

— Тебя ждет Ливердо.

Он спокойно выдержал ее взгляд. Мимо них уже проносились первые пары. Ничего не сказав, Алка отошла. Он долго бродил по коридорам, спустился в фойе и выкурил там две папиросы, вытащил номерок, но у самой гардеробной заколебался и снова поднялся на второй этаж. Проходя мимо распахнутых дверей, задержался: среди галстуков, челок, розовых плеч и кружев несколько раз мелькнула Алкина голова. Все-таки она заметно изменилась за эту зиму. Раньше в ней не было таких резких переходов от веселья к задумчивости, и потом этот сегодняшний сюрприз. Так много было сказано в адрес портнихи... И еще этот голубоглазый с лицом изрешеченным, как мишень, и Вовик, и письмо с полтинником. Леон начинал понимать настроение ревнивого мавра. Его, правда, не тянуло на крайние меры, но поговорить с Алкой следовало. Это было совершенно ясно.

— Ты уже накурился?

Он вздрогнул. В двух шагах от него стояла Алка и обмахивалась платочком.

— Какой у тебя неподкупный вид. Тебя все еще гложет обида... Может, мне не стоило нарушать твоего одиночества?

— Я только что собирался потанцевать,— как можно мягче сказал Леон.

— А я собралась домой.

Леон спрыгнул с подоконника и небрежно похлопал себя по брюкам.

— Вообще-то наши желания совпадают... но мне надо найти Клюева.— Он отвел глаза.

Алкины губы дрогнули. Она хотела что-то сказать... и ничего не сказала. Только поправила бусы. Леон смотрел ей вслед, не понимая, зачем ему понадобилось говорить о Клюеве. Спонтанный рефлекс. Не иначе. Клюев нужен был ему не больше, чем прошлогодний снег. Алка уже давно спустилась по лестнице. «Сейчас подаст номерок,— соображал Леон,— гардеробщица бредет среди одежды, задевая за хлястики (пальто на пальто — точно мясные туши)... Алка снимает клипсы, надевает свою китайскую шубку...»

Он сорвался с места и ринулся вниз. Алки уже не было. На ходу застегивая плащ, Леон

выбежал в темноту; гулко проскрежетала за спиной дверь; тишина накрыла, как колокол. Он пересек двор и, выйдя за ворота, увидел несколько людских силуэтов. Они о чем-то совещались или говорили. Сначала глуховатый ломкий голос, потом еще один — умоляющий... и женский. Сомневаться было некогда; говорила Алка. В груди стало холодно. За деревьями блеснуло смотровое стекло машины. «Волга»,— определил Леон. Разговор внезапно оборвался, что-то щелкнуло, словно разорвалась бумажная хлопушка; послышался вскрик... У Леона перехватило дыхание; из-под подошв покатилось эхо. Алку вталкивали в такси двое. Она молча сопротивлялась. Крайнего Леон узнал — юноша с голубыми глазами и щербатым лицом. Теперь он вспомнил, что встречал его в читальном зале (однажды они обменялись журналами). Леон бросился к нему, но дорогу ему преградил третий, в огромном пальто и шляпе. Видимо, он сидел за рулем. Разворачиваясь всем корпусом, Леон почти упал, посылая правую руку в голову незнакомца. Командорская фигура осела у колес. Остальные бросились на помощь. Леон видел метнувшуюся мимо Алку, заметил тусклый блеск свинца в руках второго, которого он так и не успел разглядеть, и, уклоняясь от удара, успел достать еще голубоглазого. Он долго падал. Он уже давно лежал поперек тротуара, но все еще падал вместе с машиной и домом, пока не погас последний фонарь в конце улицы.

— Не надо, мальчики, снег грязный... Он уже приходит в себя.

— ...кастетом! Если бы не шапка...

— Старик! Как ты себя чувствуешь?

Валькин голос... «Мы Шекспиры, мы Эолы, мы ночные матиолы». Это еще на первом курсе... Леон открыл глаза и сквозь ветви увидел звезды. Он сидел на краю тротуара, привалившись спиной к дереву. Алка придерживала ему голову. Из-под распахнувшейся шубки выбивалось белое платье, глаза тревожно смотрели ему в лицо. Валька и Курков склонялись с другой стороны. На дороге стоял Клюев.

— Кто эти типы?— угрюмо допытывался он и вращал бородой, словно надеясь кого-то увидеть.

Леон отстранил Алкины руки и попытался приподняться. О «типах» ему говорить не хотелось.

— Сейчас мы тебе поможем.

Леон осторожно дотронулся до затылка. Кажется, кость была цела, спасла кожаная шапка.

— Все в порядке,— сказал он, стараясь не упасть от подступившей вдруг тошноты. В ушах осыпался песок, сползал с высокого берега и шуршал, не стихая.

Ночью у него был жар. Пришли те трое. Они долго волокли его по темным коридорам и, наконец, втолкнули в аудиторию... Оказывается, его пригласили на ученый совет. Все остальное произошло чисто случайно: ребята просто обознались. На подоконнике сидела белая сова. Возле нее стоял Валька Хлебников и читал астрономический календарь. Ректор в старомодном парике поднялся из-за стола и обратился к присутствующим. Заседание началось.

Первым выступал Валька. Сначала его никто не слушал. Старейший доцент факультета Волков украдкой доставал из кармана валидоловые таблетки и закладывал под язык; его бледные, как высохшие стебли пальцы вздрагивали. В стороне маячил Великий Могол диалектов — Мелентий Герасимович Клин. Мрачно запахнувшись в плащ, он думал о судьбах славянских наречий. Когда Валька заявил, что пора внедрить в систему обучения электронного профессора, проректор, стоявший за спиной Волкова, молча отстегнул брючный ремень и стал протискиваться к кафедре. Его не удерживали.

— По-вашему, я и мои коллеги валяем дурака,— загремел он.— Все свихнулись на этой кибернетике!

— Нам читают лекции по листкам,— осмелел Валька.— Они уже пожелтели. На них больно смотреть...

Волков достал платок и стал прикладывать его к розовой голове.

— Ради бога,— прошептал он.

— Бога нет,— встрепенулась сова.

На нее никто не обратил внимания. Все смотрели на докладчика. Проректор, выразительно похлопывая ремнем по кафедре, оглядывал Валькину фигуру. К нему присоединилось еще несколько человек. Назревал скандал. Вальку окружали. Леон отыскал глазами тяжелый венский стул и прикинул, сколько до него шагов. Стул не понадобился. Валька вдруг отчаянно взмахнул руками и оторвался от кафедры. Загребая ногами, он медленно поднимался к прозрачному куполу аудитории.

— Все равно вы этим ничего не докажете,— крикнул ему ректор. Обмахиваясь париком, он повернулся к Леону и насмешливо оглядел его фигуру.

— Вы-то, кажется, не из породы птеродактилей?

Наступила тишина.

— Держись, старик!— прошептал сверху Валька.

Волков неожиданно закашлялся, хотел что-то сказать, задохнулся, побагровел и, уже совершенно обессилев, пролепетал:

— Пусть расскажет свою биографию.

— Подробно!— добавил проректор.

За столами одобрительно зашептались. Только Великий Могол презрительно отвернулся к окну. Взгляд Леона упал на сову. Ему вспомнились офорты Гойи.

— У него еще нет биографии,— тихо шепнула сова. Она взмахнула крыльями и бесшумно понеслась над столами. Леон хотел возразить, но у него онемели губы. Странная усыпляющая музыка возникла вдали; она перешла в колокольный звон; невидимые пальцы пробежали по клавишам рояля, остановились на одной ноте и стали настойчиво ее повторять. Отмахиваясь от совы, все поспешно стали собирать бумаги и по одному исчезать. Последним скрылся за дверью проректор. Стало легко и тихо:

«Вальпургиева ночь»,— подумал Леон.

11

В понедельник Леона предупредили, чтобы он явился на бюро.

— Входи, Болотников,— пригласил его Цветухин. Секретарь сидел за столом, покрытым бархатной скатертью. За его спиной висела картина: Ленин среди делегатов первого съезда комсомола. На фоне старых шинелей, измятых папах, обтянутых голодом скул и кавалерийских штанов фигура Цветухина выглядела довольно солидно. Невольно бросались в глаза и аккуратные белые пальцы с ровно подстриженными ногтями, и скромный в горошек галстук и любовно отутюженный борт пиджака. Цветухин учился на юридическом факультете. С криминалистикой у него было все в порядке и с гражданским кодексом тоже.

— Ты не догадываешься, зачем мы тебя вызвали на бюро?— ровно, без нажима спросил он. Леон пожал плечами. Цветухин многозначительно переглянулся с Левченко, которая влюбленно разглаживала свой кружевной воротничок, и она, перехватив его взгляд, неторопливо поднялась с места. Кто-то передал ей свернутую в рулон газету. Левченко молча расстелила ее на столе. Это был тот самый номер «Комсомольского меча», который так и не увидел Риман. Не хватало, правда, одного рисунка в правом углу — как раз того, где их изобразили. Видимо, вырезали ножницами. Уж не решил ли комитет поместить их в каком-нибудь крупном печатном органе? Леон обвел глазами членов бюро. Смотрели на него как-то уж слишком загадочно.

— Узнаешь?— спросил Цветухин.

Леон снова сосредоточился на газете. Узнавать, собственно, было нечего: клочок Клюевской бороды да Валькины кудри — все что осталось от славной четверки.

— Зачем ты это сделал?

— Я не понимаю, что вы от меня хотите?

— Ты все понимаешь, Болотников!— мягко проговорил Цветухин.

Юноша с коротко остриженными волосами и сердито приспущенными в уголках губ складками исподлобья взглянул на Леона.

— За такие вещи вопрос надо ребром...

— Подожди, Осипов,— попросила Левченко.

Только теперь Леону стало окончательно ясно, зачем его пригласили.

— Так вы думаете, что это я вырезал рисунок?

Цветухин снисходительно поиграл карандашом.

— Левченко! Напомни ему, где он был в тот вечер, когда рисунок исчез?

— Стоял возле газеты.

— Ведь так, Болотников?

— Так,— согласился Леон,— если ты имеешь в виду прошлую пятницу.

— Теперь слушай дальше. В коридоре, кроме тебя и буфетчицы, никого не было. Так я говорю?

— Так.

— Лекции давно кончились. Читальный зал закрывался. Спрашивается, кто мог сорвать или вырезать рисунок? Утром мы с Левченко пришли за полчаса до лекций. Вахтерша еще ключи не успела раздать.

Цветухин изобразил с помощью карандаша и двух пальцев пропеллер и утомленно посмотрел в окно.

— Значит, состав преступления налицо,— проговорил Леон.— Расследование показало...

— Ты давай без иронии,— оборвал его Цветухин.— Есть у кого вопросы?

— Есть,— сказал Леон.— С каких это пор у нас в комитете стали внедрять криминалистику?

Цветухин перестал играть карандашом. Щеки его дрогнули. Навалившись грудью на стол, он плотно сомкнул челюсти. В комнате стало тихо. Все насторожились. Леон поймал на себе сочувственный взгляд маленькой Сары, которая несколько раз приходила на их четверги.

Цветухин совладал с собой. Он поставил локти на стол, провел руками по волосам и, вскинув голову, проговорил:

— Думаю, что разговор можно не продолжать. Выйди, Болотников. О решении бюро тебе скажут потом.

Миртов направился в библиотеку. Он неторопливо шел мимо чугунной ограды и рассеянно поглядывал по сторонам. Судя по всему, его занимали какие-то приятные воспоминания, что не мешало ему, однако ж, замечать деревья с заметно округлившимися почками, вычурные башенки музея с выбитыми под ними именами первооткрывателей флоры и фауны, а также голубей. К последним Миртов был особенно предупредителен. Коварные птицы облюбовали себе лепные карнизы зданий. Особенно много их было на фронтоне бывшего губернаторского дома, где размещалась теперь библиотека. Сидя на капителях, они преспокойно роняли вниз «визитные карточки», и Миртов с полным основанием полагал, что его шляпа не гарантирована от этих знаков внимания.

— Здравствуйте, Станислав Львович!

— Здравствуй, Леон.

Миртов придержал шляпу и проводил глазами подхваченную общим порывом ватагу голубей.

— Чем это вы расстроены, молодой человек?

Леон потупился, пихнул носком отвалившийся от фасада кусок штукатурки. Ему не хотелось рассказывать о только что состоявшемся разговоре с Цветухиным. Но скрывать все равно было бесполезно. Декану полагалось знать о всех происшествиях. Растерев штукатурку подошвой, Леон мрачно поведал о недавнем заседании комитета.

Миртов задумчиво потер подбородок и безмятежная улыбка неохотно сбежала с его лица.

— Ты самый неуравновешенный студент, Леон. Не знаю, чем кончатся эти твои вечные стычки с проректорами и секретарями, но, мне кажется, пора об этом задуматься. Ведь дело-то вот какое: иногда ты бываешь совершенно прав. Остается только спокойно во всем разобраться. Да не тут-то было. Ты теряешь над собой контроль — и все летит к черту... Не думаю, чтобы ты сорвал этот рисунок. Я тебе верю, Леон. Но зачем ты заговорил о криминалистике?

— А зачем он ее использует? Нашел повод попрактиковаться.

— Ну, с тобой, брат, трудно столковаться...

Миртов поднял голову и проследил за голубем, который, сорвавшись с гипсового лотоса, низко пронесся над ним, сделал круг над дорогой и, шумно хлопая крыльями, снова уселся на прежнее место.

— ...придется отложить этот разговор до следующего раза.

В читальном зале было людно. Настолько людно, что негде было упасть ореху, не говоря уже о яблоке. Наступала отрезвляющая душу пора. Наступала сессия. Среди многочисленных бантов, среди всевозможных начесов и завитков Леон едва разглядел Валькины каштановые кудри. Валька был неутомим. Вокруг него образовался настоящий книжный завал. В беспорядке лежали шесть томов Дарвина, «Индийская философия», биография Эйнштейна, «Мертвые души» Гоголя, кипа журналов и «Пионерская правда». Сам Валька преспокойно грыз семечки и сплевывал в пустую чернильницу. Вопросы философии разбудили в нем живой интерес к естествознанию. Инстинктивно он почувствовал, что начинать надо с Дарвина, но один эрудированный юноша в разговоре с ним проговорился о буддизме. Так как Будда жил гораздо раньше Дарвина, Валька решил несколько видоизменить свои первоначальные планы. Если бы не Эйнштейн, он так бы и поступил, но жизнь гениального физика породила в нем новую бурю неясных предчувствий. Теория относительности открывала поистине грандиозные возможности. Законы можно было рассматривать как в прямом, так и в переносном смысле. Такая теория вполне устраивала Вальку. Об экзаменах он как-то не думал. Вернее, он помнил о них, но старался пока не разбрасываться. Увидев Леона, он потеснился и насел на него с расспросами. Леон рассказал о пропавшем рисунке.

— Как ты думаешь, кто вырезал этот паршивый шарж?— спросил он.

Валька пожал плечами, задумчиво полистал биографию великого человека и, немного подумав, предложил найти Клюева. Поклонник острова свободы сидел в зале научных работников. Там он спасался от Кольчугина. Узнав, в чем дело, Клюев свирепо схватился за бороду.

— Это он! Больше некому! Старик, ты не волнуйся...

Клюев торопился к «старухе-немке» и поэтому толком от него ничего нельзя было добиться. Бормоча проклятия, он собрал книги

и, сумрачно махнув рукой, пошел сдавать свой «каторжный труд», от которого голова гудит, как пивной котел.

Юрина трубка наполняла редакцию голубым ароматным дымом.

— Накурено у тебя, черт знает как,— раздраженно сказал Цветухин.

Юра Войнарович раздвинул сухие ноги и лениво посмотрел на собеседника.

— Все, что ты сказал о Болотникове, чушь,— проговорил он. Его мягкий профиль затонул в ароматном облаке.

— В комитете тоже не иванушки собрались,— отозвался Цветухин.

— И все уверены, что это сделал Болотников?

— Да хоть не все, но большинство...

Юра подобрал под себя ноги, еще раз пробежал глазами Цветухинскую заметку и вычеркнул из последнего предложения лишнюю запятую.

— От выговора еще никто не умирал,— задумчиво произнес он,— но Левченко еще не факт... и напрасно ты с этим торопишься...

— Не я, а бюро. Оно ведь вынесло решение...

— По твоему настоянию?

Цветухин холодно взглянул на Юру и, убрав локоть со стола, осторожно стряхнул с него приставший лепесток бумаги.

— Не понимаю, чем тебе дорог этот Болотников? Мутит воду... вечно попадает в какую-нибудь историю...

Юра нахмурил брови и выколотил трубку о подоконник. Его рука потянулась к жестяной банке из-под абрикосов, где он держал табак.

— И как у тебя легкие не лопаются с него?

— Организм нуждается в никотине... своего рода стимулятор,— растирая между пальцами янтарные волокна, пояснил Юра. — Кстати, как у тебя с аспирантурой?

— Говорят, возьмут.

— Без рабочего стажа?

— Я общественник. Четыре года ярмо на плечах...

— Резонно,— задумчиво чиркая спичкой, заметил Юра.— Работаешь ты давно...

Оба помолчали. Цветухин потянулся за старой подшивкой, полистал ее и, зевнув, поднялся с места.

— Пойду. Заметку я все же оставлю.

Юра молча кивнул головой. Проводив гостя, он остановился около стола и, немного подумав, открыл шкаф. В самом нижнем отсеке лежали старые очерки, неиспользованные фотоэтюды и очень много такого, что никак не годилось в газету. Юра взял заметку Цветухина и присоединил ее к общей груде.

12

Вовик Травлинский когда-то воровал для Алки крыжовник в соседней усадьбе и качался с ней на качелях. В шестом классе они поссорились из-за того, что он стал курить. Вовик научился важничать. Его отец был археологом. На воспитание сына у способного ученого не хватало времени, а когда стало ясно, что воспитывать все-таки надо, было уже поздно: Вовик из милого сластены и льстеца превратился в непреклонного придурка. В девятом классе он потихоньку стал попивать и тайно рисовал в своем альбоме женщин в неглиже. Учились они с Алкой в разных школах. Встречаясь с ней, юный баловень судьбы развязно улыбался, волочил ноги и щурил апельсиновые веки. После школы Вовик поступил в институт. Для него это явилось большим сюрпризом, и он так и не смог уяснить себе, как же это случилось... знала мама, но острой нужды в откровенных беседах она никогда не испытывала. Студенческая жизнь захватила Вовика. Появилась масса друзей, стало неудобно кутить на квартирах. Пора было выходить на простор: так сказать, «напиться шеломом из Дона, поломать копье о конец поля половецкого». — И Вовик пил... он даже ломал бокалы в ресторанах и красной лисицей заметал свои следы, а если и случались неувязки — каялся, покуда не прощали. Находилось время и для анонимных писем, для чего была конфискована у отца пишущая машинка. Это было своего рода развлечение. Вовик забавлялся. На Алку он поглядывал не без трепета, но его удерживало близкое соседство и воспоминание о крыжовнике; только когда один из его приятелей рассказал о некоем архитекторе, имеющем кое-какое отношение к девочке из особняка, ему стало ясно, с какого конца нужно закидывать сети. В первую очередь нужно было убрать юношу из университета, который слонялся около белой стены. Вовик тут же навел о нем справки и, узнав, что его соперник живет в общежитии, отправил ему письмо. Оставалось самое главное — открыть свои козыри мисс «архитекторше». Алку он встретил в один из морозных вечеров. Слушала она его не без внимания, и Вовик, окаменев, поторопился высказать свою точку зрения на взаимоотношения полов. Алка сказала ему, что

интеллектуально он значительно вырос за последнее время и посоветовала оставить ее в покое. Тогда Вовик намекнул ей о тех далеких днях, когда она была гораздо общительней и не чуждалась веселых компаний. Она напрямик спросила, что собственно имеет он в виду? Вовик смутился. Торопиться не следовало. Он переменил тему, лишний раз убедившись в том, что без боя города не сдаются. Началась осада. Встречая Алку, Вовик неустанно твердил ей о возможностях, которые она упускает и вольтижировал как мог. Игра, однако ж, затягивалась. Мешал все тот же юноша, не посчитавшийся с письмом. После долгих раздумий Вовик решил использовать самый последний козырь (найти одного из друзей архитектора для очной ставки с упрямой «мисс») и разрубить гордиев узел одним ударом. Случай вскоре представился. Вовик нашел приятеля архитектора — и они договорились... Голубоглазый Казимир с волосами цвета опавшей хвои и выщербленными щеками (он учился на химическом факультете) играл роль послуха. Он-то и оповестил Вовика о предстоящем вечере.

Ливердо уговорила Алку пойти вдвоем. Перед концертом строптивую Олю увел куда-то смуглый геолог, а когда Риман попятился за кулисы и в зале вспыхнул свет, к Алке подошел голубоглазый юноша. Он сказал ей, что на улице ее ждет один старый знакомый. Алка почему-то сразу подумала о Трунове и спросила, как зовут этого человека? Юноша потупился и, запинаясь, пояснил, что об этом она узнает сама и что выйти ей необходимо сейчас же. Это уж было слишком. Когда появилась Ливердо, Алка холодно пояснила юноше, что гостей она принимает на дому, а сейчас выходить никуда не собирается.

— Ты знаешь этого урода? — спросила Ливердо.

Алка пожала плечами.

— О чем он с тобой говорил?

— Вызывал вниз.

— Это Казимир с химического. Первый подонок на факультете. Его уже однажды чуть не выгнали...

Что Ливердо говорила дальше, Алка не слышала. Она увидела Леона и пошла к нему. В последнее время ей трудно стало встречаться с Леоном. Причин было много, пожалуй, слишком много. Они тяготили Алку, и хотя она никогда не давала повода для серьезной любви, повод все равно напрашивался. Старые звезды меркли. Их невозможно было разжечь — и не хотелось. В тот вечер Алка решила ни о чем больше не думать и сама пригласила Леона потанцевать. Он отказался. Пришлось пойти сначала с Олей, успевшей отвязаться от своего геолога, а потом с кем придется. В конце концов партнеры ей опротивели и она пошла искать Леона. Разговора опять не получилось. Негодуя на себя и на весь этот вечер, Алка оделась и направилась домой. Она не прошла и пятидесяти метров, как из-за дерева выступила человеческая фигура. Это был Вовик. Он загородил ей дорогу и, поеживаясь от холода, осведомился, не соскучилась ли она по приятному обществу? Алка хотела обойти его, но от стены отделилась вторая фигура. В тусклом свете фонаря обозначились знакомые скулы с крапинками.

— Что тебе нужно? — спросила Алка.

Вовик насмешливо расшаркался и сокрушенно вздохнул.

— Ты совсем стала ангелом. К тебе нельзя подступиться. Ты даже забыла недавних друзей... ходишь с развитыми мальчиками.— Вовик лицемерно потупился и надвинул на глаза козырек белого кепи.— Не мешало бы вспомнить о тех, с кем ты ела когда-то крыжовник.

— Как ты растрогался,— прервала его Алка.

Вовик обиженно засопел. От него потянуло коньяком. Он вдруг вскинул голову и глухо спросил:

— А Женю ты тоже не помнишь? Женю-архитектора?

Алка слегка растерялась. Она никак не думала, что Вовик может знать о Трунове. Правда, он и раньше намекал на какие-то компании, но компании были разные: их класс чуть ли не в полном составе уезжал иногда по воскресеньям за город.

— Здравствуйте, Алиса!

Алка вздрогнула, обернулась и увидела перед собой того бородача, который кутил с Труновым и нянчил на коленях красивую девочку.

— Не узнаете? А я вас решил пригласить в гости, Алиса.— Бородач гостеприимно распростер левую руку, предлагая занять место в затененном двумя тополями такси.

— Я никуда не поеду,— тихо сказала Алка.

Делая вид, что он не расслышал, бородач шагнул с тротуара и распахнул дверцу.

— Мерседес,— восхищенно заметил Вовик.— Прокатиться — просто прелесть... Мама ничего не узнает и молодой человек... кажется, Леон...

Вовик не успел отклониться. Белая Алкина перчатка на миг запечатлелась на его щеке. Он вскрикнул.

— Ты!.. Спиртом будешь давиться сегодня... Казимир!

Алка отчаянно стала отбиваться и в это время гулкое эхо подошв раскатилось по всему переулку. Бежал Леон.

На следующий день Алка получила записку. В ней обстоятельно говорилось о том, что бывает с людьми, которые не умеют держать язык за зубами. В тот же день под руководством Куркова был создан трибунал, куда вошли: он сам, Хлебников Валентин, Коля Столетов и Клюев. Леон тоже выставил свою кандидатуру, но ее отклонили по чисто гуманным соображениям: лица, причастные к составу преступления, пусть даже пострадавшие, не имели права судить.

— Беспристрастность — прежде всего,— заявил новый председатель и ударил эмалированной кружкой по столу.

С химиком разговор состоялся в одной из аудиторий (ее, разумеется, пришлось запереть на стул, чтобы не мешали любопытные). За пятнадцать минут тонкие пряди цвета опавшей хвои взмокли несколько раз, а голубые глаза увлажнились трижды. Из показаний подсудимого явствовало, что кастетом орудовал Вовик, а записку составил тот, бородатый — не то таксист, не то инструктор... Процесс пришлось прекратить, потому что в аудиторию ломилась уборщица. Похлопывая ладонью по тощей вые преступника, Коля советовал ему изменить образ жизни. Химика пошатывало.

Вовика накрыли в тот момент, когда он выходил из института. Его подхватили под руки и понесли через дорогу, где начинался старый парк. Громко смеясь и обмениваясь любезными репликами, веселая процессия с упирающимся Вовиком пересекла улицу и скрылась за деревьями. Все это походило на невинную клоунаду и никого особенно не встревожило. В роли Арлекина выступал Валька. Клюев разыгрывал из себя старого дядюшку и остальные удерживали трепетную жертву от безрассудных попыток к бегству. Умыкание продолжалось до тех пор, пока впереди не показался обрывистый берег котлована, откуда экскаватор черпал гравий. Узкая перемычка отделяла котлован от реки. Смех оборвался. Вовика поставили спиной к обрыву и отпустили.

— Товарищи судьи, перед вами обвиняемый № 2!— начал Курков.

— Сначала набьем морду,— не слушая его, рассудил Коля.

— Сначала надо изъять,— решительно сказал Валька.— Изъять вообще и в частности. Пусть отдаст кастет и паспорт.

Облизав ссохшиеся губы, Вовик затравленно посмотрел по сторонам. Место было глухое. Плотной стеной стояли деревья. За ними виднелась аллея. По левую сторону, метрах в ста, начиналась недостроенная набережная, но там никого не было.

— У него трясутся коленки,— заметил Клюев.

Вовик и сам это почувствовал. Такого унижения ему еще не приходилось испытывать. «Я не боюсь»,— несколько раз повторил он про себя и неожиданно отставил ногу. Рука его легла на бедро.

— В чем дело, парни? Вам нужны мои гроши?

— Он что-то начинает портиться,— проворчал Коля и сделал шаг к обвиняемому.

Вовик судорожно дернулся всем телом и попытался ожесточить себя. Глаза его стали выкатываться. Истерично взвыв, он выхватил из кармана изящный, покрытый латунью кастет и бросился на Колю. Мысленно он уже петлял между стволами и скамейками, уходя от своих преследователей, но случилось нечто непонятное: его лицо зарылось в мокрый песок, перемешанный с галькой, а кастет и белое кепи подобно душе отлетели от тела. Вовик схватился за голову, ограждая ее от ударов, и проворно подтянул под себя ноги. Однако бить его не торопились. Валька, подставивший беглецу подножку, спокойно подобрал кастет и носком ботинка потрепал Вовика по ягодице. Вовик вздрогнул и повернул осунувшееся от потрясения лицо к своему палачу.

— Паспорт,— напомнил Валька.

Слегка раздосадованный Коля приподнял Вовика за ворот и встряхнул. Вовик зажмурился. Моральный дух его был сломлен окончательно. Он безропотно признался в совершенном им преступлении и отдал паспорт.

— Мы лишаем тебя права гражданства,— сказал Курков.

— Я скоро его сменю,— пролепетал Вовик.

— Гражданство?

— Паспорт.

— Давайте утопим эту мышь!— предложил Клюев. Коля подошел к обрыву и посмотрел вниз.

— Выплывет,— усомнился он.

— Что я вам сделал, ребята?

— ...привяжем на шею камень... можно использовать брючный ремень.

Вовик не выдержал. С камнем на шее утонуть было проще всего. Ему вдруг страстно захотелось скатиться вниз по обрыву. Там можно было добежать до перемычки и перебраться на ту сторону берега. Он пополз. Из его бессвязных причитаний можно было понять одно: он сам готов утопиться на глазах у всех, сейчас у него начнется припадок и он утопится...

— Не стоит засорять водоем,— сказал Коля и, не прибегая к рукам, вернул самоубийцу на место. С этим афоризмом согласились все. Вальку неожиданно осенила мысль:

— Его надо сделать моржом. Окунуть в воду и смотреть на часы. Если за десять минут не простудится — морж из него выйдет.

Вовика дружно подхватили с земли и потащили за перемычку, где уже начиналось течение и вода была не теплее жидкого гелия. Запах водорослей и неторопливый плеск воды напомнили Вовику об одном из его недостатков: он не умел плавать. Его уже раскачивали в целых восемь рук, когда он вспомнил об этом. Глухой вопль вырвался из его груди, но тут же прервался — началось погружение. Оно сопровождалось сильным всплеском, а затем барахтаньем. Воды оказалось по колено. Леденящий озноб охватил Вовика. Заломило суставы. Клюев, поигрывая булыжником, стоял возле Вальки, который держал перед собой часы и хладнокровно следил за секундной стрелкой.

— Минуту назад ты был варваром,— просветлял Вовика Курков.— Сейчас мы тебя окунули. По старому христианскому обычаю...

— Пустите меня на берег...

— ...теперь ты станешь человеком или навсегда останешься подонком.

— Лучше бейте!— не выдержал Вовик и шагнул к берегу. Клюев угрожающе подбросил булыжник. Брови его сомкнулись.

— Еще три минуты,— оповестил Валька.

Курков закурил папиросу и залюбовался розовым облаком. Оставалось не больше минуты, когда Вовик всей грудью повалился в воду и, стуча зубами, пополз к берегу.

— Все!— сказал Коля. Он усадил жалкую, трясущуюся фигуру на бревно и выпрямился.— Имей в виду, мы тебя даже не били...

— А зря,— проворчал Клюев.

— ...теперь ты посиди здесь один и подумай о жизни. Мы уходим.

Вокруг не было ни души. В это время года разве что скучающим туристам взбредет в голову месить грязь на залитых водой аллеях, тем более спускаться к берегу. Вовик сидел на бревне и смотрел на свои разбухшие туфли. На него навалилась икота. Всхлипывая, он уткнулся в колени исцарапанным синим носом и стал походить на моллюска, выброшенного прибоем на песок.

Из окна был виден мост через реку, тянувшаяся от него набережная и целая толпа деревянных домов с мезонинами и флигельками. Но над ними уже нависли строительные краны. Медленно, но неумолимо росли кирпичные здания.

Вот так же когда-нибудь снесут и особняк с каменными воротами, где живет Алка. Рухнет стена Святого Бенедикта и не станет фонтана с мраморным лебедем. Леон представил пятидесятиметровые башенные краны, нависшие над руинами особняка, и провел по стеклу вертикальную линию.

После того памятного вечера (в ушах до сих пор еще осыпался песок) Алка почему-то глядела на него виноватыми глазами и старалась не сталкиваться с ним после лекций. За два дня Леон возненавидел Ливердо. Она не отлучалась от Алки даже на улице. О Вовике Травлинском и юноше с химического Алка предпочла рассказать Куркову. Уже это одно заставляло кое о чем задуматься. На третий день наступила оттепель: Алка сама подошла к нему и попросила проводить ее до переулка. Разговор получался какой-то вялый, Леон все больше смотрел себе под ноги, и только когда они дошли до ворот, Алка решительно повернулась к нему лицом.

— Нам не надо больше встречаться, Леон,— сказала она.— Так будет лучше. Только ни о чем меня не спрашивай... я перед тобой виновата... Думай, как знаешь, обо мне, но встречаться мы больше не будем...

Странное лицо было у Алки: губы подрагивали, а зрачки посветлели, стали, как лунный камень... Он все же спросил, почему им не надо встречаться.

— Так будет лучше,— ответила она.

13

Всегда в точности известно, когда наступит новое столетие. К нему готовятся. Его ждут. Календари, хронометры, астрономические справочники — все это до сотой секунды может предсказать наступление нового столетия. Совсем другое дело — эра. Ее не найдешь и не предскажешь — она застает врасплох.

...Город затаил дыхание, город не гремел бокалами и не осыпал себя цветами, он просто молчал и слушал голос Москвы. Водители останавливали автобусы. На перекрестке двух самых людных улиц скопились толпы людей — все глядели в оловянное горло репродуктора, укрепленное над верхним окном поликлиники.

Леона притиснули к двери, которую безуспешно пытались открыть изнутри. Вдоль притихших улиц, вдоль массивных карнизов и стриженых тополей перекатывался маршальский голос диктора.

— Сообщение ТАСС... 12 апреля 1961 года в Советском Союзе осуществлен запуск...

Леон почувствовал сильный удар в плечо: дверь поликлиники все-таки распахнулась. Решительно работая локтями, из нее вывалился толстяк с перевязанным глазом и тут же обрушился с расспросами:

— Война? Я вас спрашиваю, гражданин?..

Толстяку посоветовали заткнуться.

— ...космический корабль-спутник «Восток»...

— Что ж тут особого... Я сидел у врача...

— ...летчик-космонавт майор Юрий Алексеевич Гагарин...

— А?

Улица оцепенела. Потом она заговорила. Потом она смешалась и стала таять.

Леон бежал. Нужно было успеть. Ослепительно сияли рельсы, расплываясь на повороте в большую неуклюжую улыбку. Сердце просило пощады, стучало, но он бежал... Только у входа перевел дыхание... Торопился зря: общежитие ликовало. Радио было в каждой комнате. Рывком распахнул дверь. Валька тряс репродуктор. Курков стучал кулаком по розетке. Леон заревел ура! и, навалившись на Вальку, отодрал его за уши. В коридоре топали ногами, кричали. Заглянула в дверь Железная Зинаида. Потом с тренировки вернулся Коля Столетов. Он тайфуном пронесся через все этажи, едва не проломив лестницу. Ему очень хотелось застать всех врасплох и убить наповал потрясающей новостью. Коля совсем забыл об открытии Попова. Доломав репродуктор, он проклял Пашу и, выкатив глаза на Леона, неожиданно заговорил о стихах.

— Что вы стоите? Человек летает у самых звезд, а вы стоите! Державин на вашем бы месте написал уже целую оду.

— Разве ж вы дадите,— раздосадованно сказал Валька.

— Да пишите на здоровье! Никто вам не мешает. Мы уходим. Садитесь и пишите.

Леон изобразил руками семафор и замер у выхода.

— Валяйте!— одобрил Курков.— Мы пойдем обедать, а вы валяйте. Такая уж у вас работа.

Юра метался по университету. Трубка торчала у него изо рта. Пожалуй, впервые он забыл набить ее табаком. Юра бессмысленно улыбался, жал всем руки и поправлял сползающие на глаза волосы. Новость уже облетела все здание. У декана историко-филологического факультета было такое выражение лица, словно он-то и строил ракету для Гагарина. «Кто думал?— размышлял Юра.— Мечтали, разумеется. Лет через десять-пятнадцать никто бы и не удивился, а тут вдруг раз — и в дамках».

На верхней площадке говорили о параметрах, кто-то упомянул в разговоре слово «эклиптика». Юра вспомнил, что надо срочно собирать полосу, и отправился искать корифеев. Они были нужны. В одной из аудиторий проходил митинг. Говорили все сразу, но это не имело никакого значения. Корифеев нигде не было, словно они провалились сквозь землю. «Предатели,— думал Юра,— низкие честолюбцы!» В конце концов он рассвирепел и решил сам сесть за стихи.

Валька почему-то был уверен, что Гагарин, покрутившись над землей, махнет на Луну и сбросит на нее вымпел. Возможно, дело дойдет и до посадки. Пора было покончить с безнадзорным плането-спутником и учредить над ним контроль. Валька представил себя рядом с Гагариным. Майор уже покинул свое кресло, его скафандр полыхает мертвенным пламенем. Пора.

...и за ним,
угловато
люк раздвинув тугой,
на пустынное плато
я ступаю ногой.

Валька отбросил карандаш и покосился на Болотникова.

Леон думал о прометеях. Похищение огня продолжалось. Огня становилось все больше — и прометеев тоже.

Пусть о любви твердят, о пище нам,
Пусть гроздья алые горят....
А мне о солнце непохищенном
Костры ночные говорят.

В коридоре снова поднялся вой, захлопали двери.

— ...млился!.. сел!..

Леон бросился к двери.

— Приземлился! — ворвался в комнату восторженный вопль Паши Чикина.

Писать стихи оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Юра мрачно чертил на бумаге силуэты космических кораблей и подыскивал рифмы. Гагарин и гагара. Орбита — арбитра. Пожалуй, на гагару стоило обратить внимание. Птица — тоже летательный аппарат: как-никак, а крыльями машет. «Здесь летим и там летим,— думал Юра, сознавая свое полное бессилие перед ямбами и (как их там?) амфибрахиями.— Корифеи! Вы злодеи,— неожиданно сказал он.— Бездарные рифмоплеты, чистоплюи и графоманы. Вы эгоисты и одиночки...»

Раздались шаги. Дверь распахнулась. Юра поднял голову. На пороге стояли «чистоплюи и графоманы». Их было трое. Юра поднялся из-за стола. Рука его тихо подминала исчерканный лист, морщины на лбу мягко опадали.

— Где ж вы были, парни? — начал он.— Искал вас чуть ли не час. Из-за вас связался с гагарами...

— Мы принесли тебе, Юра, стихи,— сказал Болотников.— Вот Клюева по дороге встретили...

— Трепачи,— сказал Клюев,— это я вас встретил.

— Не имеет значения,— перебил Юра.— Я поставлю вас в один ряд. Давайте ваши рукописи.

Первым протянул свой листок Валька, за ним Леон. Клюев покосился на их худосочные тетрадные клочки и достал из папки чуть ли не пергамент. Качество бумаги Юру не интересовало. Разложив стихи перед собой, он навалился грудью на стол и стал походить на добродушного пса, которому попала в зубы большая сочная кость: разгрызать ее — одно удовольствие, а глотать — и подавно.

— А где, интересно, Кольчугин? — спросил Леон.

Клюев ухмыльнулся в бороду.

— Ему стало трудно жить.

— Не хватает на макароны? — полюбопытствовал Валька.

— Вот здесь у него не хватает.— Клюев постучал пальцами по голове.

— Ты что-то говоришь загадками,— заметил Леон.

— Какие там загадки. Рисунок-то вырезал он.

Юра повернул голову.

— Недурно,— похвалил он.— Болотникову персонально.— Его глаза остановились на Клюеве.

— Ты что-то сказал о Кольчугине?

— Это мы между собой.

— Сплетничаете? Ну, дуйте дальше.— Юра подвинул к себе макет и стал насвистывать. Он великолепно слышал весь разговор и теперь не без иронии поглядывал на шкаф, где лежала цветухинская заметка. «Ребята разберутся сами,— думал он,— наше дело — вовремя прибрать...»

— А здорово? — повернулся он к корифеям.— Новая эра. Человек обретает небо.

— Отметить надо,— заорал вдруг Клюев.

— Без возбуждающих средств,— заметил Юра.— Только табак в виде исключения.

Он набил трубку и тихо засмеялся.

14

Первое мая. Ради такого праздника Коля снял со стены плакат с клещами. Общежитие ходило ходуном. Кухня кишела сковородами, благоухала котлетами и супами. Дудел, хрипел, кидался кипятком титан, подкашивались ноги от великой суеты и нетерпения. В комнатах губили вилки, выкапывая ими пробки из бутылок, занимали друг у друга тарелки, резали рыбу, визжали застигнутые врасплох девушки, приседая в комбинациях («Нельзя!»). После демонстрации всем хотелось поскорее приступить к делу. В пять вечера охрипшая радиола возвестила о начале ассамблеи. За столами еще не галдели, но говорили довольно громко. Разом всплыли все нерешенные человечеством проблемы — и ради этого истреблялось несметное количество папирос, собирались дополнительные взносы на вино. Не обошлось, разумеется, и без традиционных песен. Если на первом этаже исполняли Али-Бабу, то на втором пели о кузнечике, прыгающем коленками назад.

Двадцать четвертую в полном составе пригласили в комнату, где жили сестры Гавричковы и Железная Зинаида. Леону великодушно намекнули, что он может присутствовать не один. Его слегка задела такая предусмотрительность. С Алкой заявляться в общежитие он и не думал. Да если бы и захотел, она бы все равно не пошла. Алка молчала. Опускала голову и проходила мимо — и Гавричкова старшая, сердечно намекнувшая ему на двойное представительство в их милой компании, видела это и не хуже других. Леон хотел отказаться, но сидеть в пустой комнате одному — что может быть глупее, когда вокруг пьют и пляшут?

В гости пошли все, за исключением старосты. Коля торопился к двоюродной сестре и еще с вечера принялся утюжить костюм, потратив на это не менее четырех часов. Двадцать четвертую встретили обворожительными улыбками и ласковыми кивками. Валька в этот день после двух стаканов вина окончательно понял, что в глубинах Вселенной существует мыслящая галактика, о чем и поведал Гавричковой младшей, неприметно обвив левой рукой ее пленительную талию. Курков пнул его под столом в колено, но Валька не пожелал этого заметить. В коридоре уже глумились над полами. Пришли из соседней комнаты и предложили объединиться для большого хора. Все смешалось. Леон, воспользовавшись общей суматохой, выбрался из-за стола. Захотелось пройтись куда-нибудь к набережной или просто побродить. Он накинул на себя плащ и отправился вниз.

...Город посвечивал вечерними крышами, шелестел полотнищами; где-то старательно ревели про омулевую бочку и баргузин, развязно перекликались баяны, а на тротуарах, на пыльном асфальте лежали клочья нежно-розовой и голубой резины, валялись бумажные цветы и обертки от мороженого. Трамваи, увешанные фанерными колосьями, грузно подползали к остановкам. Леон миновал несколько улиц и неожиданно вышел к знакомому переулку. Можно было повернуть назад или пройти мимо. Он свернул. Прошелся вдоль стены и остановился напротив ворот. Помедлив, вошел во двор. Черный кот метнулся мимо него из подъезда и пропал за углом. Лестница уныло заскрипела под ногами, словно ее не вовремя разбудили, и теперь вот она должна терпеть, пока человек взберется по ее ссохшимся позвонкам наверх.

Леон протянул руку к звонку, задержал дыхание и прислушался. Играла музыка. Он нажал на белую кнопку. По-прежнему — музыка. Еще раз нажал. Еще. Послышались шаги. Открылась соседняя дверь и показалась голова.

— Их нет, молодой человек. Со вчерашнего вечера нет...

Женщина хотела что-то добавить, но брезгливо втянув в себя воздух, замолчала. Маленькие глазки, как два забившихся под переносицу фокстерьера, настороженно следили за ним.

— У вас убежало кофе, — собираясь уходить, заметил он.

Дверь немедленно захлопнулась.

Во дворе он оглянулся на окна, поднял воротник плаща и, проходя мимо яблонь, ощутил тонкий, едва различимый запах цветения. Яблони совсем недавно распустили клейкие листья, но уже начинали благоухать, силясь разорвать тугие бутоны будущих лепестков. В темноте Леон еще долго бродил вдоль «стены Святого Бенедикта». Тополя, похожие на косматых летописцев, дремотно склонялись к досчатому тротуару. Во всем их облике было что-то таинственное и печальное. Зимой, когда теплые хлопья снега как бы невзначай срывались с ветвей, казалось, что это гусиные перья, выскользнувшие из пальцев заснувших старцев. Леон дважды прошел переулок из конца в конец и только кое-где услышал людскую речь.

Он еще раз повернул к молчаливой громаде каменных ворот и, поровнявшись со стеной, увидел впереди себя женскую фигуру. Фонарь над входом почему-то не горел. В темноте смутно угадывались очертания белого платья. Леон остановился, потом бросился к воротам, но никого уже не было. Фигура словно растворилась... Он не мог ошибиться: из ворот выходила Алка. Непонятно было одно — почему он не слышал шагов? Дорожка до особняка вымощена камнем.

«Тайна севильских ночей,— подумал Леон,— не хватает только кинжалов и серенад. Под плащом молодого инфанта веревочная лестница и гитара с бантами». Леон приложил ладони к кирпичной кладке и, уткнувшись в них, прошептал Алкино имя. Старинные своды откликнулись. Они тяжело и гулко вздохнули, выпустили наружу чахлое эхо и оно, так и не достигнув особняка, надломилось где-то по дороге. Испании не получилось.

Шелковые петли
К окошку привесь...
Что медлишь? Уж нет ли
Соперника здесь?

Леон хотел посидеть у фонтана с расколотой чашей и лебедем, но раздумал. Пора было возвращаться.

У входа в общежитие он столкнулся с Кольчугиным. Автора фестивальных песен слегка пошатывало. Из кармана пальто свисал шарф, который одним концом волочился по земле.

— Ты меня презираешь?— спросил Кольчугин.— А я приходил к тебе. Клюев — свинья. Таланта ни на грош... Одна борода... А ты пострадал. Завтра я пойду к шаху, к толстому Цветухину...

Кольчугин сделал ногами восьмерку и прислонился к стене. Голова на тонкой шее дернулась.

— ...молчишь! Значит, надо. Я хотел, как лучше... Я же за всех.— Кольчугин всхлипнул.

— Иди домой,— сказал Леон.

Кольчугин вытер рукавом слезы, бормоча о том, что он никогда не был свиньей и поэтому сию же минуту отправится прямо на квартиру к секретарю, чтобы рассказать всю правду, и попросил Леона стукнуть его по лицу. Его развезло окончательно.

— Поднимемся к нам. Переспишь,— предложил Леон, но Кольчугин, хитро подняв палец, неожиданно оживился и заплетающимся языком поведал, как он умно расправился с рисунком. До конца Леон выслушивать не стал. Пьяного в стельку поэта пришлось затащить в умывальник и сунуть головой в раковину. Холодная вода исцелила Кольчугина. Он выкатил глаза, заговорил о менингите и заявил, что пойдет спать. Валька с Курковым сидели в комнате и пили чай. Появление Кольчугина они встретили довольно равнодушно.

— Пусть ложится на Колину кровать,— сказал Курков.

— Не сердитесь, ребята,— пролепетал поклонник Игоря Северянина, падая в подушку мокрой головой.

В коридоре продолжались танцы. Радиолу успели уже сломать и теперь где-то раздобыли аккордеон.

— Когда только люди натопчутся,— прислушиваясь к шуму, сказал Леон. Он взялся за чайник, но остановился: в комнату ввалился Коля Столетов. Держался он прямо, как бронзовая фигура, нечаянно сошедшая с постамента. Спящего Кольчугина Коля не заметил. Подойдя к своей кровати, он удивленно уставился в стену и спросил, куда девались клещи.

— Ушли в тайгу,— ответил Леон.

— Я имею в виду плакат. Что это вы разулыбались?

— Плакат клещи унесли с собой.

— С вами трудно разговаривать,— едва сдерживая себя, проговорил Коля.— Постараюсь подыскать себе другую комнату, живите без меня, если не умеете ценить...— Коля махнул рукой и только теперь обратил внимание на Кольчугина. С минуту он разглядывал его лицо.

— Абсолютно невменяем,— шепнул Курков.

— Вспомнил,— неожиданно сказал Коля.— Я же их снял.

Он осторожно присел на край кровати и стал разуваться.

В коридоре все еще не смолкало веселье. Аккордеонист, перевирая мелодии, трудился из последних сил и выдохся только в четвертом часу.

И только тогда Леон стал засыпать.

Переодеваться не хотелось. Платье все равно помялось, и теперь можно было скинуть туфли, чтобы поудобнее улечься на кушетке. Алка хотела приподняться, но раздумала. Только повернулась на бок. «Старый кот»,— подумала она. Ей снова представилось лицо отчима: робкое, почти умоляющее и похотливое. Она натягивала чулки и забыла прикрыть дверь. Отчим появился неслышно. Одной рукой он сжимал подтяжки, другой теребил отпущенную месяц назад кардинальскую бородку. Алка вспыхнула. Дверь захлопнулась перед самым носом зазевавшегося отчима.

Он торопливо удалился на кухню, бормоча извинения и покашливая. «Тихий козел с брюшком и бородкой»,— негодовала Алка. Он любовался ее ногами. Мать не зря стала увлекаться массажем. Видимо, сказывались годы. Отчим любил красивых женщин. Слабость, свойственная многим.

Алка взглянула на репродукцию. Малахитовые глаза Пана светились тоской. В последнее время лесной бог стал раздражать ее. Иногда она явственно видела, что это уже не бог, а кто-то другой.

Алка отвернулась. Мать с отчимом давно уже сидели в гостях. Она идти отказалась. В особняке было тихо. Смеркалось. Окно постепенно затягивалось синькой. Она задремала... Трунов пошевелил густыми бровями и отбросил от себя свирель. Потом он зевнул. Косматые ноги его бесстыдно напряглись, а руки, сделав неопределенное движение вокруг тела, обросшего густой бычьей шерстью, потянулись к Алке.

— Уходи!— сказала она.

Малахитовые зрачки обольстительно сверкнули. Алкой овладело отвращение. Фиолетовые пальцы с жемчужными ногтями нависли над ней.

— Уходи!— повторила Алка и открыла глаза. Нащупав туфли, она поднялась и, подойдя к репродукции, сорвала ее со стены. Смятый лист упал на пол. Алка сходила за спичками, присела к репродукции и подожгла ее. Розовые лепестки потянулись к платью, но она отодвинулась. Когда пламя осело, Алка собрала пепел и выбросила его в форточку. Взгляд ее упал на проигрыватель. В груде пластинок она отыскала одну, положила на диск, выключила свет и бросилась

на кушетку. Чайковский оказался как нельзя кстати.

По осеннему лесу бродил Леон и кого-то искал. На далеком острове горел костер. Можно было вдвоем переплыть реку и все выяснить. Только выяснить надо сразу, а этого ей не хотелось. Леон все равно не простит. Он слишком далек от этой грязи, в которой она добровольно выкупалась сама. Алка усмехнулась темноте и вспомнила снежную бабу, стоявшую как раз подле фонтана. Вместо носа у нее торчала морковка, а большие пуговичные глаза смотрели на мир с глупым простодушием. Кто-то надел на бабу ведро из-под извести. Алка каждый день проходила мимо нее и даже раза два поправляла морковку. Когда стало пригревать солнце, баба начала таять. И однажды, вернувшись с лекций, Алка увидела вместо нее рыхлое месиво: голова откатилась в сторону, осевшая набок глыба совсем потемнела, а тряпичный пояс намок и свалился с обтаявшего живота. Алка долго стояла возле бабы и смотрела, как она расползается. Ей вспомнился фиолетовый роджер, который она оттирала носовым платком. Роджера больше не было, и десятиклассницы, оставшейся ночевать у красивого архитектора, тоже не было. Все это растаяло, как снежная баба, простоявшая у фонтана только до весны. Звонок вывел Алку из задумчивости. Она вздрогнула, почему-то вдруг подумала о Трунове, сердце сжалось. Она вскочила с кушетки и прокралась в переднюю. Это был Леон. Сначала говорила старая ведьма, потом что-то сказал он. Заскрипела лестница и хлопнула дверь. Алка бросилась в комнату и включила свет. Зеркало отразило ее растерянное лицо и смятую прическу. Куда-то завалился гребень. Она перерыла даже постель, но так и не нашла. Пришлось идти к матери в спальню, где, как всегда, пахло вазелином и табаком. Только причесавшись, Алка поняла, что спешить, собственно, некуда. Во двор она все же вышла. Дошла до ворот. Одинокая фигура брела по переулку. Ей почему-то и не подумалось, что это может оказаться Леон, а когда фигура была уже близко, когда она разглядела знакомый плащ и низко нахлобученную фуражку, ей стало страшно. Она добежала до старой яблони и спряталась за нее. Каменные ворота назвали ее по имени. Если бы это было раньше, Алка просто вышла бы из своего укрытия и что-нибудь сказала. Например, о говорящих камнях, которые глупеют не хуже людей. Но то было раньше. Теперь она не могла. Она любила. А было ли у нее на это право, она не знала.

15

Зачет по исторической грамматике был заранее объявлен днем факультетского траура. Накануне разразилась катастрофа: Железная Зинаида уехала на три дня к родственникам и вместе с собой увезла конспекты. Рассчитывать можно было только на учебники, однако никто на них не рассчитывал. Нужно было иметь недюжинные способности, чтобы за три дня осилить хотя бы двадцать страниц. Впрочем, это не спасало: страниц полагалось прочесть не двадцать, а двести и не просто прочесть, а разобраться в значках и символах славяно-латинского косноязычия и истинного безумия старых склонений. Зачет принимала известная всем по многочисленным легендам Полина Елизарьевна или, как ее негласно нарекли когда-то, — «полено, ты разъярено». Последним, разумеется, не злоупотребляли, но побывав за ее экзаменационным столом, оценивали по достоинству величие русского языка. Полина Елизарьевна, кроме всех добродетелей, располагала еще и гвардейской фигурой. В сочетании с низким голосом это производило неизгладимое впечатление. Даже Коля Столетов рядом с ней казался скромным подростком. Вальке однажды вместо мыслящей галактики приснилась Полина Елизарьевна. Сидя верхом на университете, она строго смотрела на него и допытывалась, что такое сигматический аорист. Зрелище было космогоническим и перепуганный Валька перед зачетом две ночи просидел в красном уголке, заучивая наизусть все подряд.

Леон чувствовал себя не очень уверенно, что можно было отнести за счет пропущенных лекций. Правда, их было не так уж много, кроме того, он добросовестно перелистал два учебника, однако перехватить у кого-нибудь конспекты хотя бы на час отнюдь не мешало. Выйдя из читального зала, Леон направился к лестнице и, поднявшись на второй этаж, заметил у окна Алку. Она стояла к нему спиной. Поколебавшись, он направился к ней. Налаживать отношения он не собирался. Достаточно с него той первомайской ночи, когда он слонялся вдоль стены. Пора было отрешиться от старых иллюзий. Ему требовались конспекты, а не любовь беглой актрисы. Леон сообщил своей походке приличествующую в данном случае небрежность. Это ему в какой-то мере удалось, но, к сожалению, осталось никем незамеченным. Алка так и не повернулась к нему. Остановившись за ее спиной, он сдержанно поздоровался. Она вздрогнула, сделала вид, что собирается при-

держать волосы, и взглянула из-под руки. Ресницы поднялись, потом упали. Дрогнули и снова взметнулись на него. Алка улыбнулась. Кажется, улыбка была не из лучших.

— Я хотел спросить у тебя одну вещь,— начал он.

Ее зрачки стали тонуть, как плоские камешки. Они скользили в немыслимую глубину и тянули за собой его. Он не выдержал.

— У тебя глаза, как два омута.

— У тебя тоже.

— Я тону, Алка...

Она отвернулась от него.

— ...мне нужны конспекты. Ты не одолжишь?

— Возьми.— Алка долго перебирала тетради, хотя их было всего только три, а он терпеливо ждал. Смотрел на ее шею, на родинку, на завиток волос у самого уха. Каким-то все было беззащитным, растерянным.

— Возьми! Потом занесешь.— Губы дрогнули.

Он уже шел по коридору, но все еще не мог отделаться ет странного чувства, словно с него содрали тяжелый скафандр и по телу разлилась непривычная легкость. Так он прошел мимо Вальки, восседавшего на подоконнике в позе Мефистофеля, миновал коридор — и только очутившись перед величественным бюстом Полины Елизарьевны он немного пришел в себя. Грозная владычица древних кириллиц и апокрифов окатила его ледяным взглядом и разрешила оставить конспекты на первом столе. Там уже лежали изъятые из рукавов и карманов листки, исписанные микроскопическим почерком, и несколько учебников, случайно оказавшихся на стульях. Леон записал продиктованные ему вопросы.

— Ливердо!— вежливым басом предупредила женщина.— Двоих я уже отпустила обедать. Могу разрешить и вам.

— Я только поправила юбку.

— Поправьте лучше стул. А вы, Карлов, можете уже отвечать. Новых чередований все равно не изобретете.— Староста нехотя вылез из-за стола и, раскачиваясь, как на шарнирах, обреченно двинулся к живой голгофе.

— Господи,— сложив на груди богатырские руки, сказала женщина,— идете, словно вас на электрический стул посылают. Что будет с вами через год?

Карлов удрученно махнул рукой и, спохватившись, стал откашливаться. Из полуоткрытых дверей за старостой следило несколько пар глаз.

— Ну, так что произошло с носовыми юсами в русском языке и какова их история?— осведомилась Полина Елизарьевна. Голова в тяжелой короне волос потупилась и кончик подбородка погрузился в нечто розовое.

Карлов сбивчиво начал свой утомительный рассказ.

— Так. Недурно. Что же было потом, когда стали выпадать еры?

Воцарилось малопродуктивное молчание. Карлов нервно просматривал свои записи. Нить Ариадны ускользала из рук. Железная Зинаида, позабыв об осторожности, разевала рот, водила в воздухе пальцами и всячески пыталась объяснить, куда девались юсы.

— Закройте дверь, — не оборачиваясь, сказала Полина Елизарьевна. Ее внимание внезапно переключилось на Ливердо.

— Что это у вас там под рукой, милая моя?

Ливердо потупилась и объяснила, что ничего особенного под рукой у нее нет.

— Пересядьте ко мне поближе,— попросила неумолимая женщина и снова обратилась к отвечающему.

— Так что же все-таки случилось с юсами?

— Они исчезли,— угасающим голосом объяснил староста.

— Популярно, Карлов. Ничего не скажешь. А что такое эппентетикум? Вы не объясните?

Трагедия подходила к концу. Вспомнить о каком-то эппентетикуме можно было в спокойной обстановке, но сейчас об этом бесполезно было и думать. Наступила летаргия ума. В таком состоянии люди забывают даже фамилии ближних и недоумевают над словом «паровоз». Карлов с грустью проследил за тем, как авторучка с вечным золотым пером клюнула в ведомость, и поднялся. Огромный торс, обтянутый крепкой тканью, колыхнулся.

— Не узнаю вас, товарищи! Вы совсем перестали заниматься. Весна на вас действует, что ли? Ведь это один из основных предметов, поймите...

Из-за стола поднялась Ливердо. Она спокойно сложила в сумочку листки и направилась к выходу.

— Разрешите мне в следующий раз, Полина Елизарьевна. Я тоже позабыла, что такое эппентетикум.

— Очень мило с вашей стороны. Ну идите! Не забудьте только, что вас могут лишить стипендии.

Леон проводил глазами две удалившиеся фигуры и занял место Карлова. Упоминание о стипендии заставило его насторожиться. Необходимо было сосредоточиться. В конце

концов виселицей ему никто не угрожал. Леон вспомнил Алкины конспекты. Он их даже не успел раскрыть, но занести их придется. Она попросила сама... А пока — глаголицы и околицы.

«Полено, ты разъярено?» — спросил он распираемые гневом холмы, за которыми билось каменное сердце женщины и вдруг увидел, как широко, по-русски, расползлись губы экзаменаторши. Она смеялась. Так смеются вулканы. И все-таки ему стало весело.

— Ливердо обиделась. Один растерялся, другая обиделась,— сердечно грохотала великанша.— Рассказывайте, Болотников, не стесняйтесь. Лучше грудь в крестах, чем голова в кустах...

Отвечал он не больше пяти минут. Случилось чудо. Леон и сам едва ли смог бы объяснить все толком, но смех женщины помог ему вспомнить то, над чем тщетно бились его предшественники.

Столовая закрывалась в девять. Он опоздал. Можно было зайти в гастроном и купить печенья, но при одной только мысли об этом у него заныло в желудке. Оставалось одно — ресторан.

Вышибала в белой курточке нефритовыми зрачками проводил его наверх и поиграл резиновой грушей. Леон одолел две лестницы, прошел по малиновой дорожке и, найдя свободный столик, погрузился в чтение меню. Когда с этим было покончено и он бесповоротно решил остановиться на двух бифштексах, к нему подсел молодой человек с челюстью быка. На нем был черный пиджак, под которым бугрился спортивный свитер. Низкий лоб покрывала испарина, мягкие ресницы густо обступали голубые, почти незамутненные глаза.

— Могу представиться,— начал молодой человек.— Бывший студент... Выперли из политехнического.

— За что?— поинтересовался Леон.

— Зависть,— с горечью пояснил новый знакомый.— Сначала скажу, как меня зовут... Карлом! Только я не Карл Великий и даже не Маркс, а просто Карл. Пришел пить водку.

Молодой человек засмеялся, обнаружив целый кукурузный початок зубов, и пальцем поманил официантку.

— Вот этот графинчик и еще такой графинчик, а на первое салат.

— А вам?

— Два бифштекса и бутылку пива.

Свитер крякнул. Леон посмотрел по сторонам и уже без особого энтузиазма подумал о бифштексах. Официантка принесла поднос, поставила перед молодым человеком водку и, раскупорив пиво, подала салат и бифштексы. Бычья голова заработала как ступа. Графин пустел. Леон думал, что на этом разговор будет исчерпан, но ошибся.

— Я все интересуюсь,— произнес бывший студент,— чего бы это мы все такие дохлые? А? Может, развернуться негде? Целина не по душе?— голубые глаза загадочно устремились на плывущий издалека поднос и тут же омрачились.— Сволочей много. Бить их не дают.— Молодой человек критически щелкнул ногтем по рюмке и задумчиво понюхал ломтик хлеба.

За соседним столом мужчина с кофейным цветом лица и узловатыми руками рассказывал, как он охотился с гарпуном на белого медведя и вывихнул себе ногу. Ему никто не верил, но слушали все внимательно. Два полковника пили коньяк и ухаживали за тоненькой блондинкой. За столиками привычно пьянели, втыкали окурки в остатки шашлыков и копченых лососей. Саксофон на эстраде тянул нескончаемое соло. Растрепанный тапер пытался что-то импровизировать, откидывая голову не хуже любого маэстро. Леону захотелось поскорее расплатиться и уйти.

— Места свободные?

Он поднял голову. Перед ним стоял Бекешин и заметно пополневший Гутя в светлом костюме, украшенном двумя авторучками и серебряным жетоном с лирой.

— Никак Леон?— спросил Бекешин. Глаза, обведенные розовыми сегментами век, увлажнились желатином.

Леон неохотно пожал волосатую руку. Завмаг улыбался. Прошло столько лет... Как мало постарел Бекешин. Губы такие, словно их только что вырезали из свежей говядины. Лицо приобрело породистый оттенок. Веснушек не видать! А ведь были когда-то. Были.

Молодой человек при виде жетона с лирой на боку оживился и, опрокинув в себя остаток водки, вступил с Гутей в беседу. Гутя был сдержан и, поглядывая на эстраду, пытался завести разговор об аккордеоне. К столу подошла распорядительница. Леон наблюдал... Какое приятное лицо. О! Да они знакомы: это разбухшее чудовище с бесподобными икрами знает Степана Матвеевича.

— Приятная женщина,— щелкая портсигаром, заметил Гутя.

— Лучшая сервировщица,— глядя вслед удаляющейся женщине, добавил завмаг.

— Дредноут,— с трудом вымолвил бывший студент.

Два подноса, заставленные мясом, огурцами, перцем и винами, вскоре выплыли из-за черной бархатной вуали, скрывающей преисподнюю блюд. Бекешин уговорил Леона остаться и взялся за коньяк. Гутя завороженно следил за янтарной струей звездного напитка. Его глаза опьянели.

...Вилка Бекешина пляшет странный танец над салатницей. Уксус и майонез побуждают к приятной паузе. Он просит выпить Леона. За что? За покойницу. Гордая женщина. Редко встречаются гордые женщины.

— Леон! Дорогой. Надо уважать...

Беседа плохо клеится. Но завмаг настойчив и терпелив. Он дьявольски уважает сильных людей. Он понимает, как трудно бывает в жизни. Деньги. Кстати, студентам тоже нужны деньги. Они молоды — и поэтому им трижды нужны деньги. А достать?.. Бекешин смотрит на бывшего гения — и гений кивает ему головой. Оба глядят на Леона. Коньяк. Он льется, как родник в горах замечательной Кахетии. А деньги, действительно, нужны всем. «Хватит»,— стучит у виска. Гутины глаза лукаво глядят сквозь рюмку.

— Есть одно дело, дорогой Леон,— глотая балык, говорит Бекешин.— Не хватает хороших людей. Надо сопровождать машины... по особому графику. Рейс — и неделя безбедной жизни. Я уважал твою мать. Подумай, Леон. Такая возможность бывает не часто...

— Рейс — и неделя безбедной жизни,— целомудренно щурясь на остатки балыка, повторяет Гутя.

— Рейс...

— ...и неделя безбедной жизни.

Леон поднялся из-за стола и, взяв бокал с недопитым пивом, выплеснул в лицо Бекешина. Бычья челюсть повернулась в его сторону. В руках аккордеониста затрепетал носовой платок... Пыхтя, пробиралась между столиками сервировщица. Чечевичные пятна выступили на красном лице.

— Не отпускайте его! Держите!

Смолк саксофон. Бокал, мелодично позванивая боками, покатился по столу и хрустальной пятой стукнулся о паркет. Мясистые руки женщины обхватили Леона. Бывший студент, лавируя между креслами, скрылся из виду. Мелькали Гутины авторучки и багровый затылок Бекешина. Леон стиснул запястья распорядительницы и освободился от пахнувших уксусом рук. Женщина топала ногами. Она кричала, что против нее применили насилие и, увидев швейцара, чуть не разрыдалась у него на груди. Вышибала скрипнул зубами. Нефритовые зрачки остановились на Леоне, но у входа показалась милицейская фуражка сотрудника. Через десять минут был составлен акт. Пострадавшей стороной выступала одна распорядительница. Она же давала и свидетельские показания. Бекешин и Гутя скрылись. Сервировщица клялась, что никогда их раньше не видела, и требовала возместить убытки.

Леон писал объяснение в соседней комнате с решетчатым окном и сырыми стенами. Через два часа лейтенант вызвал его за барьер и, забрав паспорт, отпустил домой.

— Завтра в девять,— задвигая ящик стола, сказал он и кивнул на выход.

— Таких людей надо сажать в клетку и кормить землей.

— Не надо кормить,— сказал Валька,— совсем ничем не надо кормить...

— Гирей по башке — и конец,— добавил Коля.

— Зачем ты пил с ним коньяк? Вот что меня интересует,— снова заговорил Курков.

— Ну, хватит, парни. Я вам рассказал и хватит.

Леон стал раздеваться. Он уже досадовал на свою болтливость и, укладываясь под простыню, подумал, что кто-нибудь случайно может проговориться на курсе о его похождениях.

— Надо было графином,— нарушил молчание Валька.

Курков, погасивший свет, лягнул его в темноте ногой.

16

В отделении милиции было душно и накурено. Сменялись дежурные. Один из них, постукивая линейкой по чернильнице, говорил по телефону. Двое глухонемых, жестикулируя руками, сидели на скамье. Когда дежурный положил трубку, один из них подошел к нему и стал мычать, показывая на дверь и на перегородку, за которой он сидел со своим товарищем.

— Подрались, а теперь мыр-мыр,— сказал лейтенант и, обернувшись к сутулому старшине, крикнул:

— Лещенко, своди их на улицу!

В тяжелую дверь с округлым вырезом кто-то настойчиво стал стучать кулаком, требуя закурить.

— Ну-ну,— предупредил старшина,— забыл, где сидишь?

Леон подождал, пока старый дежурный расписывался в лиловой книге и, когда тот

кончил, подошел к барьеру. Розовый капитан, с белоснежной полоской воротника вокруг шеи, отыскал его паспорт и протокол.

— Придется задержаться,— сообщил он.

Леон сел. Вскоре рядом с ним опустился на скамью угрюмый верзила в заляпанных глиной сапогах. С прогулки вернулись немые. Завидев капитана, они снова замычали, стали просить, чтобы их отпустили домой.

— А драться умели?— спрашивал старшина и прокуренным пальцем тыкал в дверь, из-за которой неслись подавленные вздохи заключенного.— Будете шуметь — и вас запру. Очень просто...

Он брал предполагаемую жертву за невидимый ворот и показывал, как это делается. Появился человек в коричневом костюме. Он поздоровался с капитаном и, сев на его место, стал рыться в документах. Часть из них он отложил в сторону.

— Болотников?

Леон подошел к перегородке.

— Ваше дело будет разбирать народный суд.— Капитан нашел глазами сутулого старшину и крикнул:— Лещенко! Поведешь! Выпускай таксомоторщика. Ему по дороге с этим гражданином...

Верзила в заляпанных сапогах тоже попал в число подконвойных.

— Айда,— сказал старшина.

Здание суда находилось через две улицы. Стараясь избегать любопытных взглядов, Леон шел рядом с верзилой. Первая судимость в его жизни. Бекешин снова ушел от него. Он не любил шутить с бокалами и предпочитал иметь дело с надежными людьми. Кто докажет, что завмаг возит какие-то грузы «по особому графику». А ведь надо было согласиться. Согласиться и...

— Сюда,— сказал старшина и пропустил всех вперед.

У женщины было широкое лицо и властные губы. Она уверенно сидела за столом, резко вскидывая голову, и в упор смотрела перед собой. Леону никогда не могло и в голову прийти, что его будет судить женщина. В узком с высоким потолком кабинете, за обычным письменным столом. Тут же, правда, находились и двое мужчин, но они с заговорщицким видом листали какое-то дело и почти не обращали внимания на Леона. Все оказалось гораздо проще, чем он предполагал. Присяжные не дремали на толстых скамьях, защитник не протирал свое пенсне, прокурор не хватался за печень. За дверью курил сутулый Лещенко, а в комнате сидела женщина с властными губами и читала протокол, составленный в отделении милиции. «Нарушил общественный порядок,— доносилось до него,— оказал физическое насилие... причинил материальный ущерб...»

Женщина подняла голову и отложила протокол.

— Признаете ли себя виновным?

— Нет.

— Объясните.

— Я уже написал объяснение. Вчера вечером.

Судья посмотрела на обратную сторону акта и пожала плечами.

— Рассказывайте. Только коротко.

Леон рассказал о завмаге, о разговоре в ресторане и о сервировщице с толстыми ногами. Женщина невозмутимо выслушала весь рассказ. Она спросила, где работает Бекешин, записала что-то в блокноте и, мельком оглядев Леона, почему-то задержалась на его туфлях. Голос ее не стал теплее, но лицо уже не казалось каменным.

— Вы совершили аморальный поступок. По существу, это хулиганство.— Женщина полистала толстую книгу.— Не думайте, что вас оправдают только потому, что человек, которого вы оскорбили, сам в чем-то виноват. Это — анархия: расправляться с кем хочу, когда желаю... Есть административный аппарат и есть закон. А вы размахались руками. Распоясались. Ваше заявление мы учтем, а вас накажем по всей строгости. Вы пили с этими людьми. Это я тоже учитываю...— Судья быстро набросала на листе текст приговора и огласила его. Леон молча выслушал. Ему предлагалось уплатить штраф в размере десяти рублей. Копия решения должна была поступить на имя ректора университета.

— Вот ваш паспорт. Штраф постарайтесь уплатить в течение двух дней. Все. Пригласите следующего.

Леон вышел за дверь.

— Ну, как друг?— мрачно спросил верзила.

— Десятка...

— Сидеть будем вместе. Десять суток — не десять лет.

Верзила решительно распахнул дверь. Леон не успел объяснить, что сидеть ему не придется. Хотелось поскорее окончить с формальностями. Он показал старшине паспорт и тот, кивнув головой, отпустил его. До Госбанка было недалеко. В кармане осталось пятнадцать рублей. Бифштексы обошлись недешево. Леон вспомнил о Ное. В угольном ковчеге всегда можно найти хорошую лопату. Ной любил студентов, а работы у него хва-

тало. В банке Леону указали окошечко, куда вносили штрафы, и он, надвинув фуражку на лоб, протянул квитанцию. Тонкая брюнетка с безгрешными чертами лица и сюрреалистической прической повернула голову. Губы приоткрылись в очаровательном эллипсе.

— За мелкое хулиганство?

— Как видите, миледи.

— Вы прибыльный человек.

— Стараюсь, как могу.

— В следующий раз оставьте себе на галстук.— Брюнетка подала ему корешок и на прощание посоветовала не падать духом.

Он снова отправился в народный суд, вручил бухгалтеру корешок и, выбравшись наконец из плена коридоров, завернул в сквер. Нежная зелень опушила клены. На одном из них резвились воробьи. Стараясь оттеснить друг друга к самой земле, серые клубки стремительно падали вниз, распускали крылья и снова взмывали на самую макушку... Кусты были трогательны. Солнце изливало на них свою нежность, и они, миролюбивые и смирные, стояли вдоль побеленных известью кирпичей. Во всем сквозила тихая радость, но от этого не становилось лучше. Он думал о пакете, который через несколько дней попадет в ректорские руки. Пожалуй, на этом и кончится его университетская пора. Ректор едва ли станет вникать в подробности. Народный суд — аксиома достаточно убедительная. Кроме того, он был в ресторане, и говорить кому-то, что он зашел туда только ради бифштексов, было бы смехотворной тратой времени. Леон поднялся со скамьи и вышел из сквера.

Зачет Алка сдала уже после всех. Ей не хотелось в тот день встречаться с Леоном, потому что у него были конспекты, которые могли послужить неплохим поводом для новой встречи. Пока Леон сидел в аудитории, она гуляла по набережной, а когда вернулась, в коридоре стояли только двое: Карлов и Панина, до последнего вздоха решившая читать грамматику. Нос у Паниной походил на свежую, туго закрученную стружку. Она всегда картавила и таинственно смотрела исподлобья, за что и получила прозвище зловещей провидицы. Староста, успевший узнать, куда девались юсы в русском языке, надеялся сегодня же скрестить шпаги с разъяренной Полиной. Зачет Алка получила. Возвращаясь домой, она думала о Леоне. Лукавить ей не хотелось, и себе она не лукавила, но с конспектами получалось как-то фальшиво. Можно было просто пригласить. И ничего не говорить, пока не спросит сам, хотя однажды он уже спрашивал. Опять она начинала путаться и сомневаться. Алка дошла до особняка и, поднявшись к себе, с раздражением швырнула туфли под «жеребчика». На столе лежало письмо. Видимо, принесла мать. Обратного адреса на конверте не было. Почерк показался ей знакомым. Только не могла вспомнить чей. Полоска бумаги хрустнула, поползла. Из конверта выпал листок. Пальцам стало вдруг холодно. Алка инстинктивно взглянула на стену, где когда-то висела репродукция. Ничего не было. Кроме бледного квадрата. Обои на нем не выцвели и не успели потемнеть, поэтому квадрат выделялся. Все равно, что затянувшаяся рана. Алка расправила листок и прочитала.

«Я вернулся, Алиса. Моя стоянка в гостинице. Увидеться можем вечером. Спеши.

Е. Трунов.

P. S.

Второй этаж. № 80».

Заглянула мать и позвала обедать. Алка отказалась. Последний год их отношения с матерью упростились до смешного. Стареющая женщина всецело отдалась во власть массажистам. Занимаясь притираниями и гимнастикой, она пыталась справиться с неодолимо возрастающей полнотой и стала покупать сигареты. Отчим не возражал. Внешне он выглядел так же скромно, но взгляд стал скользящим и отрешенным. Раза два Алка видела его с высокой блондинкой. Обедать она отказалась. До вечера пролежала с журналом на кушетке, а в девять поднялась и стала одеваться.

Беспорядочно раскиданные подушки и пепел, рассыпанный по всему ковру, напомнили Алке ту самую комнату, на дверях которой скалился фиолетовый роджер. Казалось, что дух его переселился в гостиницу, но это впечатление было почти мгновенным. Вконец заношенные носки, брошенные под стул, и грязные пятна на скатерти скорей всего говорили о неопрятности, и с веселым духом флибустьеров никак не вязались.

— Как все скверно, Алиса, и подло,— проговорил Трунов.— Моя дружба со всей этой сволочью оказалась резиновым зайцем.

Алка сидела напротив Трунова и разглядывала выбритое до синевы лицо. Цыганские глаза погасли, обострились скулы, и только волосы по-прежнему буйно припадали к затылку и мягко вились за ушами. От него пахло водкой. Раньше он пил только коньяк. Раньше Трунов немного играл своей внешностью и даже голосом, а теперь перед Алкой

сидел не тот ранний демон, который сорил деньгами и афоризмами, а ушибленный человек. И ей было жаль его, поэтому она не перебивала.

— Мне никто не писал. Я и раньше не очень доверял этим мальчикам с их пьяными девками, но черт с ними, Алиса... Из заключения я не писал тебе, и ты понимаешь почему. Я тебя люблю. Три месяца назад, когда меня выпустили, я поехал работать на север. Сейчас вырвался к тебе. Ты стала очень красивой.— Трунов помедлил и, глядя в пепельницу, глухо добавил:— Мы должны расписаться, Алиса.

Алка опустила голову. Ее сердце тревожно сжалось. Надо было говорить, но она не могла. Вспомнилась одна встреча. Женщина со стрекозиным телом поднималась ей навстречу, когда она уходила от архитектора. Они разминулись, и Алка услышала тихий, полузадушенный смех за своей спиной. Слова женщины больно хлестнули по ее самолюбию: «Ощипал ворон курочку до последнего перышка...» Трунов взял со стола недокуренную папиросу и, разломив, стал растирать ее. Пепел и табак сыпались на скатерть.

— Нас многое связывает, Алиса. Слишком многое...

Пальцы Трунова вздрагивали.

— Ты не прав, Женя. Нас больше ничего не связывает.

Она поднялась.

— Подожди,— тихо попросил Трунов. Он вышел из-за стола, подошел к двери и болезненно усмехнулся, перехватив ее тревожный взгляд. Рука легла на ключ, помедлила. Ключ повернулся.

— Не бойся. Я просто хочу с тобой выпить.

Он достал коньяк и печенье, выплеснул на ковер воду из стакана, наполнил коньяком и достал второй стакан.

— Я не буду пить, Женя.

Трунов внимательно посмотрел на нее. Алка отвела глаза.

— Будешь,— задумчиво протянул он.

— Выпусти меня отсюда.

— Алиса! Что случилось, Алиса? Неужели все так меняется? — Он подошел к ней и протянул стакан. Она осторожно отвела его руку.

— Тогда выпью я.— Алку охватило брезгливое чувство. Она направилась к выходу, но Трунов остановил ее. Тяжелая рука легла на плечо, глаза приблизились.

— Я все понимаю, Алиса. За три года многое изменилось. Можешь ничего не говорить... Останься!..

Алка попыталась высвободиться. Вторая рука легла ей на спину. Жалости к нему она уже не испытывала, и от этого стало легче.

— Раньше ты был сдержаннее и при мне не наглел.

Трунов усмехнулся, медленно убрал руки и скрестил на груди.

— Раньше ко мне в постель залетали и не такие курочки.

Алка побледнела, полузадушенный смех, как эхо, оборвался у нее в груди. Женщина со стрекозиной талией таяла в пролете лестницы... Она не слышала удара. Даже не понимала, что уже ударила и только увидев, как Трунов покачнулся, поняла, что все-таки ударила. Он не сказал ни слова, кинул ключ на стол и повернулся к окну. Плечи его обвисли. Их последняя встреча состоялась.

17

— Старик ходит как в воду опущенный,— сказал Валька, когда дверь за Леоном закрылась.— Может, написать нашему декану коллективное письмо?

Курков с сожалением посмотрел на недоеденный батон и прополоскал рот.

— Чем оно поможет, твое письмо, если решать будет ректор?

— Должны же разобраться,— сказал Коля.

— Разберутся. У нашего шефа железный характер: раз пришла бумага из суда, значит точка.

— Но делать-то что-то надо,— взорвался Валька.

— Делать надо.

Коля достал из-под кровати гирю и стянул с себя свитер. Валька с раздражением следил за его приготовлениями.

— Хоть бы ты надорвался скорее, что ли. По́том от тебя несет. И вообще покоя нет...

— Заткнись, бедный ребенок.

Курков смахнул со стола крошки, обошел гирю и бросил в тумбочку остаток батона.

— Только и радость, что посидишь в парке,— продолжал Валька.— Напылит, нагремит и уйдет к своей штанге.

— Слушай! Тебе когда-нибудь станет плохо.

— Что? Вытрясешь из рубашки? Слыхали! Попробуй тронь. Видишь вот этот стул.

— Ну-ну!— миролюбиво сказал Курков и ущипнул Вальку за косматый загривок. Валька пантерой кинулся на него. Оба повалились на кровать, опрокинув стул и царапая подошвами этажерку.

— У меня есть идея,— задыхаясь, проговорил Валька.

Курков выпустил его из-под себя.

— Риман.

— Что Риман?

— Риман знает секретаршу, которая сидит в приемной у ректора.

— Ну и что?

— Все,— сказал Валька.

Коля, попытавшийся воспроизвести гирей какую-то сложную конвульсию, уронил ее на пол и она загрохотала.

— Что вы там изобретаете? Перпетуум мобиле — вечный двигатель?— спросил он.

— Кажется, изобрели,— прищурился Курков.

Риман понял все с полуслова.

Уже на следующее утро в его груди вспыхнула старая любовь — и он пришел к ней. Она что-то печатала на машинке. Ей не хотелось отвлекаться, и она только бегло взглянула на его упитанный нос.

— Я совершил ошибку,— протирая запотевшие очки, сообщил он.

— Когда же ты их не совершал?— меняя лист, заметила она.

— Зачем ворошить прошлое?

— Ты пришел опять приглашать меня в свою труппу?

— У меня есть билеты в театр.

— Зря стараешься.

Машинка сердито скрипнула регистром и звонкое стаккато заплясало на клавишах.

— Завтра мы можем сходить в «Арктику».

— Тебе прислали гонорар за пьесу?

— Послезавтра у меня будет машина...

— Ты повезешь в лес. Да?

— Элька! Я ухожу.

— Передай привет своей обезьянке!

Риман присел. Его взгляд упал на груду конвертов. Небрежным движением он подвинул их к себе и стал просматривать.

— Это у тебя утренняя почта?

— Представь, что да! И представь, что на университет мне писем не посылают.

Риман лицемерно вздохнул. Интересующего его пакета не было. Пора было уходить.

— Ты получаешь почту только по утрам?— на всякий случай спросил он.

— Да! Только по утрам. Тебя это устраивает?

— Вполне.

— Тогда убирайся!

— Итак, в семь. Под нашим замечательным тополем. Тебе очень шло сиреневое платье...

— Я ни разу в жизни не носила сиреневых платьев.

Риман обеспокоенно хрустнул пальцами.

— Я имел в виду бордовое, — поправился он.

— Имей в виду, что скоро придет ректор.

— Так мы договорились: бордовое платье. В семь...

— Ты забыл о нашем замечательном тополе...

Розовые пальчики Эльвиры бойко забегали по клавишам. Все было в порядке. Риман подумал, что он еще вполне успеет позавтракать и дописать последний акт своей «многообещающей» пьесы «Зубчатый вал».

— ...да нет, Алка, нет! Ты слышишь меня? Алло... Сам не понимаю, что там у них случилось. Послушайте, бросьте вашу трубку... я не Сеня!.. Алка! Я не с тобой, Алка! Ну вот, теперь слышно. Ты слышишь меня? Никакого инспектора нет. Я говорил про конспекты... занес конспекты, а тебя не оказалось дома. Жаль... Уходила? Понятно... Понятно, говорю! Весь город сел на телефоны. Ага! А я тебя, по-моему, видел. Может, ошибся. Издалека... Возможно, да? Ну, я и говорю, что видел... Опять кто-то влез. Слышите? Положите трубку... что-что? Кто говорит? Я вам и отвечаю: пожарная охрана. Алка! Ну, наконец-то. Что сегодня такое? Невозможно разговаривать... Алка, ты как насчет леса? Я говорю лес. Лес! Ну да. Не возражаешь? Завтра на гэсовский автобус... Пораньше и надо. Часов в девять... Возле «Гиганта». Значит, договорились. Ничего брать не надо, лучше без всего. Да, конечно... Как зачет? Хорошо! Представляешь, наша Полина... Ты это знала? Вот я и говорю... В общем-то она неплохая женщина... Ну пока, Алка! Пока! До свиданья.

18

Автобус, опустившись в лощину, неуклюже плюхнулся в ухабы, поворочался в них и, громко зарычав, стал подниматься в гору. Издали он стал походить на большого майского жука, который никак не может расправить крылья. Леон отыскал в траве Алкино зеркальце, которое она выронила из сумочки вместе с авторучкой, и задержал взгляд на ее ногах. Они еще не успели загореть, эти Алкины ноги, волнующие ноги балерины. Он, кажется, зазевался. Вероятно, так оно и было. Но почему бы и не зазеваться?

— Итак, кузина,— стараясь скрыть охватившее его волнение, заговорил он сцениче-

ским голосом,— я поведу вас в первобытный парк.

— О, как это ужасно! Какой у вас криминальный вид, мой добрый друг!— Алка засмеялась и, повернувшись, направилась к березовой роще. Тропинка вилась среди стволов, огибала потемневшие пни с изъеденной муравьями сердцевиной — и они выставляли на пути разбитые, истертые подошвами корни. Среди прошлогодних листьев, и не только среди них, но и под ними, пробивалась молодая трава. Она прокалывала желтую, сморщенную плоть мертвых опадышей, расталкивала все, что ей мешало, и огибала случайный сушняк, выбираясь к теплу и свету. Они вышли на просеку, за которой начинался сосновый бор. Залитые солнцем, деревья величественно подставляли небу свои огромные, клубящиеся хвоей пригоршни, принимая ранние дары наступающего лета. Прозрачный розовый питон, свернувшись, проплывал над бором. «Странное облако и странный день,— подумал Леон.— Вероятно, послезавтра меня вызовут к декану». Он нарисовал в своем воображении трогательную сцену расставания. Получилось недурно. Он положительно чувствовал себя счастливым в это утро. Ему почему-то казалось, что нужный разговор с Алкой состоится и все, наконец, выяснится между ними. А как будет дальше?.. Он не знал, как будет дальше.

— Подснежники уже сошли. Наверное, здесь были подснежники,— сказала Алка. Она остановилась и оглянулась на Леона.

— Они рано сходят, эти подснежники. Черт с ними. Скоро начнутся другие цветы.

Алка грустно улыбнулась.

— Да. Скоро начнутся другие,— тихо повторила она.

Ему неожиданно вспомнились стихи Бернса.

Так весело, отчаянно
Шел к виселице он.
В последний раз,
В последний пляс
Пустился Макферсон.

«Больше не буду думать об этой проклятой истории»,— решил он и сбоку взглянул на Алку. Казалось, она к чему-то присматривалась.

— Ты слышишь?

Он повернул голову. Из-за опоясанных голубыми тенями стволов, из-за тяжелых ветвей с набрякшими на них прожилками смолы доносился вещий голос кукушки. «Пять, шесть, семь... сосны, Алка, небо, травы, лето...»

— Двадцать семь,— вздохнула Алка.

Они углубились в бор, прошли мимо дач и достигли обрыва, который круто уходил вниз. За густыми зарослями боярышника, акаций и волчьей ягоды открывалась река с перекатами и островами, с песчаными осыпями и плотами, прибитыми пенными водами к берегам.

— Дальше не пойдем. Там опять дачи и еще этот санаторий...— Леон сел под высохшую лиственницу и Алка, стягивая вокруг колен юбку, опустилась рядом.

— Через неделю первый экзамен,— вздохнула она.

— Да, через неделю.— Он отыскал в ногах веточку и принялся ворошить сухую груду хвои. Что-то изменилось. На самый верх лиственницы сел дятел. Сухой, деловитый стук разнесся по лесу. Леон смахнул веточкой одинокого муравья, упавшего сверху ему на пиджак, и посмотрел на Алку. Она сидела совсем близко. Ресницы опущены, рот полуоткрыт. Впечатление такое, словно ей трудно дышать, но она пытается это скрыть.

— Ты что? Устала, Алка?

Она пристально и коротко взглянула на него.

— Мне показалось, ты устала.

Он прикрылся рукой и посмотрел на вершину лиственницы, откуда сыпалась труха вперемешку с кусочками коры.

— Леон!— голос прозвучал тихо. В нем было что-то предостерегающее.— Я кое-что тебе должна рассказать, Леон. Мне кажется, что это будет неприятно. Я не хотела говорить совсем, но так было бы хуже.— Алка рассеянно провела рукой по волосам и вскинула голову.— Три года назад я познакомилась с одним человеком... Очень скоро мы с ним разошлись, но я оставалась у него на ночь... Я думала, что люблю его...

...Разбитая фаянсовая чашка валялась в двух шагах от Леона. Он с недоумением рассматривал ее — небрежно брошенную чьей-то рукой, наверное, во время прошлогоднего пикника. Дятел плавно перелетел на другое дерево. «Интересно, сколько ему надо летать, чтобы набить свое тело разными козявками?»— подумал неожиданно Леон. Взгляд его снова упал на чашку. При случае из нее можно было еще напиться. Даже вполне. Отбит только край. Но на виду такую чашку все равно не поставишь... Внезапно горло его свело судорогой. Потом отпустило. В общем-то не было ничего особенного в том, что сказала Алка —и неожиданно ему захотелось ударить ее прямо в губы, посмеяться в лицо. Убить. И самому разорвать себе грудь руками. Он опоздал на целых три года. А если бы

они познакомились раньше? Ведь все произошло без него... Алка стояла перед ним. Он видел, как шевелятся ее губы, но слов не понимал. Вот она повернулась. Пошла. Ей оставалось только это. Наверное, у него был очень глупый вид, пока он рассматривал эту разбитую посудину... Куда же она пошла? Леон поднялся на ноги. Ему захотелось крикнуть, но он сдержался. Может, это и к лучшему: у него есть время подумать. Алка думала очень долго. Настала его очередь. Леон шагнул к фаянсовой чашке, поднял ее и протер рукавом. На уцелевшем боку под тонким слоем глазури он заметил подснежник: тонкие беспомощные лепестки, никогда не увядающие, надежно защищенные прозрачной эмульсией.

Только так и сохраняются подснежники. Так их никто не сорвет. Разве что полюбуется. Леон швырнул чашку в кусты и направился вдоль берега к деревянному мосту, где останавливались автобусы, идущие в город.

После театра Элька спросила, какая ее ждет перспектива в будущем. Риман снова заговорил об «Арктике», с тревогой подумав о недавнем переводе, который он получил от дяди и который таял, как шагреневая кожа. Мысленно обругав своего благодетеля скрягой, бездушным накопителем и эгоистом, он с воодушевлением упомянул о пресловутой машине, якобы обещанной ему одним хорошим товарищем.

— А потом?— допытывалась Элька.

— Что-нибудь сообразим.— У Римана окончательно иссякла фантазия.

— Ну, а что же все-таки дальше? Так и будем кочевать по ресторанам и кататься с хорошими товарищами?

— Что ты имеешь в виду?— насторожился Риман.

— Ты сам понимаешь, что я имею в виду.

Он пожал плечами и со страхом посмотрел на красивую шею. Она нравилась не одному ему, но только он в состоянии был разговаривать с Элькой, не признающей ничего на свете, кроме театра. Именно поэтому она и терпела его. Он был убежден, что именно поэтому. Риман вздохнул.

— Нет, не всегда!— крикнула Элька.— Ты лучше скажи, за кого ты меня принимаешь?

— Я же тебя уважаю, Элька...

Она резко отбросила его руку и остановилась.

— ...люблю,— обессиленно простонал он и, оглянувшись, полез целоваться. Элька не сопротивлялась... Они молча дошли до ее дома, и когда уже пора было прощаться, он, как бы между прочим, спросил ее, не может ли она помочь одному человеку?

— Какому человеку?— отстраняясь от него, спросила она. В голосе ее послышались знакомые нотки раздражения. Риман сделал безразличное лицо.

— На него должна прийти бумага.

— Какая бумага и причем тут я?

— Бумага из суда.— Не вдаваясь в подробности, Риман коротко сказал, в чем дело.

— ...хороший парень. Надо помочь...

Элька загадочно посмотрела на толстые, поблескивающие, как скорлупка улитки, губы, и, не говоря ни слова, закатила Риману оплеуху. Оглушенный таким неожиданным финалом, он, не мигая, смотрел на ее шею. Он оглох. Его никогда в жизни не били по щекам, и теперь он совершенно оглох от одной-единственной оплеухи. Элька закрыла лицо руками и медленно направилась к калитке. Он все еще не мог оправиться от потрясения. Внезапно остановившись, Элька повернулась к нему.

— Пакет свой получишь, но приглашать теперь можешь других.— Ее каблуки глухо простучали по дощатому настилу возле палисадника.

Риман стоял как изваяние. Когда за калиткой хлопнула дверь, его охватило бешенство. Но затем стало так тоскливо, что захотелось обнять тополь и разрыдаться. Наманикюренная Эльвира, эта кудрявая «Пепита», строптивая и вздорная, продемонстрировала ему свою порядочность. Ему тут же вспомнилось, что у нее никого нет, что она платит за квартиру пятнадцать рублей, что ей, видимо, трудно учиться на заочном факультете и что она успевает заниматься в драмкружке. «Проклятый «Демон», — с горечью подумал Риман. Элька должна была играть Тамару, но в первом фрагменте он перепутал рубильники и Тамара не состоялась. «А я ее действительно люблю,— неожиданно сказал он.— Как в классическом романе. У нее тяжелая рука и красивая шея... Именно таких и надо любить... Таких...»

На следующий день печальный и серьезный, с картинно опушенной головой и напомаженными волосами, что свидетельствовало о его крайне угнетенном состоянии, он сидел перед ней. Авантюра, в которую его втянули, вызывала в нем отвращение. Риман понимал, что поступает подло. Если бы на месте Болотникова оказался другой, он бы не раздумывал... Эльвира выстригала ножницами

конверт и не обращала на него внимания. Пакет он уже получил. Его принесли утром. Теперь он лежал в кармане.

— Элька! Пойми, что я не за этим тебя приглашал.

— Убирайся!

— Элька!..

В приемную стали входить люди. «Вечные совещания»— подумал Риман и, вложив в прощальный взгляд всю боль угнетенного сердца, отправился в общежитие.

В двадцать четвертой никого, кроме Куркова, он не застал. Все ушли обедать. Риман возмутился. Он даже и не завтракал, а те, ради которых он перенес все, вплоть до оплеухи, спокойно отправились обедать.

— Ты что-нибудь сделал?— поинтересовался Курков.

— А что я должен сделать?

Курков, добросовестно переводивший Ремарка «На Западном фронте без перемен», оторвался от русского подлинника и порылся в словаре.

— Ты достал пакет?— тихо спросил он.

Римана взбесило упоминание о пакете.

— Между прочим, уши у тебя оттопыренные,— засовывая руки в карманы, проговорил он.

— С детства,— подтвердил Курков.

— ...и щеки, как у кабана.

— Дурак ты, Риман,— нахмурился Курков.

— А вы все умники.— Сигарета с золотым ободком заплясала в толстых обугленных страстью губах. Внезапно Риман рассмеялся. С ним это иногда случалось. Особенно в последнее время. Сначала он свирепел, а потом разражался смехом.

— Слушай! Тебя любят женщины? Ладно. Вижу, что любят. Не притворяйся святошей. Все вы тут святые.— Риман достал пакет и швырнул его на Валькину кровать.— Можешь передать. Мне некогда. Я вас не знаю, и вы меня тоже...

19

Мысль сходить к Михееву показалась ему естественной и даже необходимой. Как знать? Возможно, ему снова придется работать на заводе. Возможно, это и неплохо. Возможно, ему лучше ходить вокруг блюмингов, чем слоняться по аудиториям и слушать Великого Могола. Возможно, и так. Он будет участвовать в рабочем контроле, укреплять профсоюз и думать о Бекешине. У него появится реальная миссия. Однажды ему представится возможность участвовать понятым по делу одного универмага. Справедливость восторжествует, и ректор лично пригласит его на выпускной вечер, чтобы перед лицом общественности попросить прощение... Леон остановился возле знакомых, окрашенных в зеленую краску ворот и открыл калитку. Двор с тех пор, как умерла мать, почти не изменился. Единственным новшеством была детская площадка с деревянным грибком посредине. Леон взглянул на окно своей бывшей комнаты и вспомнил, как он, опираясь о широкий подоконник, обдумывал свой фельетон.

Тогда не получилось. Журналисту просто не хотелось рисковать; бывший фронтовик имел при себе сберегательную книжку, которую хранил, как святыню. Но теперь чековым стажем можно было пренебречь.

Леон дошел до палисадника, обогнул его и толкнул низенькую, протяжно зевнувшую дверь. Михеев сидел за столом. На нем была голубая в клеточку вьетнамка, открывавшая сухую волосатую грудь. Тяжелые руки смиренно и грузно лежали перед миской, в которую тетя Нюра наливала борщ. Михеев поджимал губы и перекатывал под кожей желваки. Хлеб, порушенный богатырскими руками женщины, крупными ломтями возвышался на плоском блюде. Леон поздоровался. Михеев, зацепив ногой табурет, привлек его к столу и молча кивнул гостю. Тетя Нюра достала из деревянного тайника еще одну миску. Все делалось неторопливо, и сама хозяйка, дебелая и румяная, бесшумно разыгрывала свою нехитрую роль. Ели молча. Опростав миску, Михеев покосился на Леона, и согласно кивнул головой, когда половник, жирно дымясь, вторично повис перед ним.

— Укропу бы,— томясь от вынужденной паузы, сказал он. Жилистые пальцы поигрывали ложкой.

— Рано еще укропу-то. Где его возьмешь?— ответила тетя Нюра.

— А ты, студент, ешь. Скулы-то, как худая городьба торчат. Лей ему, Нюра, чтоб наедался.

После борща на столе появился жареный картофель, а после картофеля чай. Запуская в сахарницу ложку, Михеев, наконец, счел возможным завести беседу.

— Редко стал заглядывать,— упрекнул он Леона.— Время не находится или как?

Тетя Нюра одобрительно и важно свела брови, с истым бабьим вдохновением втягивая в себя чай. Глядя на двух еще не старых, но уже давно немолодых людей, Леон ощутил раскаяние. Он действительно давно не бывал в этом доме. В доме, где они катали с Минь-

кой шары по чистым половицам и жались к железной печке, на которой потрескивали огромные картофелины.

— Занимается человек,— рдея от усердия, заметила тетя Нюра.— Эта, как ее там, глистмистика, поди, все мучает?

— Лингвистика,— поправил Леон.

— Ну ты, мать, брось свой научный разговор,— вмешался Михеев. Он пытливо посмотрел на Леона.— Ты, часом, не женился? Вид у тебя какой-то тяжелый. Может, что случилось?

— Из университета не берут,— улыбнулся Леон.

Вытирая полотенцем испарину, Михеев поднялся и достал папиросы. Они вышли в палисадник и разместились на скамье.

— Опять там что-то с Кубой. Того и гляди, что-нибудь получится,— проворчал литейщик.— Начнут, потом не расхлебаешь... Не боишься войны-то?— неожиданно спросил он.

— Чего бояться.

— Вон ты какой храбрый. Ну-ну. Осколками-то тебя не угощал бог войны, а у меня под самым позвоночком фитюлечка сидит. Нет-нет да и напомнит о себе: тут, мол, я, никуда не девалась.— Михеев докурил папиросу, окурок, по солдатской привычке, смял о подошву и, не спеша, со вкусом сплюнув, повернулся к Леону.

— А теперь расскажи, что у тебя случилось?

Леон взглянул на невозмутимого литейщика. «Старого воробья на мякине не проведешь»,— вспомнилось ему.

Он вздохнул и стал рассказывать. Из соседнего дома показался мальчик. Он выволок за порог самокат, прогромыхал по ступеням крыльца и, наддавая пяткой, прокатился мимо палисадника.

— Семка! — строго позвал Михеев.— Иди за ворота.— Он покачал головой и скосил глаза на собеседника.

— Значит в морду ты ему? Пивом?

— Пивом.— Леон насторожился. Плечи у литейщика затряслись. Губы расползлись в усмешке, однако ненадолго.— А теперь, говоришь, бумажка из суда придет?

— Придет.

— Тоже верно. Не хулиган. Воров пивом не обливают. Их ловят...

— Долго ловят.

— Вон как: долго ловят. Да их и при царе Горохе ловили. А царь-то Горох был тоже не плох.— Михеев снова засмеялся, потом смолк и заговорил опять серьезно.— За одну ночь всех не выловишь. И за две не выловишь... Но доберутся до всех, и до этого тоже доберутся. Слыхал краем уха, что ревизия у него в универмаге. Старуха моя говорила...

— Я бы таких из пулемета расстреливал. Руками душил. Дачу имеет. Машину вторую завел. Квартира барахлом на сто лет вперед забита. И все еще мало фактов. Купец же ведь. Буржуй. А его не садят! Не понимаю я этого, дядя Гриша.

— Ты вот что... Успокойся-ка давай — и пойдем пить чай. А из университета ты рано, брат, собрался. Литература — вещь приятная. Рабочему классу книга — радость. Так что с заводом ты погоди.

Михеев поднялся и, негромко охнув, почесал поясницу. Они снова вошли в кухонку.

— Нюра! Завтра я иду во вторую смену. Найди квитанцию за свет. В городе буду. Костюм погладь. Все, как есть, чтоб...— Михеев налил в стакан крепкого чаю и подмигнул Леону. Уже прощаясь, он сунул ему в руку деньги и, отводя глаза, сердито проговорил:

— Штоб купил себе щиблеты. Мебель-то твоя даром у нас стоит? А? И приходи всегда, не стесняйся. Мы с твоим отцом друзьями были. С университетом не торопись, говорю. Люди разберутся.

В общежитии царила предэкзаменационная тишина. Около дежурного стоял Паша и глубокомысленно разглядывал график. На лице коменданта была написана профессиональная скорбь человека, связанного с неблагодарной работой. Леон прошел мимо Паши, поздоровался и поднялся наверх. Дверь оказалась запертой. Он нашел засунутый в щель ключ, отомкнул комнату. На столе лежала записка.

«Старик! Ушли на соревнование. Наш староста выступает в полутяже. Будем болеть. Колбаса и хлеб в тумбочке. У Куркова есть конфеты, но он почему-то запрятал их в чемодан. Бережет, скотина. Не иначе. Если будет скучно, можешь разрешить половой вопрос: ведро стоит наготове, а тряпка под батареей. Привет.

В. Х.»

Леон переоделся, сдвинул стол к двери, сложил на него стулья и, найдя за шкафом швабру, намотал на нее тряпку. Последние три дня выбили его из колеи. Он даже забыл, что с утра должен приступить к дежурству. Парни напомнили. Кажется, они не очень-то считаются с его невзгодами. Он окунул швабру в ведро и погнал ее по углам, раздвигая чемоданы, норовя достать до самых плинтусов под кроватями. Работа его приятно ожесточила. Приходилось наклоняться, багроветь

от натуги, становиться на четвереньки и отжимать тряпку. Шлепая резиновыми кедами по сырым половицам, он подходил к чайнику, запрокидывал голову, пил и снова гнал воду, мрачно упиваясь потом. Через час с полом было покончено. Он протер подоконник, ровными стопками сложил книги и, обнаружив «Трех мушкетеров», улегся читать на кровать.

Вскоре в коридоре послышались знакомые голоса. Валька, распевая «Эхе-хе-хе, Сюзанна», первый ввалился в комнату, за ним Курков, а немного погодя и Коля, слегка взволнованный и улыбающийся.

— Слыхал?— прерывая свой рев, обратился к Леону Валька.— Наш мамонт занял первое место. Скоро у него будет грыжа.

— Кончай,— сказал Коля. По его лицу блуждала счастливая, растерянная улыбка.

— О!— глупо озираясь, протянул он.— Порядок. Люблю порядок. Всегда любил порядок.

— Ты у нас бог Саваоф,— заметил Курков.— Вегетарианец. Правильно я, Валя, говорю?

Валька не ответил. Он насмешливо уставился на Леона и несколько раз развязно приподнялся на носках. Руки его лежали в карманах.

— Переживает,— кивнул он на торчащие подошвы.

— Переживает,— хладнокровно подтвердил Курков.

— Ха! Переживает,— присоединился Коля.

— А чего переживать.

Леон смотрел на довольные физиономии. Парни шутили. На них навалилось веселье. Он это видел. Ясно видел, но не понимал.

— Что-то вы веселые,— сказал он хладнокровно.

— Что-то мы веселые,— усмехнулся Валька и, церемонно распахнув тумбочку, извлек из нее большой серый конверт.— Письмо на гетмана-злодея!

Леон приподнялся с кровати. Он уже начал догадываться, в чем дело.

— Значит, так, старик,— откашлялся Курков.— Бумагу на тебя никто не посылал ректору. А если и посылал, то он просто не подумал, в какие руки посылает. Встретишь Римана — поблагодари. А теперь...

— Рвать?— спросил Валька. Его пальцы распластались на верхней кромке пакета.

— Рви!— не выдержал Коля.— Все правильно.

Леон внимательно следил за Валькиными пальцами. Бумага напряглась, еще миг — и она разлезется, расползется на два неровных куска. Потом на четыре, на восемь, на мелкие клочки.

— Стой!— спокойно попросил Леон.— Дай сюда.

20

— Сегодня все на остров,— объявил после завтрака Коля. Лицо его приняло мечтательное выражение, и он не мог удержаться еще от нескольких фраз.— Солнце светит,— глубокомысленно пояснил он.— Можно загорать. Можно взять лодку и сплавать еще на один остров.

— С нами лорд Байрон,— высокопарно сказал Валька.

— Четыреста грамм селедки,— напомнил Курков.

— С нами конспекты Железной Зинаиды.

— Надо заглянуть в хлебный, парни,— обеспокоился Коля.

— Надо заглянуть, надо заглянуть,— речитативом пропел Валька и хлопнул подушкой Куркова.

— На острове я с тобой рассчитаюсь,— пообещал тот.

День выдался на редкость солнечный. За окном зеленели угловатые древние лиственницы. В открытое окно доносились обрывки разговоров, еле слышный шорох листвы, и в довершение всего на нижнем этаже кто-то завел радиолу, решив послушать марш из «Фауста».

— Старик, у тебя где-то я видел камеру. Захвати с собой. Побросаем вместо волейбола,— обратился Курков к Леону.

— Я, парни, не поеду на остров.

— Ты что, решил отделиться?— доставая эспандер из-под кровати, поинтересовался Коля.— Четыре дня до экзаменов. Как хочешь, но учти...

— Я решил посидеть в библиотеке.

— Смотри.

Курков и Валька переглянулись. Леон молча достал помазок, поставил на стол зеркало и, взяв чайник, отправился за кипятком. Он нарочно задержался возле титана, потрепал разлегшегося перед ящиком с отбросами щенка и когда вернулся в комнату, никого уже не было. Побрившись, он протер лицо теплым полотенцем, тщательно обмыл над ведром нехитрый агрегат для бритья и достал свежую рубашку. Чистка туфель и повязывание галстука заняли у него не более десяти минут. Оглядев себя со всех сторон, Леон остался доволен результатами труда. Правда, несколько смущали волосы у висков: они успели отрасти и теперь слегка отходили в стороны, но этим можно было пренебречь.

Он прошелся по комнате, приспустил на два сантиметра зажим на галстуке и, подойдя к тумбочке, вынул конверт.

Валька все-таки успел его надорвать, но в целом пакет имел все шансы на жизнь и мог спокойно кочевать в нужном ему направлении хоть полгода. Плотная серая бумага надежно предохраняла сведения, которым надлежало поступить в строго определенные руки. Об этом предупреждал штамп и очень недвусмысленно намекал адрес. Леон взглянул на старый будильник, который давно разучился звонить, а только блеял и хрипел, как удавленный, по утрам, и небрежно засунул пакет в карман. Стрелки показывали десять минут одиннадцатого. Пора было отправляться.

Голубые, тронутые ретушью глаза Эльвиры поднялись на посетителя. Ее тонкие пальцы с удлиненными ногтями свободно и броско лежали на раскрытой книге. В этот день она не печатала и не вырезала ножницами конверты. Ей не хотелось спешить с разбором корреспонденции, не хотелось отвечать на расспросы, ей хотелось читать. Леон достал пакет и положил перед Эльвирой.

— Я шел в библиотеку,— пояснил он,— и случайно обнаружил на дороге это письмо. По-моему, оно адресовано ректору. Подумать только, как оно не затерялось совсем. Наверное, что-нибудь важное...

Эльвира пристально посмотрела на Леона и кончиком языка осторожно увлажнила губы. Она узнала Леона и узнала «оброненное на дороге письмо». Она еще раз окинула взглядом стройную фигуру счастливца, подобравшего в пыли свой смертный приговор, и опустила голову.

— Вы немного сумасшедший, Болотников. Мне будет неприятно печатать приказ о вашем отчислении.

— Всего хорошего,— попрощался Леон.— До приказа еще далеко. Я успею сдать экзамен... И, возможно, не один.

Неспешным шагом он вышел из главного корпуса и пересек улицу. Ему захотелось пройтись по парку. С реки дул легкий освежающий ветер. Леон миновал длинную аллею, засаженную по краям тополями, лиственницами и густой шеренгой акаций. Он решил еще побродить по набережной, бездумно проследил, как отваливает от берега речной трамвай и только после этого повернул в библиотеку.

В тот момент, когда Леон раскладывал на столе только что полученные книги, Эльвира доложила ректору, что его желает видеть посетитель «по одному весьма значительному делу». Этим посетителем был Михеев, который успел расплатиться в горжилотделе за свет и теперь спокойно ожидал приема, шевеля на коленях узловатыми негнущимися пальцами.

В десять часов вечера Леон вышел из читального зала и спустился вниз, где висел телефон. Опустив монету и сопроводив ее легким ударом тыльной стороной ладони, он снял трубку и набрал нужный номер. После трех низких гудков стало тихо, но почти сейчас же трубка ожила. Подошла Алка. Она спрашивала, кто с ней говорит. Он сначала промолчал, прислушался к немного искаженному тембру голоса, и только потом заговорил сам.

— Это я, Алка. Ты узнаешь?

— Да.

— Мы стали редко видеться, Алка. Можно подумать, что у нас не хватает времени. Ты слышишь меня?

— Да, Леон.

— Что ты делаешь?

— Собираю вещи.

— Ты уезжаешь?

— Я ухожу от матери, Леон...

— Мне хочется тебя увидеть. Мы придумаем что-нибудь вместе, Алка. Ты меня понимаешь? Вместе. Я жду тебя сейчас. Напротив дома Чехова. Жду...

Он прислушался. Нежно и мелодично в мембране постукивал телеграфный ключ. И, наконец, словно сближая дома и улицы, сжимая их и оттесняя прочь, голос устремился к нему. Очень тихий и очень странный, словно его пропускали сквозь толщу воды, он дошел до Леона.

— ...я приду, Леон. Я обязательно приду!..

Елена ЖИЛКИНА

ЛЕБЕДИНКА

Остановка автобуса.
Трасса — «Лисиха».
До чего же бело,
до чего же здесь тихо.
Лебединка.
Кто придумал
прозванье такое
для такой белизны,
для такого покоя.
Здесь снега
не дорогами шли,
не путями:
опустились на землю
они лебедями.
Может, лебеди эти
и в самом деле
от разгневанных вьюг
улететь не успели.
И остались лежать
и покорно и тихо...
Остановка автобуса.
Трасса — «Лисиха».
Вечереющий день.
Молчаливая снежность.
Наших зим,
наших чувств лебединая нежность.

НАСТРОЕНИЕ

Оно, как снег,
как смех,
сдержи его, попробуй,
не рваться прикажи,
покорным быть вели...
Мне солнце бы само
рукой потрогать,
к далеким землям
выслать корабли.
Мне — весело.
Я все могу отныне,—
мне дух захватывает
от высоты.
Кружу во льдах,
иду через пустыни,
дотла сжигая
за собой мосты.
Я верю в счастье,
и хочу сейчас же
свою звезду
на небе отыскать...
О, настроение,
похожее на жажду.
Не расплескать души б!
Не расплескать.

ВРЕМЯ

Как оно пестро
и многогранно,
как полно
негаданных чудес,
говорят,
залечивает раны...
Мчится,
будто бешеный экспресс.
То ворвется
грохотом событий,
лихорадкой неотложных дел,
то, по новой
двигаясь орбите,
встанет в жизни,
как водораздел.
С днем вчерашним
— недругом заклятым —
спорит,
как назначено ему.
Узнаем
подъем его крылатый
по сердцебиенью своему.
Никуда
от времени не деться,

в нем и горечь,
в нем и торжество.
Мы по нашим
повзрослевшим детям
судим о характере его.
И шагая
по житейским тропам,
просим время
приуменьшить ход,
но оно торопится,
торопит,
никого
и никогда не ждет.

ИСТОК

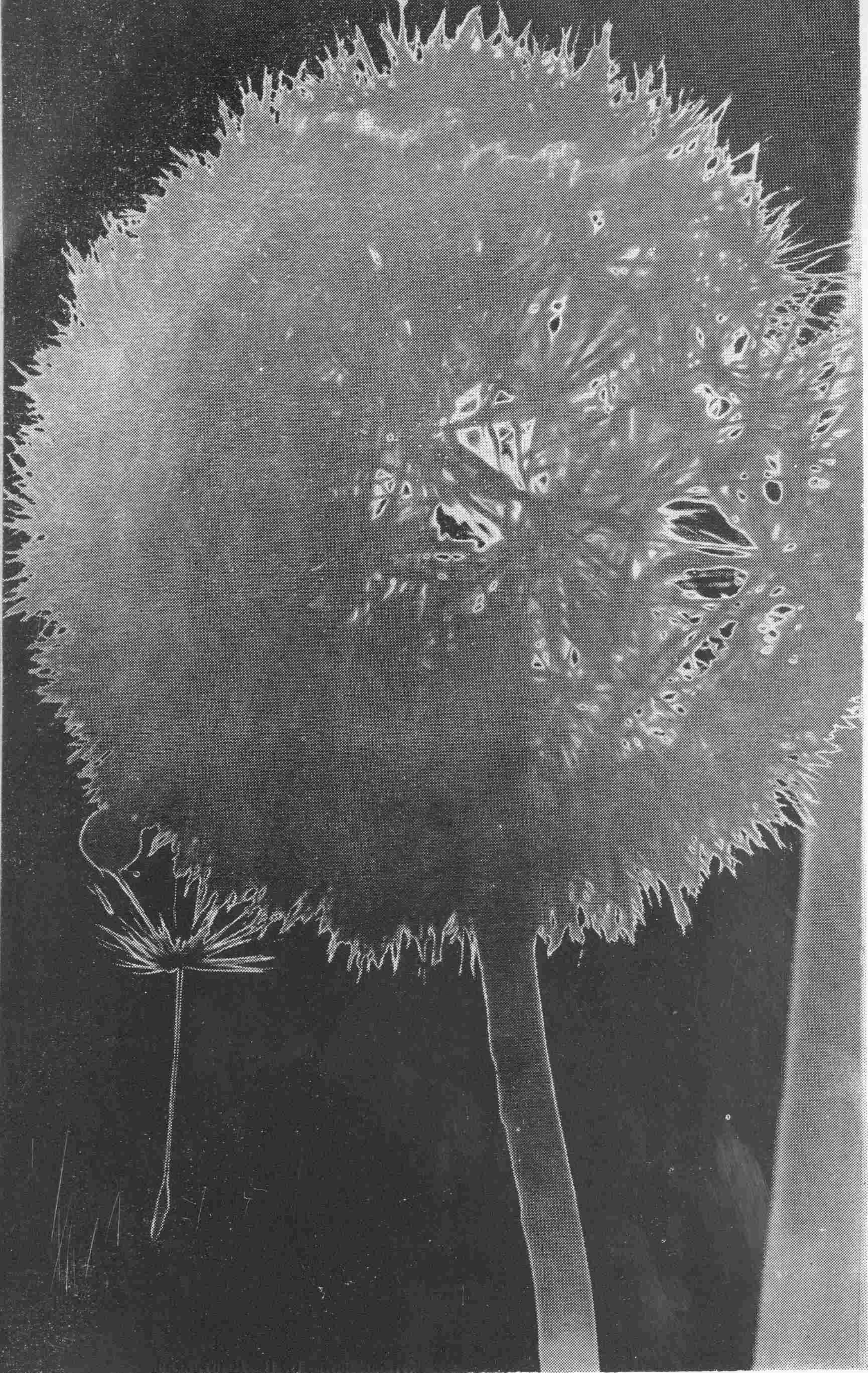
Не отвергаю, нет.
Не забываю.
Воспоминанья не зарыть в золе.
Лечу туда.
И сразу называю
то место
драгоценным на земле.
Леса стоят у отчего порога,
я слышу их
баюкающий гул...
Сухая, каменистая дорога
уходит в горы,
где цветет багул.
Ах, как здесь пахнет
в середине лета.
Я опускаюсь
в разноцветье трав.
Я берегом иду,
а он из света,
из хмурого волненья переправ.
Над марью распростертою Байкала
в задумчивости брошено весло,
здесь на закате
розовые скалы
хранят, как люди,
для меня тепло.
Весь этот мир,
чистейший, мудрый строгий,
зову своим истоком
потому,
что если
по реке плыву широкой,
то, верно, я обязана ему.
Давно он в дымке
лет и лихолетий
живет незамутненным,
мой исток,
во мне его биенье
слышно где-то,
он возле сердца самого
пролег.
Нам не дождаться
тихого причала,
нам памяти
не разомкнуть кольца...
Все видится далекое начало
и нет ему конца.

ПРОЩАНЬЕ НА АЭРОДРОМЕ

О, как они
пронзительно свирепы,
хватающие сердце
сквозняки...
Еще ты рядом,
но моей руки
уже коснулся
холодок нелепый
прощанья,
обреченности,
тоски.
Проверены
секунды отправленья,
а осени медлителен уход,
раздумчивость ее
земных забот
глаза заметят
за одно мгновенье,
как листьев
багровеющих полет.
И слитую из
воздуха и света
осенней позолоты
красоту,
и синь, упавшую,
на крылья «ТУ»...
Не осуждай меня:
все это
я нынче не отдам
за быстроту.



Этюд. Фото Б. В. Дмитриева.



А теперь я сам. Фото Б. В. Дмитриева.

Промазали. Фото Б. В. Дмитриев



Леший. Фото Б. В. Дмитриева.





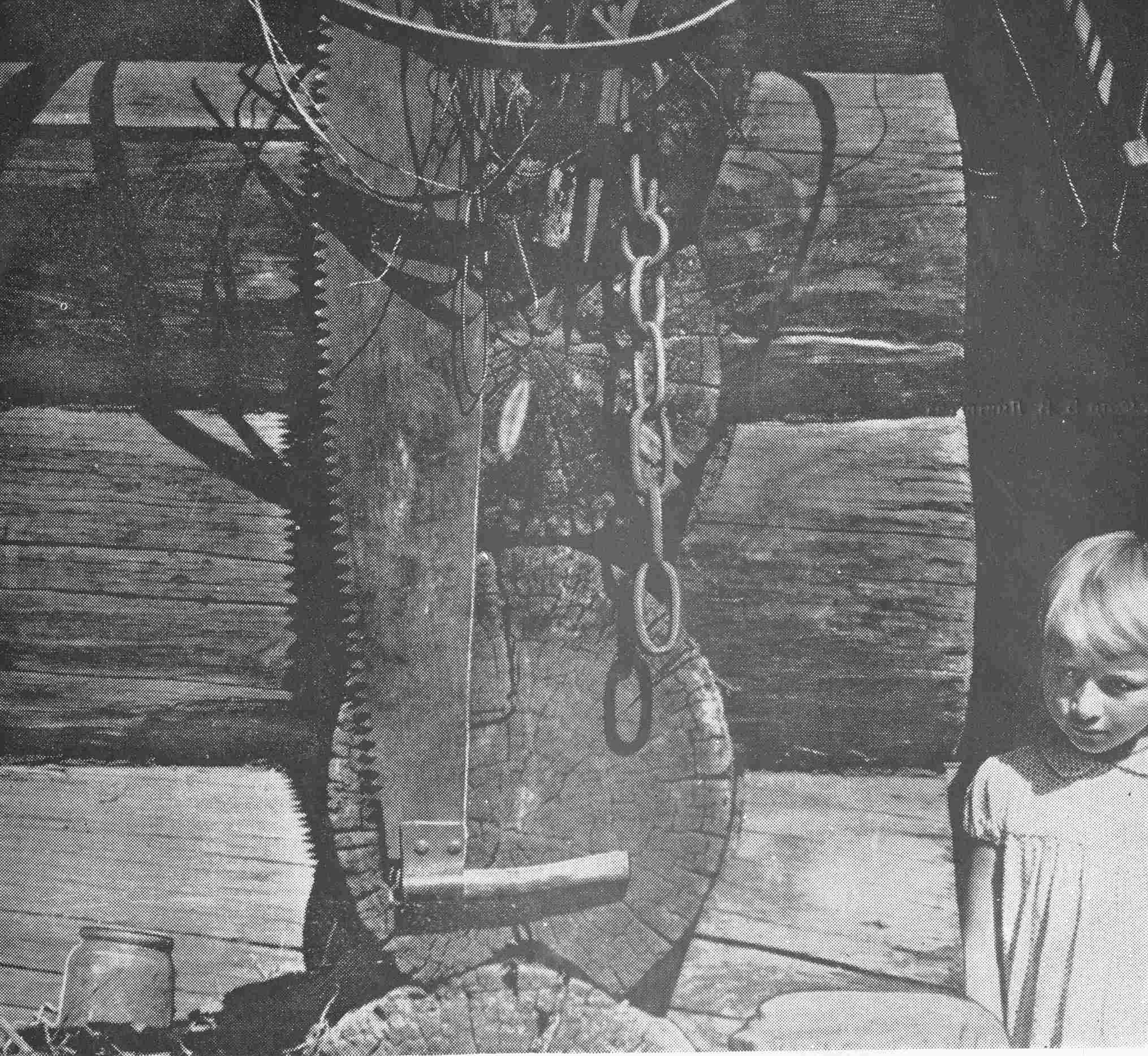
Жук поработал. Фото Б. В. Дмитриева.



Так начинаются большие дороги. Фото Б. В. Дмитриева.

Глаза. Фото Б. В Дмитриева.





В гостях у дедушки. Фото Б. В. Дмитриева.

ДЕТЯМ

Юрий САМСОНОВ

МЕШОК СНОВ

На базаре сидела старушка с большим мешком. В мешке, похоже, были капустные кочаны — полным-полно. Подходили покупатели, спрашивали:

— Бабушка, бабушка, что продаешь?

Старушка отвечала:

— Сны, голубчики, сны!

— Бабушка, бабушка, дорого берешь?

— Дешево, голубчики, дешево...

Подошла девчонка Аленка, спросила:

— А за копеечку можно купить?

— Можно,— сказала старушка.— Можно и за копеечку.

В стороне стоял Федя, сосал кулак. В кулаке был зажат рубль, в другом кулаке — продуктовая сумка-авоська, да еще тем кулаком Федя придерживал карман. В кармане лежала жестяная копилка.

Федя постоял, послушал, фыркнул и сказал:

— Лучше бы вправду капустой торговала.

Он сказал это, но не ушел. И увидел, что Аленка отдала старушке копейку, а старушка достала из мешка сон. Сон был желтенький, теплый, пушистый, как крольчонок. Аленка подставила ладошки, взяла его, побежала домой.

Подошел мальчишка Андрей, Федин знакомый, спросил:

— А сны у вас только простые? Я хочу научно-фантастический: про другие планеты, про ракеты со скоростью света или около этого.

— Можно,— сказала старушка.— Можно и научно-фантастический.

Покопалась в мешке, выбрала подходящий сон и отдала его мальчишке Андрею за пятачок.

— Дурак,— сказал Федя.— Тут пятак, да там пятак — так истратишь четвертак!

И тихо, чтоб никто не слышал, он позвенел в кармане копилкой.

Подошел маляр, выбрал сон, похожий на толстую кисть.

Подошел молодой человек в очках, заглянул в мешок, взял сон, похожий на растрепанную книгу.

Подошел незнакомый мальчишка, попросил сон про шпионов, завернул его в газету и дальше пошел.

А Федя все топтался на месте и удивлялся: «Ты скажи, берут и берут! Не прошляпить бы... Расхватают, останется какая-нибудь дрянь. А товар-то вдруг и вправду ничего, подходящий...» Думал он, думал, а потом решился. Подошел к старушке, говорит:

— Ладно, дайте и мне тоже сон. Только чтоб получше. И побольше. И подешевле. Например, вот этот.

И Федя ткнул пальцем в самый здоровенный сон. А старушка сказала:

— Этот-то рубль стоит. Даже десять рублей, а, может, сто. А если подумать хорошенько, так за него и тысячи мало.

Услыхав это, Федя даже охрип. И сказал охрипшим голосом:

— Ну уж... Так уж... Уступите, бабушка.

— Нет, — сказала старушка, — никак нельзя.

— Дорого,— сказал Федя.— А можно полсна купить?

— Можно,— сказала старушка.— Только ведь половина-то — она и копейки не стоит.

— Очень хорошо!— закричал Федя.— Тогда отдайте даром!

— Даром?— сказала старушка.— Можно даром.

И Федя сказал:

— Заверните!

Положил он покупку в авоську, побежал по своим делам. Он бежал и радовался, что старушка так плохо знает арифметику. Училась, бедная, еще при капитализме. И кто же у нее купит полсна? На обратном пути надо будет к ней еще заглянуть, забрать остаток, она его тоже задаром отдаст...

Но пока Федя покупал картошку да морковку, на базаре появился старый нищий, который собирал здесь милостыню, наверное, лет сто. Не было у бедняги ни дома, ни семьи, ни родных, ни знакомых. Было у него только пятнадцать сберкнижек, и на каждой — пятнадцать тысяч рублей.

— Подайте слепенькому!— пел он гнусавым голосом, а сам косился, где денег побольше.— Подайте глухому!— и слушал, где громче монеты звенят.

— Ну что с тобой делать?— сказала старушка.— И так торгую себе в убыток.— Дам-ка я тебе хоть это!

Сказала и бросила нищему в сумку остаток Фединого сна.

Вечером девчонка Аленка положила свой сон под подушку. И как только закрыла глаза, сразу попала на зеленый лужок. В траве сияли маленькие солнца молочая, бежал, сверкал, журчал ручей.

«Где же это я?»— подумала Аленка. Подумала, да и пошла вдоль берега ручья. А ручей все шире, а трава все выше, идет Аленка, руками ее раздвигает. Идет и слышит, что впереди кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то вздыхает, а кто-то хохочет. Подошла она поближе, высунулась, выглянула из травы и увидала: сидят на бережку красивые девушки, в руках у них серебряные ножницы. Отрежет каждая по прядке своих волос, перевязывает травинкой, бросает в ручей. Плывут по воде прядки разного цвета — цвета спелой пшеницы, цвета красной меди, цвета воронова крыла. Чья прядка дальше всех уплывет, та будет первой красавицей.

Ничего Аленка не сказала, не стала мешать и дальше пошла. А девушки ее и не заметили. Идет Аленка и слышит чье-то злющее-презлющее, ехидно-преехидное хихиканье. Раздвинула траву, глядит: ведьма сидит у ручья, старая-престарая, седая-преседая, похожая на трухлявый-претрухлявый гриб. Сидит и колдует: как проплывет мимо девичья прядка — махнет ведьма рукой, и сразу прядка станет серой-пресерой, седой-преседой. Хочет ведьма, чтобы ее, дряхлую-предряхлую, злющую-презлющую выбрали девушки первой красавицей.

Увидала тут ведьма Аленку. И говорит:

— Это ты? Ах, ах! Опять моя сестрица сны продает! Опять мне все дело испортила! Ну, я ей!..

Заплакала ведьма и пропала. И колдовство ее пропало: опять плывут по воде прядки цвета спелой пшеницы, цвета красной меди, цвета воронова крыла.

А мальчишка, который купил сон про шпионов, как раз в этот самый момент приставил пистолет к затылку диверсанта международного экстра-класса Такселя Штангельвакселя. А мальчишка Андрей в это время совершал круг почета над Марсом на мощнейшей ракете. Марсиане бежали внизу и кричали с марсианским акцентом:

— Да здравствуэт вэликий космонавт Андрушка, пэрвый посланэц Зэмли!

Молодой человек в очках — тот, что выбрал сон, похожий на растрепанную книгу, вскочил с постели посреди ночи. Включил настольную лампу, пошарил на столе очки. Не нашел. Оказалось, что они у него на носу. Он их и не снимал вовсе, чтобы лучше видеть сны. Этот молодой человек был ученый. Он сел за стол и принялся что-то записывать.

— Действительно,— бормотал он,— принцип транссинтуляции астигментации неандантагулярен. Андантангулярен вполне будет лишь принцип...

— Что-что?— спросила, проснувшись, жена.

— Понимаешь,— сказал он,— я решил ту утрихитремму икс-игрек-зет полугугутулярных, над которой бестолку ломали голову сорок профессоров, сто шестьдесят доцентов, шестьсот сорок научных сотрудников при помощи двух тысяч пятисот шестидесяти лаборантов. Представь: решил ее во сне!

Жена сказала:

— Да ну?

И опять уснула. Весь город спал, один только старый нищий никак не мог уснуть, ворочался и по привычке кряхтел жалобно, хотя сейчас никто не мог его услышать и подать милостыню.

А Федя, как только лег, сразу почувствовал, что его будят. Открыл глаза и увидел старушку, которая на базаре сны продавала.

— Ну, пошли,— сказала старушка.

— Куда?— спросил Федя.

— Клад покажу,— сказала старушка.— Хочешь?

— Конечно хочу!— закричал Федя.— Обязательно покажите!

— Запоминай дорогу,— сказала старушка.— Проснешься — найдешь.

Вышли они за город — Федя запомнил. Пошли по шоссе — Федя запомнил. Свернули на проселок — Федя запомнил. Пошли по тропинке — и это запомнил Федя. Добрались до развилка, Федя приготовился уже запоминать, куда сворачивать, но тут старушка обернулась к нему, собралась что-то сказать, уже и рот открыла, а Федя проснулся и ничего больше не услышал и не увидел. Кончилась половина сна. Федя от злости заревел на весь дом:

«У, старуха! Подвела старуха! Умру, а досмотрю!»

Натянул на голову свое ватное одеяло и давай засыпать. Старался, старался, только вспотел зря. Так у него ничего и не вышло.

Зато нищий уснул в тот самый миг, когда Федя проснулся. И старушка во сне этому нищему сказала:

— Пройдешь по этой тропинке девятьсот девяносто девять шагов, повернешь направо, пройдешь еще девять шагов с половиной. Там и копай.

— Еще чего!— сказал нищий.— Копай сама, если хочется!

— Как знаешь,— сказала старушка. И с глаз пропала. А нищий уселся возле тропинки, протянув по привычке руку, хотя никто тут мимо не ходил. Сидел и бормотал: «И эта туда же: копай, копай, работай, работай! Ополоумели все...» Очень он оскорбился. Так сидя и досмотрел сон. А проснулся — на базар пошел милостыню клянчить.

Федя тоже, как выскочил из постели, так сразу полетел на базар. Прилетел, видит: на прежнем месте сидит старушка. Вроде бы та — а вроде и не та. Стоит перед ней мешок — вроде бы тот, а вроде и не тот. Подошел Федя поближе, видит — подходят к старушке покупатели. Подходят и спрашивают:

— Бабушка, бабушка, что продаешь?

А старушка им отвечает:

— Капусту, милые, капусту.

— Бабушка, бабушка, дорого берешь?

— Дешево, голубчики, дешево!

В. П. Щербакова

БОРЬБА ЗА СВОБОДУ

(Страницы жизни Г. А. Лопатина в Сибири)

Деятельность выдающихся русских революционеров, людей, посвятивших жизнь борьбе за освобождение народа от гнета эксплуататоров, является предметом неослабного внимания нашей молодежи, всего советского народа, принявшего эстафету отцов и строящего коммунистическое общество.

Среди представителей русского революционного движения 70-80-х годов XIX века особое место занимает замечательный революционер-демократ Герман Александрович Лопатин. Незаурядные способности, ум, энергия, предприимчивость выделили его из среды современников, товарищей по борьбе. С восхищением отзывались о Г. А. Лопатине А. И. Герцен, Г. И. Успенский, И. С. Тургенев. «Есть мало людей на свете, которых я так люблю и уважаю», — писал о нем в 1872 г. К. Маркс.

Г. А. Лопатин рано вступил на путь революционной борьбы. Активная революционная деятельность, преследования полиции, аресты, смелые побеги из-под стражи, эмиграция и почти двадцатилетнее тюремное заключение — вот чем наполнена героическая жизнь Германа Александровича.

В последнее время вышло несколько работ, посвященных Г. А. Лопатину, в том числе брошюра М. В. Научителя — «Герман Лопатин в Сибири», которая ставит целью осветить «сибирский период» в жизни замечательного революционера. Действительно, этот период наименее известен и представляет особый интерес для нас, сибиряков. В Иркутском областном архиве имеется целый ряд документальных материалов, освещающих пребывание Г. А. Лопатина в Сибири, в частности в Иркутске. Это запись показаний Лопатина, переписка между третьим отделением и генерал-губернатором Восточной Сибири по его делу, несколько документов, написанных рукою Германа Александровича, представляют для нас наибольший интерес. Конечно, документы о Г. А. Лопатине, отложившиеся в царских канцеляриях, носят тенденциозный характер, в том числе и те из них, которые были написаны им самим в местные административные учреждения и наверняка предназначались для усыпления бдительности царских сатрапов. Но и в них нашли свое яркое выражение характерные черты образа Г. А. Лопатина, блестящего конспиратора, использовавшего любую возможность, чтобы увести следствие с правильного пути (что, кстати, ему и удается) и вырваться на волю. Эти документы характеризуют Г. А. Лопатина как человека бесстрашного, предприимчивого, свободолюбивого и находчивого.

К сожалению, М. В. Научитель использовал не полностью те данные, которыми располагает Иркутский Госархив. В одном из фондов архива обнаружено дело «По рапорту Иркутского губернского уголовных дел стряпчего Горяева, о побеге из Иркутска состоявшего под надзором полиции коллежского секретаря Германа Лопатина. 1873 г.» Не отраженное в предыдущих исследованиях, оно и проливает дополнительный свет на некоторые обстоятельства пребывания Г. А. Лопатина в Сибири.

5 января 1871 г. Г. А. Лопатин под именем почетного гражданина Н. Любавина прибыл в Иркутск с твердым намерением освободить из сибирского заточения Н. Г. Чернышевского. Герман Александрович надеялся через полгода вернуться к своим друзьям вместе с Н. Г. Чернышевским, вокруг которого, как мыслил Герман Александрович, смогли бы объединиться передовые, революционно настроенные слои русского общества. Но местные власти, предупрежденные об этом смелом предприятии, напали на его след и арестовали. Дело лопнуло, как мыльный пузырь. Г. А. Лопатин, попав в руки полиции, вынужден был прожить в Сибири более двух с половиной лет и приложить максимум усилий и изобретательности для своего собственного освобождения. Жандармы и полиция, обрадованные крупной удачей, пустили в ход судебную машину. Начались следствие и бесконечные допросы. Полиции хотелось поставить в рамки законности тюремное содержание своей жертвы. Конечно, при отсутствии улик тяжкого государственного преступления, можно было пойти на беззаконие. Этим приемом полиция пользовалась довольно часто. Все же она изощренно искала факты «преступления», зная, какой политический резонанс вызывают ее незаконные действия.

Третье отделение из Петербурга внимательно следило за ходом следствия по делу Лопатина. И хотя на запрос следователя подполковника Куненкова оттуда последовал ответ: «Предать арестанта суду в Иркутске

за последнее преступление»[1] (проживание по чужому паспорту), не касаясь предыдущих, товарищ шефа жандармов граф Левашов особо предупредил, чтобы без его разрешения, независимо от решения суда, Лопатина ни в коем случае из-под стражи не освобождали. Правдами или неправдами Г. А. Лопатина отпускать на свободу не собирались.

3 февраля 1871 года впредь до окончания следствия Германа Александровича поместили под стражу на главной гауптвахте, а затем перевели в камеру при жандармских казармах, назначив ему кормовых денег на содержание по 10 копеек в сутки. Видя, что инкогнито его раскрыто, Лопатин указал свое настоящее имя, назвал подробные данные своей биографии, стараясь «простодушной откровенностью» уверить полицию в правдивости всех своих показаний. Ему нужно было во что бы то ни стало скрыть истинную причину своего приезда в Иркутск. А задачей полиции было вырвать у него именно это признание.

Поединок затянулся. Г. А. Лопатин сознавал, что чем дольше его держат, тем труднее будет выпутаться из расставленных сетей. И он начинает действовать. Он использует малейшую возможность выбраться на свободу. Два его побега оказываются неудачными, и лишь в 1873 г. он сумел скрыться.

Архивные документы правдиво освещают обстоятельства этих побегов Г. А. Лопатина. В рапорте полковника Купенкова на имя генерал-губернатора Восточной Сибири от 16 июля 1871 г. подробно описаны обстоятельства первого побега. 3 июня с разрешения дежурного по жандармской команде унтер-офицера, Лопатин был выпущен конвойным из карцера в ретирадное место, находившееся на заднем дворе казарм. Захлопнув за собою дверь, он тотчас же выскочил оттуда через выгребную яму и, перескочив через забор, побежал по Сенной площади, а затем миновав ее, свернул на Ланинскую (ныне улица Декабрьских событий). Утомленный погоней конвоир хотел выстрелить в него, но Лопатин, услышав звук взводимого курка, «остановился, снял шапку и попросил конвойного не стрелять»,[2] обещал следовать, куда он прикажет, после чего с помощью подоспевших конных жандармов был доставлен обратно в казарму. Вскоре он был переведен в тюремный замок в одиночное заключение.

Тем временем губернский суд, рассмотрев дело Лопатина, пришел к выводу, что обвинить его в намерении освободить Чернышевского нет возможности за отсутствием доказательства, а за проживание в Иркутске под чужим именем в течение 43 дней Лопатина следует оштрафовать на сумму 100 рублей. Казалось бы для Г. А. Лопатина должны раскрыться двери тюрьмы. Но не тут-то было! Третье отделение назначило пересмотр дела, недовольное слишком мягким приговором.

В поисках «неопровержимых», порочащих Г. А. Лопатина улик, полиция идет на провокацию и пытается сфабриковать так называемое «дело о мышьяке», якобы обнаруженном в камере Германа Александровича и предназначенном для отравления надзирателя с целью побега из тюрьмы.

Лопатин знал все приемы и козни полиции, знал, что шутить с ней не приходится. Нужна непримиримая борьба. Он направляет протест генерал-губернатору Восточной Сибири, в котором требует прекратить его незаконное пребывание в секретном заключении и решительно отрицает свою причастность к подстроенной против него фальшивке.

Лишь через 4 месяца после вынесения приговора, на время пересмотра его дела шефом жандармов, он был освобожден из тюрьмы под строгий негласный надзор полиции с обязательством о невыезде из Иркутска без разрешения полиции, с обещанием не отлучаться никуда из квартиры в ночное время и не допускать никаких собраний на своей квартире.

Сам Лопатин позднее писал: «...полицейский надзор, учрежденный за мною на время пересмотра моих дел шефом, имел самую грубую форму: я должен был жить в одной комнате с квартальным надзирателем, каждый день в мою квартиру являлся жандарм за разными расспросами; я был обязан ежедневно возвращаться домой не позднее 7 часов вечера и т. п.»[1]

Чувствуя, что чуть приоткрывшаяся западня может с минуты на минуту захлопнуться вновь, Г. А. Лопатин решается на новый побег. 7 августа 1872 года он исчез из Иркутска.

Видимо Г. А. Лопатину удалось усыпить бдительность полиции. Кроме того, он сумел воспользоваться возникшей разобщенностью в действиях полиции и жандармерии. Рапорт Иркутского губернского уголовных дел стряпчего Горяева на имя военного губернатора г. Иркутска и Иркутского гражданского губернатора от 18 июля 1873 года освещает вопрос о надзоре за Г. А. Лопатиным таким образом, что он был поставлен не только не сурово, но даже весьма халатно: «Деятельность полиции по надзору за Лопатиным ограничивалась, как видно из отзыва полицмейстера за № 2423, лишь наблюдением полиции за тем, посещает ли Г. А. Лопатин публичные гулянья, и хотя г. полицмейстер в том же отзыве и объясняет, что надзор за Лопатиным со стороны полиции состоял в наблюдении за образом жизни и поведением его, но при этом присовокупляет, что посещать квартиру Лопатина никто полицию не обязывал и догадывается, что это лежало, вероятно, на обязанностях жандармов»[2].

По словам Горяева, полицейские не посещали квартиру Лопатина, хозяйка квартиры и другие ее жильцы не были поставлены в известность о том, что Лопатин состоит под надзором полиции. «...Только в первое время по распоряжению бывшего полицмейстера Бориславского Лопатин был помещен на квартиру вместе с помощником полицейского пристава Курбатовым, и хозяин этой квартиры обязан был немедленно доносить полиции об отсутствии Лопатина из дома позднее известного часа вечера каждого дня»[3].

Составляя планы побега, Г. А. Лопатин решил переменить место жительства и в конце марта 1872 года оставил эту неудобную, поднадзорную квартиру без разрешения и ведома полиции, следствием чего явилось то, что «Лопатин сделал отлучку из Иркутска в ночь с 7-го на 8-ое августа, полиции же сделалось известно отсутствие Лопатина из города только 13 августа, когда начались розыски»[4]. Эти розыски носили весьма энергичный характер. Во все концы были посланы предупреждения о задержании «преступника», фотографии и описание его примет.

В секретном предписании Иркутского общего губернского управления от 31 августа 1872 года на имя Киренского окружного исправника внешность Г. А. Лопатина описана так: «Приметы Лопатина следующие: 26 лет, росту 2 аршина 6 вершков, лицо круглое и чистое, волосы на голове, бороде и усах русые, борода небольшая, окладистая, волосы на голове зачесывает назад без пробора, глаза серые, близорук, носит очки, рост и нос небольшие, последний острый, походка ско-

---

[1] Государственный архив Иркутской области (ГАИО), ф. 24, оп. 4, д. 62, л. 49.

[2] Там же, л. 84

[1] ГАИО, ф. 32, оп. 2, д. 17, л. 8.

[2] Там же, л. 1.

[3] Там же, л. 2.

[4] Там же, л. 1.

рая, говорит на — го, несколько с малороссийским акцентом, примет бросающихся в глаза, нет»[1].

А Лопатин, тем временем, прибыл в Томск, где и был схвачен. 6 сентября на одной из улиц города его опознал частный пристав Лешков. Герман Александрович попытался назвать себя доктором Ильиным, с паспортом которого он покинул Иркутск, но Лешков, — как позднее писал Лопатин, — «показал мне мою карточку и очень подробное описание моих примет, после чего всякое дальнейшее запирательство было бесполезным»[2].

30 сентября в сопровождении двух жандармов Герман Александрович был вновь доставлен в Иркутск и помещен в Иркутский тюремный замок. Опять потянулись томительные дни ожидания. Осенние ненастья, наступление холодов заставляли мысль лихорадочно работать в поисках выхода. Трудно ускользнуть из тюремной камеры. Узник нетерпеливо ожидал удобного момента. И вот он наступил. По ходу следствия о побеге Герман Александрович был вызван в суд для допроса. Упускать этот случай было нельзя. Лопатин снова бежит.

Протоколы следствия и показания свидетелей дают основание предполагать, что побег этот, как и предыдущий, Г. А. Лопатин совершил при посторонней помощи, при сочувствии и содействии окружающих его лиц.

В донесении Иркутского и Верхоленского окружного суда военному губернатору г. Иркутска и Иркутскому гражданскому губернатору события, развернувшиеся утром 10 июля 1873 года, описываются так: «Вследствие требования суда от 9 июля за № 1003, подсудимый Лопатин был прислан смотрителем острога 10 июля в 11 часов утра при отношении от того же числа за № 1456, неизвестно вследствие какого распоряжения, не с конвойными, как бы следовало, а в сопровождении одного подчаска, вооруженного штыком, рядового Усть-Кутской местной команды Егора Здорного»[3].

Ответив на предложенные вопросы, Лопатин изъявил желание написать «в виде своего оправдания некоторые заявления.., для чего он и был препровожден в канцелярию, где сел за стол, за которым сидели еще два писца, и начал писать на виду у часового, стоявшего в дверях. Через некоторое время, — как объяснил часовой, — Лопатин попросил у него напиться воды, которая стояла в сенях на заднем крыльце, и вместе с этим для чего-то взял свою шляпу, висевшую в передней на вешалке, когда в продолжение минут десяти он не явился на место, где начал писать, оставив черновое свое заявление на столе, в канцелярии схватились: где он? Спросили о том у часового, который отозвался, что Лопатин, напившись воды в сенях, вошел в канцелярию из сеней с заднего крыльца, куда он, впустив его, почему-то не пошел вслед за ним, а вернулся по двору вокруг дома на переднее крыльцо, где несколько посидел в уверенности, что Лопатин пишет на своем месте»[4]. На самом же деле оказалось, что Г. А. Лопатин, не входя в канцелярию, вернулся и, пройдя вслед за часовым по двору, ушел в ворота. Чиновник Кошкин на дознании показал, что слышал разговор между Лопатиным и часовым и видел, как они шептались. На сей раз Лопатин благополучно скрылся от полиции. Вскоре он прибыл в Петербург и оттуда уехал за границу.

Заявление Г А. Лопатина, оставленное на столе в Окружном суде, было передано генерал-губернатору и дошло до нас, сохранившись в делах. Написанное карандашом, неровным почерком, с большими сокращениями слов, оно заставляет предполагать, что побег его готовился заранее, что, второпях набрасывая текст, он мысленно подсчитывал шансы на успех и выжидал время. Но привыкнув не терять присутствия духа ни при каких обстоятельствах, Герман Александрович описывает в заявлении те события, которые произошли с ним во время побега из Иркутска 7 августа 1872 года и обстоятельства, побудившие его к этому, даже с некоторыми деталями и подробностями. Умело оперируя нормами статей российских законов, Герман Александрович старается смягчить свою вину, утверждая, что не мог поступить иначе при сложившихся обстоятельствах, что к этому побуждало его явное беззаконие со стороны властей, насильно и бездоказательно задержавших его в Иркутске. Заявление Г. А. Лопатина состоит из 3 пунктов. В пункте первом он доказывает, что не может быть обвинен в пользовании чужим паспортом во время второго побега: «Я не имел никакой надобности употреблять имевшийся при мне вид. В тех глухих трущобах, которые я проезжал, никто и не думал спрашивать у меня вид, а потом я не имел надобности предъявлять его. Мало того, этот докторский вид (паспорт был на имя доктора Ильина — *В. Щ.*) в случае предъявления его поставил бы меня даже в большее затруднение относительно удовлетворительного объяснения причин, занесших меня в эти места»[1].

Развивая свою мысль, он продолжает: «...приехав в Томск и оставшись до отхода парохода на той квартире, где остановился мой ямщик кормить своих лошадей, я не предъявлял свой вид в полицию и не показывал его хозяевам, которые его у меня и не спрашивали»[2].

Оставленный на улице приставом Лешковым, Лопатин назвался Ильиным, но документа не предъявил, поэтому, — делает он вывод, — он не может быть формально обвинен в проживании по чужому паспорту.

В пункте втором Г. А. Лопатин приводит ряд причин, побудивших его совершить побег из Иркутска. Он пишет: «Что касается моей отлучки из Иркутска, то я надеюсь, что при оценке этого поступка суд усмотрит смягчающую обстановку в тех несправедливых притеснениях, которым я подвергался в Иркутске»[3]. Герман Александрович описывает назойливый и мелочный полицейский надзор за ним. Побегу способствовало намерение «посоветоваться в Санкт-Петербурге с хорошими юристами, и затем, если б это оказалось возможным, отдать себя под покровительство прокурорского надзора Европейской России, в г. Петербурге или Ставрополе»[4].

Конечно, это уловка. Лопатин не собирался обращаться за советом к российским прокурорам, но он подчеркивает, что Иркутская полиция выбирает для него наказание не по составу преступления, тем самым демонстрируя явную несправедливость. «Если во время следствия я давал какие-либо объяснения, не вполне согласные с настоящими, то это произошло единственно потому, что озлобленный предыдущими притеснениями, неудачами в побеге и предстоящим мне будущим, я заботился не столько о справедливости объяснений, сколько об их резкости»[5].

В пункте третьем Г. А. Лопатин, продолжая мысль о том, что он по месту своего первого побега более подлежит юрисдикции Ставропольского суда, утверждает: «Я теперь не считаю себя подсудным Иркутским судебным учреждениям»[6].

---

[1] ГАИО, ф. 455, д. 29, л. 9.
[2] Там же, оп. 2, д. 17, л. 8.
[3] Там же, л. 5
[4] Там же, л. 5—6.

[1] ГАИО, ф. 32, оп. 2, д. 17, л. 8.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.

Это заявление Г. А. Лопатина — неопубликованный автограф, так же, как и другие документы Иркутского областного архива, ценен тем, что освещает еще одну страницу жизни этого замечательного человека.

Интересно, что архивные материалы сохранили имена людей, сочувствовавших и помогавших Г. А. Лопатину. Это доктор Ильин, который жил с Г. А. Лопатиным на одной квартире и, зная о его поднадзорном состоянии, предоставил ему свой паспорт для побега 7 августа 1872 года; рядовой Усть-Кутской местной команды Егор Здорный, при явном содействии которого Герман Александрович бежал в июле 1873 года.

Начальник Иркутского губернского жандармского управления полковник Дувинг в своем донесении к шефу жандармов о последнем побеге Г. А. Лопатина сообщал, что «...в городе носился слух, будто бы к этому побегу было полное содействие советника губернского суда Любавского... и чиновника Севастьянова, которые приготовили для Лопатина даже верховую лошадь, на которой он и отправился» [1]. Эти факты свидетельствуют о том, что Сибирь — край каторги и ссылки — не был глухим медвежьим углом, чуждым революционным влияниям и передовым идеям. Свободолюбие, жажда борьбы с жестокостью и несправедливостью находили отклик в сердцах сибиряков, пробуждали в них стремление к содействию во имя светлых идеалов.

---

[1] ГАИО, ф. 91, оп. 1, д. 1300, л. 3.

Ю. Корнилов

ТЕАТР СИБКОРША

Театральное искусство составляет значительную и неотъемлемую часть большого искусства России. В советской Сибири работало множество интереснейших коллективов (Молодой и Народный театры, Рабтемаст, Сибкорш, СЭТ и др.), каждый из которых оставил свой значительный след в театральном искусстве.

Свое начало Сибкорш берет в известном московском театре Ф. А. Корша. Летом 1925 года большая группа в основном молодых коршевских актеров, одержимая романтическими побуждениями, поехала за последним владельцем театра М. М. Шлуглейтом в Красноярск строить в Сибири новый советский театр. Актеры ехали в совершенно неведомый для них край, даже примерно не представляя, что их там ждет. Это был и остался для московских театров случай беспрецедентный. На актеров смотрели чуть ли не как на сумасшедших, которые уютное столичное житье меняют на «дикую» Сибирь. Однако чувство нового, вера в своего руководителя, а отнюдь не охота к «перемене мест» руководили их поступком.

Сибирь встретила актеров неприветливо — местные актеры боялись столичных конкурентов, а зритель говорил о приезде «новых московских халтурщиков», так как под столичной маркой часто скрывалось много проходимцев от искусства.

К этому времени в театрах Сибири, хотя и произошел известный перелом, но груз прошлых антрепренерских сезонов (в 1921 году в Сибири была разрешена частная антреприза) оставил дурное наследство. Особенно отрицательно сказывалось скоростное формирование на один сезон трупп, которые не могли стать серьезными творческими коллективами. Поэтому прибегали ко всяческим уловкам, одной из которых было создание двойных коллективов: драма-оперетта или разделение сезона пополам на драму и оперетту. Как правило, на драму внимания не обращали, ибо она дохода не давала, и все внимание уделяли оперетте, которая зарабатывала деньги для себя и погашала дефицит драмы. Все это не могло не воспитать определенного отношения к драматическим спектаклям.

Как и следовало ожидать, начало было не из веселых — зрительный зал пустовал, театру откровенно предсказывали полный «прогар». Горсовет, желая помочь театру, предложил пригласить в помощь оперетту, но в театре категорически отвергли это предложение. Вся труппа была едина в своем стремлении завоевать сибиряков, никто не покинул театр в это сложное время, все верили, что настоящее искусство не может не победить. И вскоре появились первые ласточки.

Критика первой заметила театр и выступила в поддержку «сильной труппы», которая появилась в городе «после долгих лет жестокой халтуры» («Красноярский рабочий», 1925, 27 октября). Критика, как правило, не баловавшая театры, теперь все пристальнее стала присматриваться к Сибкоршу и через месяц прямо заявила, что «красноярцы еще не видели таких творческих сил». Лед недоверия был сломлен, зритель, решив проверить утверждения газеты, пошел в театр и действительно был поражен — он увидел настоящие спектакли, увидел настоящее творчество.

Начав сезон при полупустом зале, в котором в основном сидели скучающие мещане да любопытствующая молодежь, театр триумфально заканчивает сезон битковыми сборами, но уже с другим составом зрителя: в зрительный зал пришел рабочий Красноярск. Настоящее искусство победило.

Следующий сезон 1926—1927 годов Сибкорш работал в Иркутске и Красноярске. Иркутск очень хотел познакомиться с театром, но не рисковал приглашать его на весь сезон и предложил соседям разделить его с опереттой. Красноярцы приняли предложение, поняв, что больше им сибкоршевцев не увидеть, так как театр понравится Иркутску и тогдашняя театральная столица Сибири не захочет его отпускать. Так и получилось на деле. Во-первых, дефицит дал не Сибкорш, а оперетта, приехавшая после него на вторую половину сезона. Во-вторых, оценивая итоги работы драматической труппы, газета писала, что Сибкорш «дал зрителю то, что могут дать не многие, особенно провинциальные труппы — подлинное художество. Главное его достоинство — большое актерское мастерство («Власть труда», 1927, 22 января). Следующий сезон театр целиком в Иркутске. Такова вкратце история. Остается добавить небольшую деталь. Как сообщил мне главный режиссер Сибкорша В. Ф. Горский (ныне здравствующий, заслуженный артист РСФСР), название театру — Сибирский Корш (Сибкорш) было присвоено Наркомпросом и фигурировало во всех официальных документах.

Теперь постараемся разобраться в том, чем же пленил сибирского зрителя театр, какова была его эстетическая программа. А для этого в первую очередь необходимо обратиться к его спектаклям. Но спектакли

делают люди, большая масса людей самых различных специальностей, где основой является актер. Поэтому отличительной чертой Сибкорша было наличие многих ярких творческих индивидуальностей, не в пример скороспелым провинциальным труппам, построенным по принципу премьериста. Вот некоторые из них: Игорь Орлов, А. Л. Павлова, заслуженный артист республики Н. Н. Васильев, В. В. Беленькая, В. Н. Болховской, В. Ф. Горский, В. Е. Маккавейский, А. Ф. Перегонец, А. М. Скуратова и др. Второй особенностью театра было наличие крепкого творческого коллектива, который имел свои традиции. М. М. Шлуглейт любил говорить, что «самое основное в театре — спектакль, а самое главное в спектакле — актер». Такова была традиция, из которой вытекала третья особенность театра, очень существенная для того времени, — серьезное, вдумчивое отношение к репетициям, от которых зависело качество «основного в театре» — спектакля.

Репетиция для театра была душой спектакля. Если до Сибкорша труппы съезжались за 3—5 дней до начала сезона, наскоро прогоняли ближайшие премьеры, где весь смысл режиссерской работы заключался в том, чтобы актеры не стукались на сцене лбами, где каждый играл по «законам амплуа» — комик смешил, любовник любил, неврастеник страдал, то Шлуглейт для подготовки четырех премьер потребовал четыре месяца, что немало удивило красноярцев. Но это не была режиссерская прихоть, это было серьезное отношение к делу. На старые мелодрамы и комедии, игранные по многу десятков раз, театр тратил три-пять репетиций, а на классику и советские пьесы, количество которых в репертуаре театра постоянно увеличивалось, по месяцу и более. Артист Г. И. Бударов вспоминает, как он готовил бессловесную роль Фомы Фомича в спектакле «Горе от ума». Несмотря на то, что персонаж, не говоря ни слова, проходит по сцене, здоровается с гостями и садится играть в карты, актеру была поставлена совершенно четкая сценическая задача, определен характер героя, нафантазирована биография, чтобы свободнее ориентироваться на сцене. Одним словом, была проделана самая скрупулезная режиссерская работа, в которой определялся характер и логика поведения персонажа. Если так шла работа с бессловесными ролями, то можно представить, как репетировались Чацкий, Фамусов, Софья...

Режиссура добивалась, чтобы каждый актер думал на сцене не о себе, не о своем успехе, а чувствовал бы своего партнера, не выделялся, а играл сообразно логике поведения персонажа. Как отмечали критики и старые театралы, в театре совершенно отсутствовала отсебятина, злейший бич провинциальных театров. За отсебятину, которая страшно разрушает спектакль, могли просто уволить из театра. Но этому были подвержены только новички, вступавшие в театр. Со стороны режиссуры в театре было постоянное наблюдение за спектаклями, что давало возможность надолго сохранять их первозданную свежесть.

Было бы грубой натяжкой сказать, что Сибкорш был ультрасовременным театром. Этого быть не могло хотя бы по той причине, что все театры еще находились на пути поисков, они только обрели свой творческий метод, насыщая его новым жизненным опытом. И каждый делал это в силу своего умения и политической развитости, каждый искал и шел своим путем. Сибкорш был театром, который поставил задачу наиболее полно выявить общечеловеческое содержание в своих спектаклях, глубже раскрыть «вечные» темы, показать красоту души человека в его борьбе со злом на земле.

Наиболее интересно это было выявлено в «Без вины виноватых» А. Островского с А. Л. Павловой в заглавной роли, «Коварстве и любви» Ф. Шиллера с Игорем Орловым в роли Ферденанда и «Царе Федоре» А. К. Толстого с Н. Н. Васильевым в роли царя. Спектакли разные, но всех их объединяла одна мысль — разоблачение пороков канувшего в Лету общества. С особой силой эта мысль проходила через спектакль «Горе от ума», о котором проф. М. К. Азадовский писал, что театр пытался решить классическое произведение и что, несмотря на недостатки, «в целом спектакль значительный» («Власть труда», 1926, 4 ноября). Конечно, в спектакле были недостатки, и основным из них является стремление упрощенно-прямолинейно прочесть некоторые характеры (Молчалина, Репетилова), но стремление заострить конфликт, придать ему политическое звучание и вскрыть его социальную природу было похвальным стремлением театра. Не ощущая еще нового героя, театр через классику старался высказать свое отношение к действительности. У театра еще не было необходимой широты взгляда, не было глубокой философской подготовки, которая бы помогла глубже проникнуть в жизненные пласты. Поэтому мы не можем согласиться с точкой зрения П. Г. Маляревского, что «постановке пьес классического и советского репертуара в театре не уделяли большого внимания». Речь, видимо, идет о другом: о том, что театр не сразу нашел ключи к новым характерам.

К советским пьесам в театре подходили с неменьшим вниманием. И здесь, как и в классике, хочется отметить одну характерную черту. Несмотря на то, что коршевские актеры всегда отличались и характеризовались комедийным дарованием и комедии были их «коньком», в Сибири театр значительно расширяет свои жанровые границы и ставит из классики не только Гоголя и Грибоедова, но Шиллера и даже Шекспира.

С 1925 по 1928 годы количество советских пьес в репертуаре постоянно растет. Многие значительные произведения молодой советской драматургии находят свое место на сцене. «Яд» Луначарского и «Воздушный пирог» Ромашова, «Ржавчина» Киршона и «Шторм» Билль-Белоцерковского, «Разлом» Лавренева и «Любовь Яровая» Тренева. Это далеко не полный список актива советских пьес в театре Сибкорша. Газеты писали о вдумчивой и тщательной работе над советским репертуаром. В «Яде» и «Воздушном пироге» театр совершенно четко показал корни гнилой психологии буржуазного мира и нэпманских устремлений, но оставил в тени позитивное начало; которое, правда, слабо проявлялось и в пьесе Луначарского. Но, расширяя свои интересы, стремясь показать революцию и ее движущие силы, он обращается сначала к «Любови Яровой», а потом к «Шторму» и «Разлому», в чем мы усматриваем определенную закономерность. Сначала театр показывает то, что ему ближе и понятнее — личную драму Любови Яровой, где конфликт исчерпывается приходом героини к пониманию революции, где рассказывается, как честные люди решительно рвут со старым миром. Поэтому характер Романа Кошкина еще не выявлен в полную силу и массовые сцены еще не стали ключевыми.

К десятой годовщине Октября театр поставил «Шторм». Сибкоршу с его традициями было довольно трудно воплощать пьесу без героя. Но театр вышел победителем. Режиссер В. Ф. Торский не стал интеллигентски приглаживать эту грубую пьесу, наоборот, он не испугался ее откровенной «неблагородности» и все построил на напряженных ритмах той эпохи. Значительными стали массовые сцены, удались и отдельные характеры. Артисты В. Черневский и В. Бурэ (Председатель укома и Братишка), «цепляясь» за разрозненные эпизоды, придавая им жизненную конкретность и достоверность, сумели нарисовать убедительные характеры. Критика отмечала, что это был правдивый спектакль о революции («Власть труда», 1927, 10 октября).

Левая критика часто обвиняла театр, что он ставит свои спектакли «в обычных реалистических тонах». До Сибири стали доходить слухи о Мейерхольде, о конструктивизме. Но Сибкорш не пошел на поводу не изменил своим принципам, а продолжал развивать традиции русского театра, обогащая их новым содержанием. Коллектив интересовали не «модные» новинки, а принципиальные поиски, от которых он не отказывался, признавая в Мейерхольде большого мастера, он все же за ним не шел, ибо поиски изобразительных средств были у них разные. Сибкорш шел по пути углубленной разработки психологии характера. И на своем пути он сумел добиться внушительных успехов.

Но классика и советские пьесы составляли только половину репертуара Сибкорша, вторую его часть абонировали легкие комедии и мелодрамы. Почему они присутствовали в репертуаре, если уж театр был таким последовательным борцом за настоящее искусство?

Афиша театра того периода невозможна была без «легких» пьес. Их ставили все провинциальные театры, так как народ к ним был приучен и смотрел их с большой охотой. Это был определенный вкус, против которого надо было бороться очень осторожно. Административные меры здесь могли сыграть самую губительную роль.

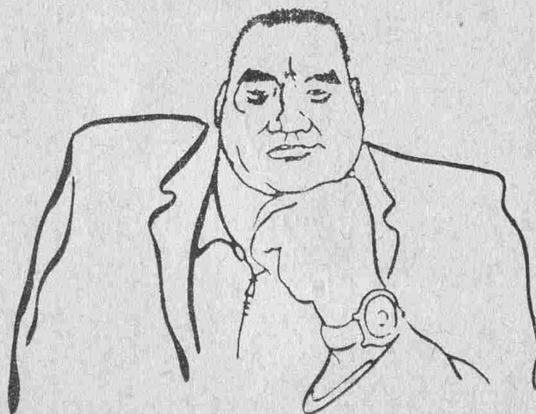
Та серьезность, с которой Сибкорш подходил к спектаклям, позволяла ему смягчать, а часто и просто ликвидировать бездумность пьес и вытягивать на первый план то незначительное социальное содержание, которое имелось в них.

Никогда театр не заставлял зрителя смеяться ради самого смеха, никогда смех не был самоцелью, никогда актеры не старались «выжать аплодисменты любой ценой». Театр говорил со зрителем по большому счету, серьезно.

У театра свои пути поисков правды и смысла жизни. Сибкорш нащупывал эти пути, имел интересные взлеты, в нем зарождались предпосылки для настоящего глубокого выражения идей революции, он закладывал тот фундамент, без которого невозможно было бы дальнейшее развитие революционного театра в Сибири.



Е. Жилкина



Инн. Луговской



Константин Седых

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ В. АЛИНИНА



Франц Таурин



А. Преловский



В. Калинин
(автопортрет)

ВИКТОР ВЛАСЕНКО

Законное беспокойство

Ворона плакала:
— Боюсь, что отразится
на сыне вредное
влияние Синицы.

Его родословная

Осел всех уверял
со всей ослиной силой:
— Прабабушка моя
была Кобылой.

Он скромен был

— Нет, я не Пушкин, —
говорил он, —
и не Блок.
Заметить это
и ребенок мог.

Скромность

Поют Кузнечики.
Могли бы и молчать.
Их все равно
Не признает печать.

Альманах АНГАРА № 4

Редактор С. Н. Маневич

Худож. редактор А. И. Аносов

Корректор Л. А. Васильева

Сдано в набор 18/IX-1965 г. Подписано к печати 10 ноября 1965 г. Объем 15,12 п. л. Уч.-изд. л. 14,75. Бумага 84 X $108^1/_{16}$. Тираж 5000. Заказ № К-570. НЕ 06898.
Цена 60 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство, ул. Горького, 36.

Типография № 1 Иркутского областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.